ЕВА ШЛОСС

ПОСЛЕ АУШВИЦА

ХОЛОКОСТ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Откровенный дневник Евы Шлосс – это исповедь длиною в жизнь, повествование о судьбе своей семьи на фоне трагической истории XX века. Безоблачное детство, арест в день своего пятнадцатилетия, борьба за жизнь в нацистском концентрационном лагере, потеря отца и брата, возвращение к нормальной жизни – обо всем этом с неподдельной искренностью рассказывает автор. Волею обстоятельств Ева Шлосс стала сводной сестрой Анны Франк и в послевоенные годы посвятила себя тому, чтобы как можно больше людей по всему миру узнали правду о Холокосте и о том, какую цену имеет человеческая жизнь. «Я выжила, чтобы рассказать свою историю… и помочь другим людям понять: человек способен преодолеть самые тяжелые жизненные обстоятельства», утверждает Ева Шлосс.

- Ева Шлосс
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25

- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Благодарность

Ева Шлосс
После Аушвица

Книга посвящается памяти жертв Холокоста и геноцида, которые не смогли поведать миру свои истории.

Ева Шлосс

1
Оставить в прошлом

«А сейчас, мне кажется, Ева хотела бы сказать несколько слов», – эта фраза разнеслась по большому залу и наполнила меня ужасом.

Я была тихой женщиной средних лет, женой инвестиционного банкира и матерью трех взрослых дочерей. Человеком, произнесшим фразу, был Кен Ливингстоун – в то время главный руководитель вскоре упраздненного Совета Большого Лондона и «бельмо на глазу» у премьер-министра Маргарет Тэтчер.

В тот день мы встретились пораньше, и он, конечно, не предполагал, что его слова приведут меня в смятение. Я даже не предполагала, что это было началом моего долгого пути к примирению с ужасными событиями моего детства.

Мне было пятнадцать лет, когда я вместе с тысячами других людей мчалась по Европе в поезде, составленном из темных и тесных вагонов для скота, и была высажена перед воротами концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Прошло уже более сорока лет, но когда Кен Ливингстоун попросил рассказать об этом, чувство всеохватывающего ужаса сковало меня. Захотелось сползти под стол и спрятаться.

Это случилось ранней весной 1986 года: мы были на открытии передвижной выставки, посвященной Анне Франк, в галерее рядом с лондонским Институтом современного искусства. Более трех миллионов людей по всему миру уже посетили эту выставку, но тогда мы только начинали рассказывать новому поколению историю о Холокосте с помощью дневника Анны Франк и фотографий ее семьи.

Эти фотографии связали меня с Анной таким образом, которого никто из нас не мог вообразить, когда мы были маленькими девочками и, бывало, играли вместе в Амстердаме. Мы были очень разными по характеру, но Анна была одной из моих подруг.

После войны отец Анны Отто Франк вернулся в Голландию и связал свой жизненный путь с моей матерью, и причиной на то были их общие потери и большое горе. Они поженились в 1953 году, и Отто стал моим отчимом. Он подарил мне фотоаппарат фирмы «Leica», которым когда-то снимал Анну и ее сестру Марго, чтобы я могла найти свое место в мире и стать фотографом. Я пользовалась этим фотоаппаратом много лет, и он до сих пор со

мной.

История Анны – это история юной девочки, которая смогла задеть за живое весь мир простой человечностью своего дневника. Моя история – другая. Я тоже стала жертвой нацистских репрессий и была сослана в концентрационный лагерь – но, в отличие от Анны, я выжила.

К весне 1986 года я прожила в Лондоне почти сорок лет, и в то время город изменился до неузнаваемости: из невзрачной, уничтоженной бомбежкой скорлупы превратился в активный многонациональный мегаполис. Хотелось бы верить, что и я преобразилась подобным образом.

Я изменила свою жизнь и создала семью: вышла замуж за чудесного человека и родила детей, которые являются для меня самой главной ценностью. Я даже открыла собственный бизнес. Но большая часть меня была потеряна. Я не была собой, и общительная девочка, которая когда-то ездила на велосипеде, делала стойку на руках и не переставая болтала, осталась где-то там, далеко, куда я не могла проникнуть.

По ночам мне снилась большая черная дыра, которая вот-вот меня поглотит. Когда внуки спросили меня о пометке на руке, которую мне выжгли в Аушвице, я сказала, что это просто мой номер телефона. Я не рассказывала им о прошлом.

И все-таки я едва ли могла отказаться от приглашения сказать несколько слов на открытии выставки, посвященной Анне Франк, учитывая то, что это было дело всей жизни Отто Франка и моей матери.

По настоянию Кена Ливингстоуна я встала и начала сбивчиво говорить. Возможно, к огорчению присутствующих, которые надеялись на короткое вступление, я обнаружила, что, начав говорить, не могу остановиться. Слова вылетали, и я продолжала и продолжала говорить, вспоминая все болезненные и горькие испытания, которые пришлось пережить. Я была будто в бреду и ужасе; я не помню, что говорила тогда.

Моя дочь Джэки сказала: «Это было очень волнующе. Мы почти ничего не знали о том, что пережила мама, и вдруг она оказалась на сцене, с трудом произнося слова и начиная плакать».

Другие люди могли не понять то, о чем я говорила, но для меня это был очень важный момент. Я возродила небольшую часть себя.

Несмотря на такое малообещающее начало, после этого вечера все больше и больше людей просили меня рассказать о том, что происходило во время войны. Поначалу я просила своего мужа набрасывать черновики подобных речей и озвучивала их довольно плохо. Но постепенно я нашла свой собственный голос

и научилась рассказывать свою историю.

Многое изменилось в мире с конца Второй мировой войны, однако несправедливость и дискриминация, увы, остались неизменны. От Движения за гражданские права чернокожих в Соединенных Штатах до апартеида в Южной Африке, от войны в бывшей Югославии до конфликтов в таких странах, как Демократическая Республика Конго – по всему миру я видела людей, борющихся за то, чтобы с ними обращались в равной мере с человеческим достоинством и пониманием. И, как еврейка, я видела, что даже правда о Холокосте не подтолкнула мир к осознанию полнейшего ужаса антисемитизма. На сегодняшний день все еще существует много людей, выискивающих козлов отпущения на основании цвета кожи, происхождения, сексуальной ориентации или вероисповедания.

Мне хотелось поговорить с такими людьми об ожесточении и гневе, которые заставляют их винить других. Как и они, я знала, какой тяжелой и несправедливой может иногда казаться жизнь. Долгие годы меня также переполняла ненависть.

По мере того как расширялся мой мир, я начала работать с Домом-музеем Анны Франк в Амстердаме и с фондом ее имени в Англии. Вскоре я написала книгу о своем опыте, излив саднящие воспоминания о Холокосте, и потом, значительно позже, повесть о жизни с моим братом для младших дочерей. Я изумлялась, когда другие люди тоже хотели написать о моей истории.

В конце концов, я стала путешествовать по миру и разговаривать с людьми в Соединенных Штатах, Китае, Австралии и Европе. И куда бы я ни приезжала, мои собеседники меняли меня изнутри, до тех пор, пока я честно не смогла сказать, что отныне ненависть и ожесточение не владеют мной. Ничто не сможет оправдать ужасных преступлений, совершенных нацистами. Эти поступки навсегда останутся абсолютно непростительными, и я надеюсь, что благодаря таким личным историям, как моя, о них всегда будут помнить. Но благодаря попыткам обратиться к людям и рассказать им всю правду я заново расцвела – и, может быть, стала тем, кем всегда была в глубине души, – и это стало настоящим подарком для меня и моей семьи.

Едва ли не самой значимой частью работы были разговоры со школьниками и заключенными. Когда я обводила взглядом собравшихся маленьких детей разного происхождения и национальности, или мужчин и женщин, осужденных за тяжкие преступления, их охватывало удивление: что же может быть у них общего со мной – невысокой женщиной в изящном кардигане и с австрийским акцентом? И все же я знала, что к концу нашего

совместно проведенного времени мы будем разделять чувство того, что жизнь подчас сложна и мы не знаем, что принесет с собой будущее. Обычно оказывалось, что мы все-таки не так уж сильно отличаемся друг от друга…

Мне хотелось, чтобы они узнали то, что усвоила я: каким бы глубоким ни было отчаяние, всегда есть надежда. Жизнь обладает огромной ценностью и красотой, и нельзя ее растрачивать попусту.

В этой книге я расскажу о своей семье и о долгом странствовании, в прямом и переносном смысле слова, которое нам с мамой пришлось совершить. Также я постараюсь как можно больше рассказать о своем отце Эрихе и брате Хайнце. Я потеряла их обоих, и даже если вы встретите меня сейчас, пожилую женщину, вы должны знать, что во мне все еще живет та пятнадцатилетняя девочка, которая любит их, каждый день вспоминает о них и безумно по ним скучает.

Воспоминания о нашей семье сопровождали меня всю жизнь и в дальнейшем повлияли на мою работу.

Был май 1940 года, мы уже покинули свой дом в Вене и теперь собрались в новой квартире в Амстердаме. Оправдались самые худшие ожидания: нацисты оккупировали Голландию. Обычно я во всем полагалась на старшего брата, который мог успокоить и поднять настроение, но в ту ночь он был расстроен и молчалив. Он поделился своими сомнениями насчет того, сможет ли наш отец уберечь нас, поскольку нацисты уже начали вывозить евреев. «Эви, мне очень страшно, – сказал он, – я и вправду боюсь смерти».

Мы сели вместе с отцом на диван, и он крепко обнял нас, сказав, что мы звенья одной цепи и что мы обязательно доживем до того времени, когда у нас появятся собственные дети. «А если у нас не будет детей?» – спросил Хайнц. Отец ответил: «Я обещаю вам, что будут. Все мы оставляем после себя что-нибудь, ничто не пропадает. Хорошие дела, которые вы совершили, продолжатся в жизни близких вам людей. Это будет иметь значение для кого-то в определенный момент, и ваши достижения будут продолжены. Все на свете взаимосвязано, как звенья в одной цепи, которая не может быть порвана».

В этой книге я попытаюсь рассказать о стараниях, приложенных мною для того, чтобы оставить после себя нечто важное.

2
Венская семья

Для того, кто был молод, целеустремлен и при этом был евреем, в начале двадцатого века существовало только одно место для жизни – Вена. Мой детский взгляд принимал грандиозные размеры и изысканность этого города как само собой разумеющееся. Вена была домом, а я – настоящей венкой. К тому моменту как я родилась, наша семья жила в просторном особняке в лесистом районе на юго-западе Вены, однако в прошлом имела довольно длительную и бурную историю отношений с этим городом.

До окончания Первой мировой войны Вена была драгоценным камнем в габсбургской короне, центром обширной и могущественной Австро-Венгерской империи, которая простиралась от Украины и Польши до Австрии и Венгрии и до города Сараево на Балканах.

Довоенная Вена был промышленной и культурной столицей; предпринимательство подпитывалось торговым путем на Дунае, в то время как композитор Густав Малер, писатель Артур Шницлер и психоаналитик Зигмунд Фрейд наполняли улицы, оперные дома и кафе новыми идеями. Было практически невозможно не увлечься этими интересными людьми, которые подготавливали колоссальные события. В кафе «Централь» можно было увидеть Льва Троцкого, игравшего в шахматы и составлявшего план революции; в кафе «Шперл» художник Эгон Шиле и одна из его натурщиц, должно быть, отдыхали в перерыве между созданием провокационных портретов.

Те дни воодушевляли. К 1910 году население города составляло более двух миллионов человек. Величественные бульвары Рингштрассе были окружены улицами с новыми жилыми постройками для все возраставшего среднего класса – коммерсантов и владельцев магазинов. Они формировали массовую аудиторию для венской культуры: раскупали театральные билеты, ходили в рестораны, гуляли в венских лесах.

Неотъемлемой частью этого среднего класса сделалась хорошо образованная и успешная еврейская община.

Конечно, евреи жили в Вене время от времени около семисот лет. Но череда критически настроенных людей у власти привела к тому, что евреев выгоняли из города, и община становилась малочисленной и бесприютной. Она начала расцветать только со времени толерантной религиозной политики императора Франца

Иосифа и установления полного равенства граждан в 1867 году. В последующие тридцать лет еврейское население Вены возросло до ста восемнадцати тысяч человек и вскоре стало играть значительную роль в жизни города.

Некоторые из этих еврейских семей были очень богаты и вследствие этого знамениты. Они покупали роскошные дома на Рингштрассе и отделывали их мрамором и золотом. Ниже на социальной лестнице находились работники среднего класса. К началу двадцатого столетия почти три четверти банкиров и больше половины докторов, юристов и журналистов были евреями. Существовала даже популярная футбольная команда, состоявшая из евреев и входившая в венский футбольный клуб.

Вслед за экономическим кризисом и упадком парафинового производства, на котором трудились многие польские евреи, последовали беспорядки на Балканах и в конечном итоге Первая мировая война, которая принесла свежую волну иммигрантов в Вену. Это были менее состоятельные, хуже образованные евреи, приехавшие из областей Восточной Европы, например, из Галиции. Они обосновались вблизи северной железнодорожной станции Вены, в районе Леопольдштадт. Эти семьи казались более религиозными и менее связанными с немецкой культурой, нежели еврейская община, которая уже ассимилировалась с австрийской жизнью. Семьи наподобие нашей никогда бы не сошлись с этими новыми иммигрантами, ставшими предметом антисемитских нападок.

Биография моего отца типична для семьи среднего достатка. Мой дед, Давид Герингер, родился в Венгрии в 1869 году. После переезда в Вену он открыл обувную фабрику «Герингер и Браун», и к ноябрю 1901 года – времени рождения моего отца – преуспел в этом деле.

У меня есть только одна фотография дедушки и бабушки. Дед выглядит по-деловому, с усами и шляпой-котелком, а мой папа и его сестра одеты в матросские костюмчики и с торжественным видом смотрят в камеру.

Моя бабушка, Гермина, – стройная и элегантная, высокая на вид из-за огромной шляпы, увитой слоями черного кружева и шифона, что было последним криком моды в то время. Она приехала в Вену из Богемии, нынешней Чехии.

Даже при напускном бесстрастно-спокойном виде, как было принято фотографироваться в то время, они выглядят счастливой семьей, и мой отец в своих воспоминаниях подтверждал это. К несчастью, вскоре у бабушки обнаружился рак, и она умерла в 1912 году в возрасте тридцати четырех лет. Дедушка снова женился на женщине, которая оказалась злой мачехой, поэтому

мой папа в отрочестве ушел из дома и начал налаживать самостоятельную жизнь. Первый его опыт счастливой жизни в семье имел внезапный и трагический финал, но отец был уже в одном шаге от встречи с женщиной, определившей всю его жизнь, – моей будущей мамой.

Должна сказать, что мама отличалась необыкновенной красотой. Папа был смуглым и энергичным, у мамы же были светлые волнистые волосы, голубые глаза и ослепительная улыбка. Ее звали Эльфрида Марковитс, или просто Фрици, и ее жизнерадостность била ключом. Я очень люблю одну фотографию, где мама, совсем еще девочка, кормит лошадку и смеется. Но обстоятельства того времени были отнюдь не радостными: ее увезли в деревню, где мой дед находился с армией, спасаясь от голода. Но мама все еще улыбается, и снимок создает ложное впечатление того, что она приземленная, практичная и в какой-то мере простоватая девочка. Тогда, во всяком случае, она таковой не являлась.

Мать Фрици Хелен родилась в очень обеспеченной семье, владевшей виноградным хозяйством в тогдашней Галиции и минеральными источниками неподалеку от Вены, в Бадене, куда я не любила ездить из-за неприятного запаха.

Обстоятельства жизни моей бабушки значительно изменились после ее замужества. Рудольф Марковитс работал в крупной компании по производству электрических лампочек и различных осветительных приборов. Несмотря на то что его дело шло довольно успешно и семья не нуждалась ни в чем, Первая мировая война повлекла за собой тяжелые времена для большинства австрийцев. Еда стала распределяться по карточкам, и после распада Австро-Венгерской монархии в 1918 году Австрия оказалась в опасном положении. Страна столкнулась с разрушительными репарационными обязательствами по условиям Версальского мирного договора 1919 года, но разорилась до того, как была определена ставка.

То, что являлось когда-то масштабной империей, теперь стало маленькой страной, лишившейся своих самых прибыльных регионов. Промышленность и сельское хозяйство, которые были основой Австро-Венгерской империи, теперь поддерживали экономику других стран, таких как Польша и ставшие независимыми Чехословакия, Венгрия и Югославия. Эти новые государства заставляли Австрию платить выкуп до тех пор, пока не будут урегулированы пограничные споры, и вскоре вся Европа шепталась, что граждане Вены умирают от голода. В какой-то момент семья Марковитс была настолько голодна, что они решили убить и зажарить свою комнатную птицу. Моя мать,

любившая ее, помнила, как плакала над тарелкой, но все равно стащила мясо с косточек и съела.

Так что к тому времени, как семнадцатилетний Эрих Герингер встретился с четырнадцатилетней Фрици Марковитс, они уже были знакомы с трудностями и неопределенностью. Но осознание того, что обстоятельства жизни могут стремительно измениться, никак не повлияло на их жизнерадостность в бушующие двадцатые годы. Как показывает письмо 1921 года, мой отец был убежден, что никто не будет стоять на пути их любви – даже мать Фрици, которая сказала ему, что ее дочь слишком молода для таких серьезных вещей.

Вена, 17 августа 1921 года

Высокоуважаемая леди, сегодня я получил Ваше письмо от пятнадцатого числа и сначала был шокирован – но потом в моем сознании появилась мысль, что высокоуважаемая леди, должно быть, имела только благие намерения. Я очень благодарен за доверие, которое Вы оказываете Фрици и мне. Вы совершенно правы во многих вещах, и я должен признать, хотя мне очень больно, что я слишком поторопился с нашими планами на будущее.

Идея созрела у меня в голове моментально, и я не осознавал, какое сопротивление она повлечет за собой. Мне жаль, что я не могу принять предложение, которым почтила меня высокоуважаемая леди. Моя нелюбовь к подобным наслаждениям уже очень глубока и длительна. С того момента, как я встретил Фрици, я околдован ею, поэтому не интересуюсь никакими другими наслаждениями… Мы сразу же стали серьезно относиться друг к другу, иначе бы не продолжили нашу близкую дружбу…

Высокоуважаемая леди, надеюсь, Вы не будете слишком раздражены, когда узнаете, что я рассказал Фрици о Вашем письме. Я не могу скрывать от нее что-либо важное. Прошу Вашего прощения за оспаривание того факта, что Фрици еще школьница (как считаете Вы и Ваш муж). Даже если она еще ходит в школу, она уже гораздо более зрелая, чем данный возраст мог бы предполагать. Вы должны признать этот факт. Я еще раз благодарю Вас за добрые намерения, которые Вы продемонстрировали…

Ваш покорный Эрих Герингер.

Покорным он был недолго – они поженились в 1923 году и были едва ли не самой молодой парой в городе. Если вы столкнулись бы с ними, когда они прогуливались по Рингштрассе, поднимались в горы или сидели с друзьями в одном из знаменитых венских садов раннего вина, вот какими они могли бы предстать.

Мой отец был энергичным и веселым, дружелюбным и очаровательным. Он учился в Венском университете, прежде чем взял на себя руководство семейной обувной фабрикой после смерти моего деда в 1924 году. Мама в отличие от него не увлекалась спортом и упражнениями на свежем воздухе, вместо этого она любила слушать музыку, играть на фортепьяно и проводить время с семьей. Они оба стильно одевались. Отец носил безупречно сшитые костюмы от «Савил-Роу»; кроме того, он стал носить розовые рубашки задолго до того как они стали модными. Моя мама всегда умела выглядеть элегантно, даже с коротко постриженными волосами по новой моде или в клетчатом берете.

Мой отец был главой семьи во всех отношениях – руководил экспедициями, вел свой бизнес и подбирал мебель для нового дома Герингов на улице Лаутензакгассе с впечатляющим набором антиквариата, в том числе с супружеской кроватью, которая когда-то принадлежала императрице Ците. Он всегда был полон энтузиазма и идей и в работе и в отдыхе, и моя мать, будучи более молодой и осторожной, следовала за ним.

Они были молоды и влюблены, и им посчастливилось найти друг друга.

3
Детство

– Ну же, Хайнц, я хочу это сделать…

Я была упрямой маленькой девочкой с прямыми белокурыми волосами, и мой подбородок решительно выдавался вперед. Мой брат Хайнц был высоким и хрупким, с длинными тонкими ногами, темными волосами и выразительными глазами.

В хорошую погоду мне часто хотелось втащить нашу маленькую телегу для сена на верх пригорка в нашем саду, запрыгнуть в нее, а потом стремительно скатиться вниз. Я очень любила эту довольно опасную игру. Мы часто получали травмы, так как единственным способом управления тележкой было использование жерди в качестве импровизированного руля. Подозреваю, что Хайнц испытывал значительно меньше восторга от этого аттракциона, чем я, но он, как обычно, потакал своей младшей сестре. Между нами была разница в три года, и мы сильно отличались друг от друга и по характеру, и по внешним данным.

Хайнц появился на свет в 1926 году, и родители в нем души не чаяли. Первое его эмоциональное потрясение случилось спустя три года после рождения, одним весенним днем, когда его увезли из дома к бабушке без каких-либо объяснений. Прошла неделя, полная нервного напряжения, в течение которой ни мама, ни папа так и не сказали, что произошло. В конце концов, он вернулся домой, где застал маму с маленьким ребенком на руках, и этим ребенком была я.

Родилась я 11 мая 1929 года в Венской больнице, и, возможно, эта наша первая встреча с братом вызвала у него чувство обиды на всю жизнь. Теперь мне кажется удивительным, что большинство взрослых не говорили своим детям о том, что вскоре у них появится брат или сестра, но так было принято в те времена.

К счастью для меня, Хайнц не озлобился, а довольно быстро стал моим самым верным помощником и лучшим старшим братом, на которого я могла бы надеяться. Но события той недели оставили в его душе незаживающую рану. Он стал заикаться, и никакие врачи и лекарства не смогли вылечить этот недуг. Родители даже водили его к Анне Фрейд, дочери Зигмунда Фрейда и основательнице детского психоанализа, – но безрезультатно. Он был очень чувствительным мальчиком.

Хотелось бы мне сказать, что я была восхитительным

ребенком, но я не унаследовала той легкости темперамента, которой обладал Хайнц. На одной семейной фотографии я сижу хмурая, втиснутая между родителями, с легким раздражением поглядывая, как бы они между делом не обратили внимания друг на друга или на Хайнца.

Я постарела, но осталась не менее своенравной. Я отчетливо помню, как провела множество вечеров, стоя в углу комнаты, где я должна была хорошенько подумать о каком-то проступке, а затем извиниться. Я ходила вокруг стула из гнутой древесины, водя пальцем по сиденью и повторяя, что никогда не попрошу прощения.

Эти сцены часто возникали из-за разногласий по поводу еды. Мягко говоря, я была привередливым едоком и ненавидела овощи. Обычно я оставлялась в одиночестве за столом после того, как все остальные уже поели, и мне было запрещено уходить, пока я не съем все на своей тарелке. Часто я прилепляла горошинку за горошинкой к обратной стороне стола.

Однажды вечером родители пожелали нам спокойной ночи и уехали на вечер, в то время как Хайнц и я ужинали вместе с нашей горничной. Еда состояла из костлявой рыбы, и я ненавидела вытаскивать острые кости изо рта. В середине трапезы мама позвонила, чтобы узнать, как мы. «Они в порядке», – сказала ей горничная, прежде чем я подбежала к телефону и, выхватив трубку, громко запротестовала: «Я не в порядке! Мы едим рыбу, в ней много костей, и я ненавижу ее!»

Естественно, мама велела мне вернуться за стол и немедленно закончить ужин. Но иногда я задаюсь вопросом, не поддерживало ли меня это стремление к упорному неповиновению позже, в бесконечно более трудных обстоятельствах, когда мне действительно важно было не терять ни капли жесткого своеволия, чтобы не сдаться?..

В первые годы моей жизни наша квартира представляла собой средний этаж большого дома, построенного в девятнадцатом веке в Хитцинге. Этот район славился своими парками и садами. Летний дом Габсбургов, дворец Шенбрунн, был за углом, и известный архитектор Отто Вагнер спроектировал поблизости остановку метро лично для императора (он воспользовался метро дважды). За углом, на кладбище, имелась устрашающая коллекция покойных австрийских аристократов, что делало это место одним из самых престижных в городе.

Какой ухоженной и комфортабельной, должно быть, казалась эта местность недовольному своей судьбой и бесперспективному художнику, который прошелся по Хитцингу в первом десятилетии XX века… Адольф Гитлер приехал учиться в Вену, чтобы

поступить в престижную Венскую Академию изящных искусств, но, несмотря на дополнительные занятия, он провалил экзамены дважды.

Наш дом на углу улицы Лаутензакгассе походил более на замок, чем на обычную загородную виллу, с его большой башней и большим садом, где мы часто праздновали дни рождения.

Я очень любила наш оживленный дом. Мы не были богаты, но жили в уюте и тепле, а стеклопакеты защищали нас от суровых венских зим. У нас была горничная, которая жила в маленькой комнате за кухней, и другие женщины приходили каждую неделю, чтобы помочь со стиркой и шитьем.

Если бы вы могли заглянуть к нам, то увидели бы меня в нише моей спальни, сидящую за столиком, на котором стоит чайный сервиз, или всех нас за обедом в столовой, украшенной цветастыми обоями. Ночью можно было бы услышать, как Хайнц шепчет мне что-то на большой веранде, пока мы смотрим на звезды, и рассказывает свои любимые истории из книг Карла Мая про Виннету и Старину Шаттерхенда.

В нашем районе жило мало евреев, несмотря на то что имелась синагога, и мы с Хайнцем в действительности начали узнавать историю своей религии и культуры только тогда, когда пошли в школу. Все австрийские дети обязательно получали религиозное образование. Для подавляющего большинства учеников это означало изучение основ католицизма, но мы три раза в неделю посещали отдельные уроки – таким образом, все понимали, что мы евреи.

Нам нравились уроки религии, и мы с воодушевлением стали отмечать еврейские праздники и соблюдать традиции. Родители поддержали наш интерес и послушно начали зажигать свечи в пятницу вечером, перед Шаббатом. Пятничные вечера стали особым событием: мама звала Хайнца и меня, и мы помогали ей накрывать стол для субботней трапезы. Выкладывалось наше лучшее столовое серебро и фарфоровая посуда, свечи ставились в подсвечники – и это действо было самым главным для меня за всю неделю. Я гордилась тем, что росла в еврейской семье.

Однако ни отец, ни мать особо не интересовались религией. Мама была совершенно не осведомлена о многих иудейских обрядах, папа также не соблюдал ритуалы, однако очень переживал о сохранении нашего культурного достояния. В повседневной жизни это проявлялось в семейных празднованиях еврейской Пасхи и в полном отказе от свинины. Но случались времена, когда наша религия все-таки заявляла о себе гораздо более серьезно.

Иногда наша горничная-католичка брала нас с собой на

мессу. Я думаю, делала она это в основном для того, чтобы просто иметь возможность самой ходить в церковь по воскресеньям, и я знаю, что у многих еврейских детей был такой же опыт, потому что большинство домашних работников в Вене были крестьянами из больших католических семей. Я наслаждалась этими прогулками, особенно церемонией, видами и запахами католической божественной литургии. Но когда мой отец узнал об этих поездках, он был в ярости и немедленно уволил нашу горничную.

Позже сестра моей матери и ее семья переехали в Англию, чтобы скрыться от нацистов, и обратились в христианство. Это глубоко расстроило моего отца. Он считал, что если человек родился иудеем, то он должен им остаться. По его мнению, обращение в другую религию из-за страха преследования говорило об отсутствии твердости характера.

Помимо того что мы соблюдали еврейские традиции, мы участвовали и в жизни Вены точно так же, как другие австрийцы. Хотя мы не праздновали Рождество как таковое, мы приветствовали Святого Николая и его помощника Черного Питера в день их праздника, который приходился на 5 декабря. Многие годы я ждала подарка от Святого Николая, предшественника Санта-Клауса, – маленькую красную машинку с педалями. Я намекала о своем желании родителям за несколько месяцев до заветной даты и в долгожданный день просыпалась рано утром и смотрела под кровать: не появилась ли машинка за ночь? Этого так и не произошло, но моя первая настоящая машина, которую я купила, была красного цвета.

Должно быть, мама и папа считали, что мы получали более чем достаточно подарков и угощений, потому что иногда они заворачивали в оберточную бумагу подарки прошлых лет и вручали их снова.

По правде говоря, мы не испытывали недостатка во внимании и заботе. Каждый день мы навещали родителей моей матери, которые жили в более маленькой квартире на Хитцингер Хауптштрассе. Я сказала, что мы навещали бабушку с дедушкой, но по большей части во время этих визитов мы наблюдали их горничную Хильду, управлявшую домом, как начальник, но ужасно избаловавшую нас. Она была членом семьи целых сорок лет, и хотя бабушка формально считалась главной и в других ситуациях могла быть очень громогласной, дома она вела себя тихо и позволяла Хильде вести домашние дела так, как она считала нужным. Когда бабушка с дедушкой были вынуждены бежать от нацистов, Хильда следила за их квартирой до того момента, как окончательно вернулась к себе в деревню.

Единственным моментом наших каждодневных визитов, который я не любила, было приветствие прабабушки. Ее устрашающая фигура, вся в черном одеянии, довлела надо мной. Я говорила маме, что она «старая и противная», и умоляла не ходить к ней. Но, несмотря на мои протесты, меня всегда вталкивали в ее спальню, где я на цыпочках подходила к этой старой даме и нервно целовала ее в щеку.

К счастью, соблазнительная перспектива совместно проведенного досуга с бабушкой и дедушкой превосходила мои ожидания. В особенности я обожала деда. Он всегда находил необычные занятия для каждого из нас. Был он очень музыкальным, и Хайнц сидел рядом с ним на фортепианном стуле и смотрел, как дедушка делает глубокий вдох, закрывает глаза, а затем его руки порхают над клавишами. Музыка звучала великолепная, но дед мог играть только на слух, потому что, будучи молодым студентом, отказался учить нотную грамоту.

Возможно, я унаследовала его упрямство, но не унаследовала музыкального таланта. В то время как Хайнц проводил часы за игрой на фортепиано, а затем на аккордеоне и гитаре, я больше стремилась к общению.

Воскресным утром дедушка брал меня с собой в местную таверну рядом с железнодорожным переездом, где он выпивал кружку пива, а я съедала суп. Австрийские таверны представляли собой, скорее, кафе и винные сады, нежели пабы или бары; в них собирались мужчины, чтобы непринужденно поболтать. Больше всего мне нравилось сидеть рядом с дедушкой за столиком, в то время как официантка подносила нам суп-гуляш. Он был горячим, в большой чашке из нержавеющей стали, и его разливали по тарелкам, а я наблюдала широко раскрытыми глазами, сколько кусочков говядины упало в мою тарелку. Я находилась в центре внимания. Друзья дедушки с большим интересом слушали мои рассказы о том, чем я занималась на неделе и о моих увлечениях. Для меня это было раем.

В городе наша жизнь вращалась вокруг семьи, дома и школы. Горничная, позволяя нам выпустить пар, водила нас в парк рядом с Шенбруннским дворцом или на фильм, где играла актриса Ширли Темпл, а иногда в качестве поощрения и в знаменитый венский парк аттракционов Пратер. Но чаще всего мы ходили к родственникам родителей: к сестре отца Бланке и двоюродному брату Габи, который был моим лучшим другом. Сестра нашей матери, Сильви, и ее муж Отто тоже жили неподалеку, и я могла приходить играть с их маленьким сыном Томом.

Мне всегда нравились младенцы, я наблюдала за ними, и Том меня пленил. Однажды я увидела, как тетя кормит его грудью, и

после этого мне пришла в голову идея попробовать таким же образом покормить своего друга Мартина у нас дома. Разумеется, в те детские годы никакой груди у меня не было, но мама Мартина застала нас врасплох и устроила грандиозный скандал. Я безмерно расстроилась из-за того, что она на время запретила Мартину приходить ко мне в гости. Было крайне неловко и стыдно.

В школе я усиленно занималась чтением, но пренебрегала арифметическими задачами. Во второй половине учебного дня мы часами писали на доске слова готическими буквами.

Но только на улице я оживала. Мне хотелось во всем походить на отца: нырять, плавать, бегать и лазить по горам. «Вы не должны ничего бояться!» – кричал он, вовлекая нас в какое-нибудь опасное занятие, которое щекотало нервы мне и приводило в ужас Хайнца.

Папа начал воспитывать во мне бесстрашие, заставляя прыгать с высокого шкафа к нему в руки, а потом подобные прыжки я проделывала уже в глубоком бассейне. Мама испуганно наблюдала за подобными трюками, а Хайнц, улыбаясь, произносил: «Нет, папочка, спасибо», – и продолжал читать книжку Жюля Верна. Но я твердо верила, что с отцом никогда не попаду в настоящую беду и его руки всегда будут готовы поддержать меня.

Один из моих геройских обрядов показался Хайнцу невероятно забавным, и он высмеял меня, решившую спать на подушке из камня, так как папа сказал, что от мягкого матраса портится осанка. Когда мы ходили в горы, Хайнц обычно стоял с мамой и ждал, пока я полазаю по расщелинам, побегаю босиком по скалистым тропинкам и покачаюсь на висящих тросах.

Внешне я даже была похожа на худую маленькую мартышку. Еда все еще внушала мне отвращение, и злополучная поездка в санаторий в сочетании с большим количеством рыбьего жира так и не сделала меня толще. Поэтому я висела на длинных тощих руках, а ребра торчали и выглядели как стиральная доска.

Каждое воскресенье мы отправлялись навстречу подобным семейным приключениям, а на каникулах уезжали еще дальше, в Тироль и Альпы, где жили в уютных деревянных домиках и носили национальную тирольскую одежду.

Путешествия стали еще более приятными с того момента, как папа однажды приехал домой на нашей первой машине. Он конечно же водил очень быстро, с визгом вписываясь в крутые повороты высокогорных узких дорог, так, что нас резко бросало из стороны в сторону, и мы глядели на крошечные домики, оставшиеся внизу. Мама сидела рядом с ним, на переднем

сиденье, и визжала так, что мы с Хайнцем, сидя сзади и вцепившись друг в друга, думали, что наши барабанные перепонки лопнут.

Жарким летом мама увозила нас из города на все каникулы, часто вместе с тетей Бланкой и братом Габи. Мы направлялись в Италию, на Адриатическое побережье, где могли плавать и играть на пляже. Хайнц боялся медуз, а я любила зарываться в песок, а потом бежать в море.

Тогда в силу своего возраста мы не понимали истинной причины этих поездок: мама встречалась со своим итальянским возлюбленным, и иногда мы проводили там целых три месяца подряд. Гино был элегантным и обаятельным, с темными блестящими волосами, и носил модные фланелевые брюки. Возможно, у мамы были и другие любовники, но Гино присутствовал в ее жизни довольно продолжительное время. В какой-то момент он приехал в Вену и требовал, чтобы она развелась и вышла за него замуж. Они долго переписывались даже после того, как мама узнала, что Гино тоже женат на другой женщине.

Вена того времени славилась довольно свободными взглядами на брак, и у моего отца также было бесчисленное количество поклонниц, развлекавших его во время летнего периода работы на заводе. Это было в духе эпохи, но тем не менее в нашей семье царило счастье. Разные по характерам: смелые и общительные отец и я, творческие и мягкие брат с мамой – мы отлично дополняли друг друга.

Родители питали большую любовь к классической музыке, и иногда вместо сказок на ночь папа включал на граммофоне запись квинтета «Форель» Франца Шуберта. Все вчетвером мы лежали на полу нашей гостиной и засыпали под эти «снотворные» звуки.

В те вечера, под оживавшие звуки квинтета Шуберта, мир казался мне чистым и беззаботным, но на самом деле угрожающие события уже маячили на горизонте. Многие из них случились в судьбоносном 1933 году.

В семь лет у Хайнца обнаружилась серьезная инфекция, и он лежал в постели, глядя на стены, а температура безудержно росла. Однажды я подкралась сзади и, перегнувшись через спинку кровати, заглянула ему в лицо: «Может, хочешь почитать любимую книжку? – прошептала я, думая, что тем самым облегчу страдания брата. – Как насчет Старины Шаттерхенда?» Но Хайнц покачал головой. Он был настолько болен, что не мог даже читать.

«Ему ничуть не лучше, – с тревогой говорила мама. – Почему

врачи не могут поставить диагноз?»

Доктора приходили и уходили, но никто так и не определил болезнь.

«Я найду другого доктора, – сказал отец, стараясь придать своему голосу ободряющую интонацию. – Не переживай, мы обязательно разберемся, в чем дело, и он поправится». Но даже папа выглядел очень взволнованным.

После многочисленных консультаций у разных докторов родители, наконец, нашли специалиста, который поставил верный диагноз и удалил Хайнцу гланды. Хайнц начал выздоравливать, но инфекция уже повлияла на его зрение, и он ослеп на один глаз. Естественно, родители безумно переживали по этому поводу. И брат тоже испуганно спрашивал: «Папа, а вдруг я не смогу больше читать книжки?»

Все, что я могла сделать, это беспокойно стоять около его постели, не в силах помочь. «Тебе не лучше сегодня?» – спрашивала я, напуганная слабым и беспомощным видом своего старшего брата.

Это было суровым испытанием для всех нас. Хайнц так никогда и не оправился от страха потерять зрение, а папа переживал по поводу того, что возникшие в душе сына тревоги помешают ему найти свой жизненный путь.

Нашу семью подстерегал еще один крутой поворот судьбы. Экономический кризис и стремительно растущая инфляция поставили Австрию в затруднительное положение, и папино дело перестало приносить доход. В 1918 году поездка в трамвае стоила полкроны, а теперь цена стала равняться 1500 шиллингам – валюте, которая в 1924 году пришла на смену старой кроне. Обед, стоивший раньше одну крону, обходился теперь примерно в 30 000 шиллингов.

У нашего завода «Герингер и Браун» не было будущего, но отец, с его находчивым умом и предприимчивостью, придумал нанимать на работу женщин, которые шили бы мокасины, не выходя из дома. Однако нам все равно пришлось подыскать более скромное жилье, на тот период, пока папа не поправит дела с работой. «Квартира, конечно, более тесная, но зато очень милая, – говорила мама, стараясь ободрить нас. – И только подумайте, насколько мы теперь ближе к бабушке Хелен и дедушке Рудольфу». Но этим словам не удалось сгладить мое чувство потери.

«Все наладится, Эви», – произнес однажды отец, но я услышала надрыв в его голосе и поняла, что ему было невероятно жаль покидать наш дом на Лаутензакгассе.

Дом одной счастливой семьи – это нечто большее, чем четыре

стены, но я понимала, что мы закрываем дверь, оставляя за ней свои детские воспоминания о веселье, ссорах, взрослении, семейных обедах и днях рождения. Начинался новый этап нашей жизни.

Учитывая эти внутрисемейные раны и потрясения, занимавшие мои мысли, не удивительно, что я смутно помню ходившие в то время слухи о грандиозных мировых событиях. Время от времени я видела тетю или дядю с нахмуренными бровями или улавливала нотку волнения в голосах родителей, когда они обсуждали услышанные по радио новости. Был 1933 год, и в Германии к власти пришел Адольф Гитлер.

4
Нацисты приближаются

Австрийцы всегда считались людьми обаятельными и уравновешенными. Как я узнала потом, они были и «обаятельными нацистами» – улыбающимися и милыми, в то время как восторженно приветствовали Гитлера после включения Австрии в состав Германии в 1938 году.

1930-е годы, время моего беззаботного детства, были отмечены беспокойствами в Вене, а также стали кульминацией десятилетий жестокой вражды.

Как только распалась Австро-Венгерская империя, город стал свидетелем фактической гражданской войны. Различные национальности и этнические группы делили империю на части с начала столетия. В то время как в здании парламента политики кричали друг на друга на разных языках, на Рингштрассе бедствующие рабочие протестовали против высоких цен на продукты, перенаселенных жилых помещений и потока эмигрантов, из-за которых, как они считали, стало трудно найти работу.

Вена была удивительным и заманчивым городом для состоятельных людей, но бедным людям в ней жилось трудно.

Хорошо известный в народе бургомистр, Карл Люгер, снабдил Вену начала века электричеством, трамвайными путями, чистой водой для больниц и даже общественными бассейнами. Но он также мог наблюдать разительный рост количества бездомных людей, спавших на раскладушках в трамвайных депо, стоявших весь день в очереди за местом для ночевки в общежитии и не имевших возможности купить еду. Пока обеспеченные жители города собирались в кафе, чтобы поделиться новыми мыслями, бедные люди приходили в приюты, чтобы спастись от холода, почитать газету и съесть тарелку супа.

Газеты часто говорили им о том, что причина всех проблем только одна – евреи. Бургомистр Люгер был известен своими антисемитскими взглядами и знал, что может легко снискать поддержку, возложив – несправедливо – вину за неблагополучные обстоятельства на предпринимателей-евреев.

Не всем нравилось, что Вена представляла собой многонациональный «плавильный котел», притягивавший широкий круг людей со всей империи. Некоторые писатели и политики начали агитировать за пангерманское движение, обращаясь мыслью к античным мифам об арийцах, которые

происходили из Северной Европы и являлись более совершенной расой, нежели другие, в частности, славяне и евреи. Некоторые, например, депутат парламента Георг фон Шенерер, хотели объявить о том, что «Германия для немцев» (учитывая воссоединение Германии и Австрии), но пока император Франц Иосиф оставался на троне, их заявления не могли противостоять множеству мнений и разногласий того времени.

Если бы не Первая мировая война и падение империи Габсбургов, возможно, лишь немногие восприняли бы идею о «пангерманской высшей расе» всерьез, но этот пестрый набор популистских лозунгов и переосмысленных мифов сильно повлиял на Адольфа Гитлера, который между 1908 и 1913 годами был неудачливым художником и жил в одной из дешевых гостиниц Вены.

Гитлер, сын таможенного чиновника из провинциального австрийского города Линц, ненавидел венский интернационализм, современную живопись и музыку, свободу в сфере половых отношений и хаотичную политическую жизнь, изгнавшую его отовсюду. Он был похож на бедного мальчика, прижавшегося лицом к витрине кондитерской, в то время как находившиеся внутри представители высшего общества и интеллигенции не обращали на него никакого внимания.

Война принесла с собой нужду, голод, экономический упадок и окончательно унизительное положение в 1918 году. В то время как остальной частью Австрии до сих пор руководило консервативное правительство и католическая церковь, жители Вены взбунтовались, и с 1919 по 1934 год городская администрация состояла из социалистов, с прогрессивными взглядами на муниципальное жилье и общественное здравоохранение. Вена снова оказалась в центре ожесточенной и неистовой битвы между конкурирующими политическими идеологиями.

В 1934 году завершилась эпоха Красной Вены, а лидер христианско-социалистической партии Энгельберт Дольфус отодвинул австрийскую демократию в сторону и установил однопартийный нацистский режим. Как это ни парадоксально, Дольфус выступал или против нацистов, или против планов Австрии, присоединявшейся к Германии. Он старался защитить евреев, запрещая антисемитскую пропаганду и дискриминацию студентов-евреев. Когда в 1934 году Дольфус был убит австрийскими нацистами, его место занял другой член правительства – Курт фон Шушниг, он тоже пытался загнать Гитлера в угол.

В течение трех лет ему это удавалось, но Гитлер никогда не

позволил бы Австрии голосовать на свободном референдуме по вопросу объединения с Германией, тем более после того, как было спрогнозировано, что две трети австрийцев предпочли бы сохранить независимость. 9 марта 1938 года немецкие войска тихо пересекли границу Австрии, не встретив сопротивления. Месяц спустя Гитлер приказал австрийцам проголосовать на референдуме по поводу будущего их страны. Официальный результат показал, что 99,75 процентов людей проголосовали за воссоединение с Германией.

Я никогда не забуду тот страх и плохие предчувствия, которые поглотили меня в ночь, когда нацисты достигли Вены. Аплодирующая толпа и звон колоколов приветствовали немецких солдат, а над каждым окном и зданием возвышались большие красные флаги с черной свастикой, похожие на ядовитые цветы.

Мы всей семьей собрались в квартире дедушки и бабушки и с волнением стали слушали новости. Я играла с двоюродным братом и Хайнцем, но чувствовала что-то неладное.

«Мы прожили здесь всю жизнь, – донеслись до меня слова дедушки, – и Австрия была родиной для нескольких поколений нашей семьи».

Кто-то попытался утешить его: «Не может быть, чтобы все стало настолько плохо, наши друзья других национальностей не допустят подобного».

«Как ты думаешь, что происходит?» – прошептала я Хайнцу на ухо, но он приложил палец к губам и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, пытаясь намекнуть, что мы поговорим об этом позже.

Мы шли домой молча, и когда родители укладывали нас спать, мама, поцеловав меня и Хайнца, сказала: «Завтра все наладится».

В тот вечер ее успокоительные слова помогли мне легче заснуть, но казалось, что сердцем она чувствовала: судьба венских евреев окончательно решена.

Гитлер появился на балконе Нового дворца Хофбург, напротив императорской площади Хельденплац, 15 марта 1938 года. Он говорил, обращаясь к многолюдной толпе австрийцев, на фоне высеченного золотом лозунга, сделанного для императора Франца Иосифа: «Правосудие есть основа государства».

«Такой страной является Германия, – сказал Гитлер. – Я могу доложить немецкому народу о величайшем достижении в своей жизни. Я объявляю истории о вхождении моей родины в состав Германского Рейха».

Город, который так долго с пренебрежением относился к этому человеку, теперь приветствовал его с распростертыми

объятиями, и первой важнейшей задачей Гитлера, которую он возложил на своего сподвижника Йозефа Геббельса, было очищение Вены от «грязи и тараканов» – он имел в виду евреев.

В первую неделю правления нацистов самые худшие опасения оправдались. Австрийским нацистам было разрешено свирепствовать, избивать евреев, разграблять их имущество, заставлять их называть друг друга оскорбительными прозвищами на улице и срывать ордена с груди бывших солдат и офицеров Первой мировой войны.

Внезапно добродушные друзья моего детства исчезли. Я удивлялась тем новым людям, оказавшимся передо мной. Обычные владельцы магазинов, трамвайные кондукторы и прорабы, которых, как мне казалось, я знала, заставляли евреев опускаться на колени, чтобы соскребать продемократические высказывания с тротуаров.

Безусловно, эти люди не имели ничего общего с теми, с кем моя семья так долго жила бок о бок…

Даже не интересуясь политикой, нельзя было не замечать того антисемитизма, который существовал в Вене в течение многих лет. И не только из пангерманской газеты доходила информация о том, что человеку, похожему на еврея, могли сбить с головы шляпу на Рингштрассе или о студентах, которых прогоняли из Венского университета с глумливыми выкриками «Долой евреев!»

В годы, предшествующие аншлюсу, все главные политические партии имели антисемитские заявления в своих манифестах, и даже государственный аппарат Дольфуса – Шушнига, претендовавший на защиту евреев, имел в своем составе много антисемитов. Это предубеждение было глубокой, устоявшейся и скрытой тенденцией нашей жизни, но только в тот момент оно начало вторгаться в мое защищенное существование.

Первое столкновение с новоявленными австрийскими нацистами повергло меня в шок. «Мы не должны больше возиться с такими, как вы», – сказала мать моего друга, захлопывая входную дверь перед моим носом. Я побежала домой в недоумении и в слезах.

«Что ж, так теперь будут поступать со всеми евреями», – объяснила мне мама утомленным голосом.

Черные нацистские свастики стали появляться повсюду, и смеющиеся мужчины-австрийцы, в национальных костюмах с аккуратными фетровыми шляпами и брюками, заправленными в носки, заставляли маленьких детей писать слово «жид» около магазинов, владельцами которых были их родители.

Когда мы выглядывали из окон гостиной, то видели ряды

солдат-нацистов, маршировавших по улице, и стук их сапог леденил кровь. Однажды мы пошли погулять в сад около дома бабушки и дедушки, но услышали фразу «Евреям вход запрещен!» от их управляющей – женщины, которая неожиданно стала ярой нацисткой.

Новые законы, написанные с отменной бюрократической логикой, требовали от австрийцев присяги на верность Гитлеру и нацизму. Один из таких законов обосновывал, что раз евреи не будут давать присягу, то они автоматически изгоняются из сфер государственной и профессиональной службы. Они больше не могли преподавать в школах и не могли лечить пациентов нееврейского происхождения.

Австрийские евреи начали бегать из одного иностранного посольства в другое, умоляя о выдаче визы, чтобы уехать. К сожалению, большинство стран не впускали их.

Наша семья тоже быстро начала готовить план отъезда. Отныне все евреи всегда обязаны были носить с собой удостоверение личности. Нас часто останавливали на улице и просили предъявить документы, иначе же могли отправить в соответствующие органы.

Муж тети Сильви работал специалистом на заводе пластмасс Бакелит, и они быстро получили визы в Великобританию. Поселились в маленьком городке в Ланкашире вместе с сыном Томом. Сильви и Отто практически сразу, как только приехали в Англию, обратились в христианство, и он работал в компании по производству бакелитовых ручек для зонтов. Им удалось перевезти на корабле целый ящик с семейными драгоценностями, включая семейный альбом, поэтому, в отличие от многих еврейских семей, у нас до сих пор есть некоторые из этих бесценных вещей.

Другие члены нашей семьи тоже уехали в Англию. Папина сестра Бланка была замужем за искусствоведом, работавшим в издательстве «Фейдон Пресс», и они бежали в Лондон с сыном Габи. Я помню, как сидела на коленях у дяди Людвига за несколько дней до их отъезда, а он в это время показывал мне репродукции своих любимых картин в массивных художественных альбомах. Мне было всего девять лет, но я чувствовала, что грядут куда более грозные события, чем издевательства на улице или потеря друзей. Осязаемая напряженность взрослых волновала меня. И было интересно, увижу ли я еще когда-нибудь эти красивые репродукции.

Другая мамина сестра, Литти Клосс, тоже уехала в Великобританию. Ее муж-католик был довольно известным художником, но как только нацисты вступили в Австрию, в тот же

день он от нее ушел.

Литти удалось добраться до Лондона по визе, выдаваемой домашней прислуге. И хотя спасательная операция «Киндер-транспорт» для десяти тысяч еврейских детей стала довольно известной, несравненно большее количество людей, бежавших в Великобританию, сделали это под видом домашних слуг. Большинство из двадцати тысяч женщин, получивших такие визы, были не приучены к тяжелому труду, поэтому мучились от долгого рабочего дня и непосильных обязанностей. Литти ненавидела свою должность служанки и жила с надеждой на то, что после окончания войны муж заберет ее обратно к себе. К тому моменту он нашел другую женщину и никогда не проявлял ни малейшего интереса к судьбе бывшей жены.

Даже дедушка Рудольф и бабушка Хелен надеялись на отъезд в Англию. «Раз Сильви и Отто там, мы надеемся тоже получить визы», – сказала однажды бабушка моей маме. «Правда, это займет очень много времени», – волновался дедушка. Мама утешала их, говоря: «Я уверена, что вам дадут визы».

Втайне я мечтала поехать в Англию вместе с ними и воссоединиться с остальными членами семьи, но этому не суждено было осуществиться.

Папа осознавал, что нацисты стали представлять опасность с того момента, как Гитлер пришел к власти в 1933 году. С нами отец никогда не говорил об этом, но с тех пор подыскивал безопасное место для жизни, если вдруг оно понадобится. Как поставщик обуви, он совершал много поездок и контактировал со многими иностранными компаниями. Когда завод в Нидерландах заявил о прекращении своей деятельности, папа решил вложить средства в это предприятие и таким образом сохранить часть семейного капитала на тот случай, если мы будем вынуждены покинуть Австрию. Это казалось неплохой идеей: Южная Голландия была центром европейской обувной промышленности, и Нидерланды занимали нейтральную позицию в Первой мировой войне. Родители надеялись, что это положение сохранится и в случае новой войны. Но даже если бы ситуация не обострилась до предела, было понятно, что наша жизнь в Австрии изменилась навсегда. Родители решили, что пришло время уезжать.

«Теперь в Австрии плохо жить, – сказал нам папа, – но зато Голландия – прекрасная страна. Только подумай, Эви, там есть море, а еще много озер и рек, и по ним можно плавать на лодках». Эта мысль казалась мне соблазнительной. Австрию со всех сторон окружала суша, а мы с Хайнцем очень любили ездить к морю.

«Но почему ты должен ехать без нас?» – спрашивала я,

пытаясь сдержать слезы.

Покидать дом было непросто, но еще больше нас огорчало то, что мы не могли ехать все вместе. Только папа мог получить рабочее место и постоянную визу. Мама, Хайнц и я имели право лишь погостить у него некоторое время в качестве временных жителей.

«Мы ненадолго расстанемся, – говорил он. – Мне предстоит очень много работать на новом заводе, но когда вы приедете, мы будем делать все, что захотите».

Мама объяснила, что мы планируем жить в Брюсселе, пока не получим визы, а папа будет работать на территории Голландии, в маленьком городке Бреда, и приезжать к нам на выходных.

Я пыталась не показать своего страха и недоумения. Отец выразил надежду на наше хорошее поведение и на скорейшую встречу. Обнимая и целуя нас, он сказал, что время пролетит быстро, и мы снова будем вместе. С этими словами он ушел.

Как я узнала впоследствии, все это произошло в самый последний момент. Вскоре, в сентябре 1938 года, из нацистских органов власти пришло письмо, требовавшее появления отца в Вене для учета имущества и передачи его фашистам. Но к тому времени он успел уехать.

Маму мучали переживания. Эсэсовцы налагали ограничения на сумму денег и количество вещей, которые евреям разрешалось вывозить с собой из страны. Я наблюдала, как все ценные вещи, так много значившие для нашей семьи, постепенно продавались. Однажды был продан наш столик с мраморной столешницей, на следующий день мы расстались с несколькими семейными реликвиями, которые перешли папе по наследству от его отца. Некоторые из этих вещей имели действительно высокую ценность, но мама не могла продать их за справедливую сумму: все знали, что евреи спешно расстаются со своим имуществом и им приходится соглашаться на самые низкие ставки.

Нацисты навсегда исказили нашу жизнь. Я видела, как изменились родители. Беззаботная мама, которая никогда не готовила обед, не мыла полов и не принимала важных решений, внезапно сделалась неузнаваемой. Дома все называли ее «овечкой», но с того момента, как уехал папа, груз ответственности за детей, за дом и за наше будущее всецело перенесся на ее плечи. Она действительно оказалась на высоте, демонстрируя нам, какой умной, деловой и сформировавшейся личностью была все это время.

Сперва она приступила к освоению новой профессии, чтобы нам было на что опереться. Немного поразмыслив, она решила пройти шестинедельный курс косметологов, и вскоре у нас дома

появились различные крема и косметологические принадлежности. Мама оказалась неплохим знатоком в приготовлении кремов и лосьонов, но хуже умела их применять. Восковая депиляция бровей стала камнем преткновения для нее; она дрожала при мысли о том, что горячий воск нужно будет наносить на чье-то лицо, а затем резко сдирать его, и многие наши гости уходили домой с бровями, разными по толщине, или неестественно изогнутыми в бесконечном удивлении.

Как-то раз мы поссорились. Мама сказала, что нам придется взять лишь некоторую одежду, которую мы сможем положить в маленький чемодан, и мы тщательно планировали, что именно выбрать. Мне нужно было купить новое зимнее пальто, и, держась за руки, мы отправились в универмаг «Битман». Моим мнением при выборе одежды никогда не интересовались, и в этот раз мама также не собиралась советоваться со мной. Она обсудила детали покупки с продавцом, который принес мне ярко-оранжевое пальто с клетчатым беретом такого же цвета. Мое своеволие дало о себе знать. Этот наряд показался мне отвратительным, о чем я и сообщила: «Я не буду это носить!»

Мама пыталась переубедить меня, утверждая, что такие пальто и беретки – последний писк моды в Бельгии, а я пыталась ее переубедить, что мне это не подходит. Мы обе поступили по-своему: выбранная одежда была куплена, но я поклялась, что никогда в жизни ее не надену. В конце концов, мы пришли к компромиссу, но только тогда, когда мама покрасила пальто в синий цвет.

Теперь я уже сама мать и бабушка и, оглядываясь на прошлое, сознаю, как, должно быть, тяжело приходилось нашей маме в то время. Ее волнение еще усилилось, когда Хайнц пришел из школы с разбитым в кровь лицом. Мальчишки начали дразнить его по поводу еврейства, а потом толкнули и ударили в здоровый глаз. Учителя стояли рядом и не защитили его. Власть злобной толпы взяла верх над Австрией, и Хайнц стал одной из беспомощных жертв.

Мы, как могли, пытались утешить его; мама обтирала лицо, а я держала его руку и слышала, как он захлебывался от безутешных рыданий. Родители решили, что сын должен немедленно уехать, и пару дней спустя мы провожали Хайнца на вокзал. Мы знали, что папа встретит его в месте назначения, но мой двенадцатилетний брат выглядел очень маленьким и неуверенным, шагая по заполненной людьми платформе, с единственным чемоданчиком и сумкой, набитой книгами. Он казался слишком юным для того, чтобы отправляться в путь по Европе, но там, на вокзале, было много других детей еврейского

происхождения, которые тоже готовились совершить путешествие в неизвестность.

Мы с мамой задержались еще на несколько недель. За это время она пыталась распродать оставшиеся вещи, но в конце концов пришел день отъезда. Я чувствовала страх, замешательство, но и даже детское оживление: для девятилетней девочки наш путь был большим устрашающим приключением.

Мы попрощались с бабушкой Хелен и дедушкой Рудольфом, которые все еще ждали виз в Англию. На вокзале мы глубоко вдохнули, как бы готовясь оставить позади себя абсолютно все, и мама крепко держала меня за руку, пока мы садились в поезд, для того чтобы совершить самое длинное и волнующее путешествие.

Медленная, тряская поездка длилась бесконечно. Втиснутые в маленькие купе, мы проезжали Европу, пытаясь не сталкиваться взглядом с другими пассажирами. Сквозь запотевшее окно мы видели, как сначала в замутненной дали осталась Австрия, а затем и Германия.

Все мое тело раздражающе чесалось из-за лишних слоев одежды, которую мама заставила меня надеть, так как в наших чемоданах совершенно не осталось места. Каждый раз, когда нас заставляли выходить из поезда и предъявлять документы, у меня тряслись руки, и широко раскрытыми глазами я смотрела на солдат с суровыми лицами и револьверами.

Спустя где-то пару дней, когда поезд остановился, я буквально опьянела от облегчения, когда увидела папу и Хайнца на платформе. Они крепко обняли нас, и я без остановки начала болтать с братом обо всем, что повидала в дороге, и о том, как я ненавидела мое отвратительное оранжевое пальто.

Мы успели уехать вовремя: буквально через пару недель, в июне 1938 года, многие страны закрыли свои границы для еврейских беженцев.

5
Вредная маленькая девочка

Первые несколько недель нашей новой жизни ощущались как долгие странные каникулы. Был июнь 1938 года; мы гостили у папы в Голландии, прогуливаясь и катаясь на велосипедах вдоль вересковых полей, окружавших городок Бреда. После напряженных недель ожидания виз в Вене я наслаждалась свежим воздухом и разговорами с папой и братом, хотя по большей части я рассказывала им о том, как теперь стало плохо в Австрии.

Слишком скоро, увы, истек срок действия наших голландских виз, и нам пришлось уехать в Бельгию. Я начала подсчитывать бесконечное, как мне казалось, число дней до выходных, когда папа приедет, и мы снова будем вместе.

В 1938 году много еврейских семей пересекли границу Бельгии, подыскивая безопасный приют за территорией гитлеровского Третьего рейха – но прием им был оказан далеко не радушный.

После присоединения Австрии к Германии министр юстиции Бельгии, Шарль дю Бю, отдал приказ бельгийскому посольству в Австрии о прекращении выдачи виз евреям, объясняя это тем, что они «веками создавали проблемную ситуацию в Европе». Вслед за этим он написал статью, называя евреев «крайне ненадежными», не имеющими понятия о чести. С нашей точки зрения, дела обстояли как раз наоборот: в 1930-е годы чести не хватало именно Европе.

Значительность жизненных перемен вскружила мне голову. Всего лишь несколько месяцев назад я была маленькой девочкой, надежно защищенной своей семьей, окруженной бабушками, дедушками, тетями, дядями и братьями и ходившей с друзьями в школу.

«Я хочу обратно домой, в Австрию», – жаловалась я Хайнцу. Но мы знали, что не можем вернуться. Многие наши родственники и друзья оказались в ловушке, другие же бежали в страны, о которых я слышала лишь краем уха. Дедушка Рудольф и бабушка Хелен все еще напряженно ждали разрешения выехать в Англию. Даже наша сплоченная семья разделилась. Как мы могли называть новое место «домом», если там не было папы?

После венских нарядных проспектов, лип и кафе темные, сырые улицы Брюсселя угнетали меня. Серое небо давило на нас и осыпало мелким дождем – это с трудом можно было назвать свободой.

Мама, Хайнц и я поселились в двух маленьких комнатках пансиона на улице Экос. Когда я оглядела наше новое жилище, у меня упало сердце. Я вспомнила свою спальню в Вене, но конечно же в наш дом уже переехали другие люди и жили там. Ужасно хотелось снова иметь свою мебель вместо потертых старых кресел и кроватей, но внезапно я вспомнила, что мама была вынуждена продать все наши вещи.

Мы стали поистине бездомными людьми, и нигде нас не ждали.

Жизнь в Брюсселе оказалась драматическим опытом для меня и периодом тяжелой адаптации: начать хотя бы с того, что я не говорила по-французски. В то время как Хайнц прибегал из школы и, лежа на кровати, сосредоточенно изучал свои тетради, я переживала тяжелый период. В школе я краснела от неспособности выполнить простейшее задание или ответить на какой-либо вопрос учителя. Другие дети весело выкрикивали ответы, которые вращались вокруг меня шквалом шума. Хотя я была спортивной и любила проводить время на улице, в Вене учеба шла тоже хорошо. Теперь же я оказалась самой отстающей ученицей в классе.

«Ева… Ну почему же ты не можешь выучить этот глагол?» – раздраженно вопрошала мама во время наших с ней дополнительных занятий французским языком. В Австрии мама была преподавательницей французского языка, хотя мы дразнили ее тем, что ее единственный ученик покончил жизнь самоубийством. Возможно, она не настолько уж плохо учила (все-таки она окончила Венский университет), но ее уроки французского явно прошли мимо моей головы.

Одним из малочисленных приятных событий в Бельгии стала моя дружба с Джеки – сыном мадам ле Блан, владелицы пансиона. Я всегда легко общалась с мальчиками, как, например, с Мартином в Вене, поэтому с Джеки мы отлично ладили, несмотря на отсутствие общего языка.

Однажды мы решили разыграть одного постояльца, мистера Дюбуа – мужчину средних лет, постоянно жившего в пансионе мадам ле Блан и ушедшего на пенсию с должности чиновника в Конго. От него как бы исходила суровая напряженность, и мы опасливо обходили его стороной в коридорах. Как-то раз после завтрака мы проникли к нему в комнату и стали ждать, когда он вернется. Стена позади кровати была увешана копьями и страшными африканскими сувенирами. Давясь от смеха, мы спрятались за кроватью.

Нам показалось, что прошла целя вечность, пока мы не услышали скрип двери и тяжелые шаги мистера Дюбуа. Джеки и я

вскрикнули. Мистер Дюбуа с ревом вскочил на кровать и схватил копье, готовый пронзить нас обоих. Мы с визгом выскочили из-за кровати и, задыхаясь, выбежали из комнаты.

Джеки и я поклялись впредь держаться подальше от мистера Дюбуа. Он излучал сильный гнев, пугающий нас. Я стремилась во что бы то ни стало избегать его, но через несколько дней, когда я шла одна, он загнал меня в угол коридора. «Тебе понравились мои копья?» – поинтересовался он. Они мне совсем не понравились, но я пробормотала что-то вежливое. Почему бы нам не посмотреть на его коллекцию вместе, предложил он, тогда у меня не будет никаких неприятностей из-за сыгранной над ним шутки: он никому ничего не расскажет.

Он привел меня к себе в спальню и сказал, что хочет показать мне кое-какие фотографии из Конго. Я стояла рядом с ним скрепя сердце, пока он сидел в кресле и перелистывал альбомы с фотокарточками. Секунды и минуты шли как бы замедленным ходом. Наконец, наше заседание вроде бы закончилось, и я, облегченно выдохнув, убежала в нашу с Хайнцем комнату.

Но несколько дней спустя мистер Дюбуа снова застал меня в коридоре. Как и в прошлый раз, мы пошли в его комнату, и я молча стояла рядом, пока он сосредоточенно изучал старые фотоснимки. Его бесшумное напряжение и неглубокое дыхание наполняли комнату странной энергетикой, но когда он закончил смотреть фотографии, я снова ускользнула из комнаты с облегчением. Должно быть, мне не стоило больше сталкиваться с мистером Дюбуа…

Эти послеобеденные встречи были крайне обременительными, и я надеялась, что он потеряет к ним интерес. Но он все приходил и приходил за мной.

Через пару недель мистер Дюбуа начал сажать меня на колени во время просмотра альбомов. Мне это нравилось еще меньше, чем просто стоять рядом, но я сидела тихо и ждала, когда смогу уйти к маме, которая и не подозревала о происходившем. И в какой-то момент я заметила, что он ласкает себя рукой. Я не понимала, что означают действия мистера Дюбуа, но чувствовала, что это нехорошо, и была скована страхом.

Он утверждал, что это наш секрет. Я ни в коем случае не должна никому о нем рассказывать, иначе меня ждут большие неприятности. Он может снять одно из копий со стены и убить меня.

Вскоре мистер Дюбуа заставил меня ласкать его рукой, и прикасаться к нему *там* было отвратительно.

Мама и Хайнц стали замечать, что я стала очень замкнутой,

но они не знали причины. Мне же было очень грустно оттого, что я живу в чужой стране, вдали от папы. Я с трудом общалась, и моя вера в себя, казалось, начала угасать.

Ужасные свидания продолжались, пока однажды порочное занятие мистера Дюбуа не достигло кульминации и он эякулировал в носовой платок.

Я была настолько шокирована и потрясена, что стремглав выбежала из комнаты и столкнулась с проходившей мимо мамой. Увидев мое беспокойное состояние, она начала допрашивать меня, и я, не выдержав, рассказала ей всю правду.

Мама пошла за мадам ле Блан, и вместе они направились в комнату мистера Дюбуа, чтобы обличить его. Конечно же он все отрицал, но осталось вещественное доказательство – испачканный носовой платок в мусорной корзине. Смекнув, что больше нет смысла врать, он во всем сознался и принес извинения.

Мама была разгневана и потребовала от мадам ле Блан немедленно выселить мистера Дюбуа. К ее величайшему изумлению, хозяйка пансиона отказалась. Мы только временно жили у нее, а он являлся безвыездным пансионером и еще долгое время после нашего отъезда платил бы ей ренту.

С трудом можно было поверить, что кто-то осмелился произнести подобные слова, и маму обуяло чувство ужаса, а также папу и Хайнца, когда она все им рассказала. Но мы ничего не могли сделать. Несчастные беженцы в чужой стране, мы ждали получения виз, чтобы снова стать семьей.

Мама приказала мне никогда больше не разговаривать с мистером Дюбуа, и она делала все возможное, чтобы защитить меня, сидела рядом с моей кроватью каждый вечер, пока я не засыпала. Но еще в течение нескольких месяцев мы сталкивались с ним в проходах и вынуждены были сидеть молча в столовой, в то время как мужчина, домогавшийся меня, продолжал жить безмятежно. Это было самым худшим моментом во всей злополучной истории. Более того, он смотрел на меня как на человека, совершившего преступление против него.

Чувствовалось, как прочные основы моей безопасности рушились. Лишь недавно я была сияющей от счастья маленькой девочкой, которая вслепую прыгала со шкафа и знала, что папа всегда поймает ее. Теперь стало очевидно, что родители, несмотря на их заверения, не имели возможности защитить нас от всемирного зла. Они не смогли спасти нас от нацистов, и мы вынуждены были бежать из дома. Сейчас они не смогли защитить меня даже от одного мужчины, и он травмировал меня самым худшим образом.

Как ужасно, наверное, это было для них, и как ужасно это было для меня…

До сих пор воспоминания о сексуальном домогательстве настолько болезненно отзывались во мне, что я никогда ни с кем не обсуждала эту тему, несмотря на то что я уже рассказывала о многих куда более тяжелых вещах, пережитых моей семьей.

Оставшееся время нашего пребывания в Бельгии тянулось уныло и беспокойно. Я спряталась в свою скорлупу, и лишь несколько ярких моментов иногда выводили меня оттуда. В пансионе мне почти больше не с кем было дружить. Обводя взглядом столовую, я наблюдала мрачные лица других евреев, изгнанных из своих домов и таких же несчастных, как и мы. Но среди них выделялась одна бездетная пара по фамилии Дойч, и я стала называть их «тетушкой» и «дядюшкой». Они были обеспеченными еврейскими беженцами, ожидавшими визы в Америку.

Они угощали меня плитками шоколада «Кот д'Ор», к которым прилагались открытки с изображением членов бельгийской царской семьи. Вскоре я безумно увлеклась коллекционированием этих открыток и запоминала внешность каждого из этих родовитых бельгийцев, чтобы проникнуть в их казавшиеся идеальными жизни. Хайнц иногда помогал доставать мне эти ценные фотографии, выкупая их у друзей и часто заставляя меня оплачивать данную услугу чисткой его ботинок или расстановкой книжек. Однажды «тетушка» и «дядюшка» даже подарили мне воздушный змей и иногда возили нас на своей машине к морю. Впоследствии я узнала, что они так и не дождались получения виз, и их депортировали в концентрационный лагерь.

Антисемитские чувства все усиливались в Бельгии. В прессе широко освещалась нацистская кампания против евреев. Многих интересовало: может, действительно из-за евреев происходят все беды в Европе, и возможно, думали бельгийцы, эти беды постепенно приближаются к их собственному порогу…

В день своего десятилетия в мае 1939 года я умолила маму приготовить пирог с десятью свечками и в школе с гордостью раздавала своим друзьям приглашения. Все они были довольны, и мы весело болтали о том, какие подарки мне хотелось бы получить.

На следующий день я пришла в школу со страстным желанием обсудить еще более захватывающие идеи по поводу моего дня рождения – но все мои друзья, один за другим, сообщили мне, что не смогут прийти: родители им не разрешают. «Это потому, что мы евреи», – грустно подытожил Хайнц.

Я не знала, являются ли слухи о том, что происходит с евреями в Германии, правдой, но я точно видела, как папе становилось все труднее приезжать к нам. Каждая страница в его паспорте заполнялась штампами от затруднительного процесса пересечения границы между Голландией и Бельгией, и вскоре ему понадобился новый паспорт. Мама усердно добивалась от центра по проблемам беженцев получения голландских виз, но мы все ждали и ждали, а известия так и не приходили. Я не понимала, что она также пыталась найти другую безопасную страну, куда можно увезти нас, но ее поиски оказались тщетными.

«Плохие новости, – писала она моим тете и дяде в Англию. – Наши заявления на эмиграцию в Австралию отклонены». Практически невыносимо думать о том, как эти отклоненные заявления изменили нашу жизнь.

К сентябрю 1939 года наше напряжение достигло предела, но в последний момент мы получили хорошую новость.

Меня охватило волнение, когда я узнала, что мы увидимся с дедушкой Рудольфом и бабушкой Хелен. Им наконец выдали визы после изнурительной процедуры, и они уехали из Австрии с разрешением поселиться в Великобритании – но на бельгийской границе их остановили из-за отсутствия транзитной визы. Пришлось проделывать обратный путь до Австрии, подавать документы на бельгийскую визу и с волнением ожидать ответа о том, что визы получены – в самый последний момент.

Меня ничто из этого не волновало. Я знала только, что возможность снова увидеть бабушку с дедушкой казалась прекрасной мечтой после всего, через что мне пришлось пройти. Они были не только образами, существовавшими в моем воображении и оставленными позади со всеми остальными австрийскими воспоминаниями, – они были реальностью.

В день приезда бабушки и дедушки я, казалось, парила над мрачными улицами Брюсселя, когда мы спешили в центр по проблемам беженцев. Там всегда было очень многолюдно. Длинными рядами стояли столы, за которыми сидели работники, перебирая бесконечное число каталожных карточек, пытаясь воссоединить семьи, организовать получение виз и сообщить отрывочную информацию. Обычно меня эта обстановка подавляла, но в тот день я еле удерживалась на месте от воодушевления.

«Бабушка, бабушка!» – закричала я, как только увидела их, не замечая, как похудел дедушка и как все время нервно оглядывалась назад бабушка. Я обняла их и, взяв за руки, заговорила: «Подождите, я расскажу вам про свою новую школу; я начала учить французский язык, хотя мама говорит, что у меня

плохо получается, а в пансионе, где мы живем, у меня есть друг Джеки…» Слова восторга, спотыкаясь друг об друга, вырывались наружу, и я бессвязно пыталась рассказать обо всем, что случилось с нами после отъезда из Австрии.

Дни, проведенные вместе, прошли столь быстро, что с трудом верилось в отъезд дедушки с бабушкой в Англию. Хотя они и пытались тихо разговаривать с мамой, до меня долетали обрывки разговоров о «непонятных событиях». Они шепотом рассказывали о новых ужасных вещах, происходивших с евреями: о гетто в Польше, о Хрустальной ночи, когда многие синагоги в Германии были подожжены, а еврейские магазины разграблены.

Через неделю после отъезда бабушки и дедушки немцы оккупировали Чехословакию якобы с целью защитить евреев от жителей Судетской области и воссоединить их со своим отечеством. Германия также подписала Стальной пакт с Италией, а вслед за тем вторглась в Польшу, Францию, Англию, и все страны Содружества: Австралия, Новая Зеландия и Канада – заявили, что время примиренческой политики закончилось.

«Я обращаюсь к вам из правительственного зала на улице Даунинг, – так 3 сентября 1939 года начал свое знаменитое радиообращение британский премьер-министр Невилл Чемберлен. – Сегодня утром посол Великобритании в Берлине передал немецкому правительству последнее извещение о том, что если к одиннадцати часам мы не услышим от них о готовности вывести войска из Польши, между нами будет объявлена война. Сейчас я вынужден сказать, что такого обязательства мы не получили и, следовательно, Англия начинает войну с Германией».

Он закончил свое заявление словами: «Мы будем бороться против зла: против грубой силы, недобросовестности, несправедливости, угнетения и преследования; и я уверен, что победа будет достигнута».

Вторая мировая война началась.

Это была новость, которая так долго казалась неизбежной, но когда она пришла, странное чувство беспокойства и неуверенности охватило нас. Мои родители были рассеянны и, казалось, потерялись в своих мыслях.

На Бельгию словно опустилась зловещая тишина, как будто люди знали, что грядут перемены, но не подозревали, что они за собой повлекут.

Были моменты, когда казалось, что мы как будто натянуты до предела и что не сможем больше выдержать этой неестественной тишины, но нам пришлось еще в течение шести месяцев нервно отсчитывать каждый прожитый длинный, тревожный день.

Наконец в феврале 1940 года мы получили известие, которого ждали. Нам выдали голландские визы, и мы могли поехать в Амстердам, чтобы жить с папой.

Мое пребывание в Бельгии изменило мою жизнь больше, чем я могла себе представить. Несмотря на внешнее проявление уверенности, я знала, что мои родители были глубоко потрясены – и я была уже совсем другой маленькой девочкой, нежели та, которая села на поезд в Вене. На этот раз в начале нашего путешествия я вела себя замкнуто и тихо и испытывала чувство не столько начинавшегося приключения, сколько облегчения. Мои глаза к тому моменту уже видели разные неприятные вещи в жизни, и я могла быть только рада, что, независимо от того, что преподнесет нам Амстердам, это будет следующий этап нашего совместного пути.

6
Амстердам

Жизнь в изгнании была, несомненно, напряженной для моих родителей, но я приближалась к двум очень счастливым годам в моей жизни.

За время, что мы жили в Амстердаме, окрепли наши глубокие семейные узы. Мы с Хайнцем взрослели и претерпевали такие же эмоциональные и физические боли роста, как и все остальные подростки. Мы завели новых друзей и продолжали искать лихих приключений, плавая по голландским озерам и каналам в небольших деревянных лодках. А еще мы делали первые шаги на пути к робким романтическим отношениям с представителями противоположного пола (хотя я не особо стремилась к этому). Без нянь и гувернанток, а позже при введенном нацистами комендантском часе мы четверо очень сплотились.

После травматического периода жизни в Брюсселе я была очарована нашим новым домом, который совершенно не походил на тот, который мы покинули. Австрия была неровной и землистой, с народом, укоренившимся в тенях высоких гор и ледниковых озер. С печалью оглядываясь назад, могу сказать, что моя родина, видимо, заставила нас съежиться в тени лесов и горных вершин, в то время как Голландия проплывает у меня в воспоминаниях туманным водным пейзажем.

Я могла ездить на велосипеде вдоль сельских дамб, наблюдая за скотом, пасшимся у травянистого берега, и за тем, как мельницы медленно, тихо поворачивались на ветру.

Нидерланды сохраняли нейтралитет в Первой мировой войне и намеревались сделать это снова, надеясь в случае крайней необходимости затопить сеть водных путей страны и тем самым остановить нацистское вторжение.

В апреле 1939 года Гитлер обещал уважать нейтралитет Нидерландов, но после вторжения Германии в Польшу стало очевидно, что подобные обещания ничего не стоят. В панике голландское правительство мобилизовало неподготовленную армию, но в основном пацифистски настроенное население и политики не смогли понять масштаба угрозы, с которой они столкнулись.

К началу 1940 года большая часть Европы была в смятении, но голландцы сохраняли атмосферу спокойного простодушия, все еще не столкнувшиеся с кровопролитием двадцатого века и не пострадавшие от современной военной техники, которая

скапливалась на немецкой границе.

По воскресеньям крестьяне по-прежнему ходили в церковь в деревянной обуви. Их тесаные квадратные дома были аккуратно окрашены в яркие цвета, а окна обведены белым цветом. Хотя электричество уже широко использовалось в Амстердаме, в некоторых местах фонарщики все еще ходили по улицам в сумерках. Страна держалась за пережитки старой Европы, надеясь на лучшее будущее.

Мы прибыли на Центральный вокзал Амстердама холодным утром в феврале 1940 года. Папа встретил нас с широкой улыбкой на лице, и мы забрались в трамвай № 25, чтобы поехать на нашу новую квартиру. По пути папа обращал наше внимание на каналы и высокие купеческие дома, которые символизировали богатство и успех голландской торговой империи. Он сказал мне шепотом (зная, вероятно, что только я оценю эту деталь), что у деревянных мостов есть пробелы в досках и что через них можно увидеть воду и шлюпки.

Трамвай провез нас на юг сквозь весь город: через район рабочего класса де Пийп и до местечка, называемого Речной квартал. На горизонте замаячило здание, похожее на небоскреб. Речной квартал так назывался, потому что его улицы, усаженные тополями, были названы в честь различных рек, которые текли через Нидерланды и впадали в море, в частности Рейн, Маас, Шельда и Джекер. В 1920-е годы социально прогрессивные компании при поддержке государства построили новые жилые дома для своих работников. Многие здания были сделаны из темного кирпича с оранжевыми крышами, а каждое большое окно, изящно обрамленное занавеской, как правило, украшалось ящиком с цветами.

Ночью голландцы ставили лампы на подоконники, и можно было видеть, как члены семей ужинают, делают домашние задания и читают книги. Квартиры были маленькими, но удобными, с сантехникой и общими садами для детских игр. Великая депрессия положила конец строительному буму, и многие квартиры остались необитаемыми, в том числе в двенадцатиэтажном здании, которое я заметила, когда мы приехали. Пустой небоскреб годами возвышался над улицами города. Во время наплыва еврейских беженцев люди, вроде нас, стали арендовать жилье в небоскребе и многоквартирных домах вокруг большой площади под названием Мерведеплейн. Годами эта башня была нашим якорем.

В каком бы месте города мы ни находились, все, что нам нужно было сделать, это посмотреть вверх, увидеть вдали надвигавшееся присутствие башни и отправиться домой. Наша

новая квартира находилась по адресу Мерведеплейн, дом 46, в одном из длинных зданий, которые лицевой стороной выходили на площадь. Треугольное открытое пространство площади казалось неотразимым в тот первый день, и я спрыгнула с трамвая и побежала по траве, кувыркаясь «колесом». Хайнц добежал до меня, и мы вместе помчались по ступенькам к нашей квартире на первом этаже.

– Эрик! – ахнула моя мать, ступая внутрь. Там, посреди гостиной, стоял рояль.

Наша квартира была красиво и модно обставлена, и папе удалось очаровать даму – владелицу этих апартаментов. Он попросил оставить квартиру на ее имя, предвидя проблемы, которые могут возникнуть у еврейского народа, если события станут разворачиваться по худшему сценарию.

В тот момент, когда мама увидела пианино, она оставила вещи в дверях и сразу же села играть пьесу Иоганна Штрауса, которую мы все любили слушать в Вене.

Потом мой отец направил нас на кухню, где мы осматривали плиту, стол и аккуратное рабочее пространство.

– Ну, Фрици, – сказал он с насмешливой торжественностью, – я верю, что приготовление пищи станет для тебя новым начинанием.

В действительности так и оказалось. Мой отец был прекрасным человеком, но он был таким же требовательным, как и большинство других мужей той эпохи. После тяжелого рабочего дня он ожидал сесть за ужин из трех блюд, который наша горничная с трудом приготовила бы для нас. Теперь эта задача легла на плечи моей матери.

Сначала она боролась. До этого момента я подозревала, что моя мать никогда не варила даже яйца. Теперь ей пришлось искать ингредиенты и стряпать сложные, трудоемкие австрийские блюда с лапшой, а также сладкие блюда типа вареников с тушеными сливами. Со временем и с помощью австрийской дамы по имени госпожа Розенбаум, которая была замужем за немецким адвокатом, другом моего отца, мама научилась хорошо готовить, хотя великим шеф-поваром так и не стала. Она всегда предпочитала играть симфонии, а не помешивать еду в кастрюле. Кто может винить ее?

Мама, конечно, намеревалась в полной мере воспользоваться наличием фортепиано. Как только мы поселились, она начала искать учителя музыки для Хайнца и создала небольшую группу еврейских музыкантов для проведения вечерних концертов.

Часто это превышало терпение моего отца, любившего музыку, так как некоторые члены группы были скорее

энтузиастами, нежели профессионалами своего дела. Сначала папа напряженно сидел с газетой в руках. Затем, когда скрипач разыгрывался, вразлад водя смычком по струнам, газета дергалась, и костяшки моего отца белели, пока он кратко не объявлял, что пришло время ему прогуляться с мистером Розенбаумом.

– Я просто не могу слушать этот визг! – говорил папа матери, когда возвращался после окончания концерта.

Я тоже предпочитала находиться на открытом воздухе – и не только чтобы избежать музыки.

В Амстердаме я почувствовала новое для себя чувство свободы, завела новых друзей и обнаружила, что мне особенно понравилась девушка по имени Дженни Коорд. Родители Дженни работали врачами, и она была довольно застенчивой, умной и доброй, стараясь изо всех сил приласкать меня и помочь мне выучить голландский язык.

Вскоре мы с Дженни стали навещать молодых матерей, живущих в районе площади, помогая им с детьми. Я также начала ездить на своем подержанном черном велосипеде и играть в классики и в шарики на улице, как будто прожила в этом месте всю жизнь.

Я несла с собой тяжелую сумку с шариками и предлагала другим детям поиграть. Когда никого не было рядом, я часами скакала и делала гимнастические упражнения, которым хорошо обучилась в Австрии, вися на железных перилах лестницы многоквартирного дома.

«Как бы мне хотелось милую нежную дочь, а вместо нее у меня есть дикий сорванец…» – писал папа моим бабушке и дедушке в Англию, добавляя: «Всякий раз, когда Эви и Фрици борются на руках, Фрици всегда вынуждена просить ничью!»

Вскоре другие дети в Мерведеплейн оценили, что я была очень спортивной и хорошо разбиралась в играх. В мгновение ока меня выбрали первым игроком в команду английского бейсбола, где надо было отбивать мяч и быстро бежать от одной стороны площадки к другой. Мы играли на площади часами до позднего вечера, когда становилось совсем темно и папа приходил звать меня домой.

Большинство других детей на площади тоже были из разных стран, и многие были евреями. Впервые я жила в преимущественно еврейском окружении, и нам было чему поучиться друг у друга. Поначалу, конечно, я почти не говорила по-голландски – еще одно разочарование. Я только-только освоила французский!

Вскоре меня зачислили в новую школу, где я столкнулась с

тем, что уже стало знакомыми препятствиями: новый язык, новые учителя, на которых надо произвести впечатление, и новые компании девочек, к которым надо как-то присоединиться.

Дома мои родители говорили друг с другом по-немецки, а мы с Хайнцем разговаривали на странной смеси французского и голландского языков. Мы быстро становились потерянной семьей, и опыт беженцев оставил следы на всех сферах нашей жизни.

Хотя я наслаждалась всем, что предлагал город, никто из нас не мог игнорировать те обстоятельства, которые привели нас в Голландию, и надвигавшийся кризис.

В школе нас учили, как вести себя при воздушных налетах, и люди приветствовали друг друга на улицах с волнением в голосе, спрашивая о благополучии друзей и семьи.

Амстердамцы, с которыми я познакомилась, почти все были сердечными и дружелюбными, но голландское общество глубоко разделилось на различные политические, социальные и религиозные сообщества. Каждое из них предпочитало определенную политическую партию, и то, к какому сообществу принадлежал человек, определяло выбор газет, которые он читал, клубы, к которым присоединялся, и школу, в которую отправлял своих детей.

Существовала также партия национал-социалистов, получившая название НСБ, которая подражала Гитлеру и совершала бандитские набеги. Они напали на еврейское кафе-мороженое и разбили окна Комитета еврейских интересов. НСБ никогда не была очень большой партией, на пике своего расцвета в середине 1930-х годов насчитывалось всего 38 000 членов, и большинство голландцев относились к НСБ с презрением.

Лидера Антона Мусерта часто высмеивали за то, что он женился на своей тете – женщине на восемнадцать лет старше него. К концу зимы и началу весны 1940 года мы привыкли слышать сильный гул немецких бомбардировщиков, пролетавших над головой по направлению к союзным стратегическим объектам, таким как военно-морская база Скапа-Флоу в Шотландии.

Я лежала в постели ночью, представляя, как самолет за самолетом летят над Северным морем в те края, где были бабушка Хелен и дедушка Рудольф, а также мои тетя, дядя и двоюродные братья. Я знала, что сначала дедушка Рудольф не любил Англию и отказался говорить на этом новом, странном языке. В конце концов, он служил в Австро-Венгерской армии в Первой мировой войне, и некоторая непроходящая настороженность осталась.

Затем однажды вечером он пошел в паб в маленьком

ланкаширском городке, где они поселились, и сел играть на пианино, мгновенно оказавшись в центре внимания. Он завоевал много новых друзей, которые, узнав, что он прибыл в страну практически без гроша в кармане, угостили его пинтой пива.

Я надеялась, что он тоже вспоминает обо мне и о наших воскресных прогулках в венскую таверну.

К 9 апреля 1940 года в Европе стало еще хуже. Германия оккупировала Данию и Норвегию, заявив, что пришла защитить две страны от «франко-британской агрессии».

Вторжение в Данию было самой короткой кампанией, проведенной немцами во время войны; небольшая армия Дании потерпела поражение, и правительство сдалось всего за шесть часов.

В Норвегии проходила кампания другого порядка. Норвегия была стратегически важна для Германии и как канал для шведской железной руды, и как база для операций на подводных лодках, с которыми Гитлер надеялся потопить британское судоходство и взять Великобританию измором. Но норвежцы не сразу сдались перед лицом немецкой агрессии, сражаясь в течение шестидесяти двух дней в горной местности.

Все эти события не предвещали ничего хорошего Нидерландам с их плохо оснащенными вооруженными силами и в значительной степени пацифистским правительством национального единства. Но голландцы по-прежнему придерживались позиции отрицания, непринужденно посвистывая в «атмосфере веселого неверия и преднамеренного самообмана», как позже выразился один голландский историк.

Мои родители внимательно следили за событиями по радио и тихо говорили друг с другом, когда думали, что мы не слышим, но даже если они боялись за наше будущее (как, должно быть, и было) или понимали, с тяжелым предчувствием в душе, что новое место жительства предоставило нам только короткую отсрочку, они никогда не позволяли выказать свои опасения.

На более глубоком уровне эти изменения и неопределенность, должно быть, повлияли на меня, и я помню инцидент того времени, который заставил меня расстроиться. Из Брюсселя мы снова переезжали в спешке, и только после того, как прибыли в Амстердам, я поняла, что потеряла свою коллекцию открыток «Кот д'Ор» с бельгийской королевской семьей. Как мы ни искали, их нигде не было, и я очень расстроилась. Мне казалось, что этот небольшой инцидент каким-то образом усугубил мрак, окутывавший мир в то время.

Мы стали четырьмя совершенно другими людьми со времени отъезда из Вены.

Через несколько месяцев после нашего прибытия в Голландию моя мать поставила нас с Хайнцем около стены в спальне и отметила наш рост карандашом. Мой отец сделал первые пометки, когда мы приехали, чтобы ознаменовать въезд в новый дом. Всего лишь за несколько недель мы оба выросли.

7
Анна Франк

В Амстердаме у меня появилось много новых друзей, особенно девочек и мальчиков, живших в районе Мерведеплейн, но одной девочке суждено было стать известной миллионам людей по всему миру.

Если вы один из тех, кто читал «Дневник» Анны Франк, то можете полагать, что знаете о ней многое.

Вы конечно бы узнали известный портрет Анны, сделанный ее отцом Отто и украшающий бесчисленное количество афиш и книжных обложек: темные волосы, завитые с одной стороны, застенчивая и лукавая улыбка.

Если вы читали «Дневник» в юном возрасте, возможно, вы узнавали себя, когда Анна описывает свое взросление, ссоры с родителями, желание привлечь внимание мальчика и вопросы о том, что принесет с собой будущее. Как и я, вы, наверное, огорчились, узнав, что ее надежды и мечты так и не осуществились. И если даже что-то сбылось, а именно ее желание стать известной писательницей, то совершенно не таким образом, как она предполагала.

Конечно, такой Анны я не знала – проникновенной писательницы, с теми чувствами и душевными глубинами, которые она открывала только на страницах своего дневника. Но я могу рассказать вам об Анне, с которой я познакомилась в Мерведеплейн, и о той короткой дружбе, которая началась тогда. Позже эта дружба соединила наши семьи, что значительно повлияло на мою жизнь.

В тот день, когда я познакомилась с Анной, я лицом к лицу столкнулась не со своим зеркальным отражением, а скорее, с зеркальной противоположностью. Я была светловолосым сорванцом, с загоревшей кожей от постоянного пребывания на улице, моя одежда выглядела неопрятной от езды на велосипеде, игр в шарики и кувырканий на площади. Анна была на месяц моложе меня, но она казалась печальной и таинственной, глядя из-под своих аккуратно уложенных волос. Она всегда выглядела безукоризненно: в блузе и юбочке, с белыми носками, в блестящих лакированных ботиночках. Мы жили прямо напротив друг друга, но были столь разными.

Если у меня и появились друзья, это оттого, что люди любили меня за мой иногда слепой, непосредственный жизненный энтузиазм. Анна притягивала к себе людей благодаря умению

сплетать паутину забавных историй, намекая, что она знала немного больше, чем все остальные. Она так много болтала, что ее звали «миссис кряква», и в моей памяти всегда всплывает толпа девочек вокруг нее, которые хихикают над ее рассказом о каком-нибудь последнем наблюдении или приключении. Пока я весело играла в классики, Анна читала киножурналы и ходила с друзьями в кафе, где они ели мороженое и беседовали, как светские дамы, которыми и желали стать.

Однажды днем я сидела у портнихи, праздно стуча пятками, и ждала маму, чтобы мы могли перешить мое пальто. За занавеской я слышала, как покупательница тщательно советовалась с помощником портнихи по поводу своего нового наряда.

Что она думает о длине подола? Будет ли это выглядеть более стильно с большими подплечниками? К моему удивлению, когда занавеска отодвинулась, за ней появилась Анна, размахивая своим новым персиковым нарядом с зеленой отделкой: она разглядывала себя в зеркале, размышляя о последних модных тенденциях Парижа.

Анна переехала в Амстердам из Франкфурта вместе с сестрой Марго и родителями в 1933 году. Ее отец Отто управлял компанией «Опекта», производящей ингредиент под названием пектин, который использовался в приготовлении варенья. Он также увлекался фотографией и снимал на камеру Leica, с ее острым, как бритва, объективом Carl Zeiss: Отто стремился сделать как можно больше изображений его маленьких дочерей, в то время как те занимались своими делами.

Как и мы, члены семьи Франк были еврейскими беженцами. Мать Анны Эдит всегда была очень тихой, и мне она казалась даже робкой. Отто был высоким, худощавым человеком с маленькими усами и дружелюбными глазами. Он выглядел старше, чем мои родители, и я знала, что он женился позже, и дочери у него появились после тридцати лет.

Моим первым впечатлением от Отто была его доброта. После нескольких бесед в их квартире Отто понял, что я все еще говорю по-голландски. С тех пор он старался изо всех сил наладить со мной контакт и заставить меня чувствовать себя как дома, говоря по-немецки. Я знала его много лет и, несмотря на все, через что мы прошли, я никогда не поменяла своего мнения о том, что он был сердечным и чутким человеком – истинным джентльменом.

Я часто ходила в гости к Франкам и сидела на кухне, пила домашний лимонад, при этом обнималась с их кошкой Муртж и гладила ее.

Когда мы только приехали в Мерведеплейн, я нашла

маленького котенка возле нашей квартиры и отнесла его домой. Я шепнула ему, что у него теперь новая семья, и папочка подмигнул маме и Хайнцу и сказал, что мы можем оставить его. Мне нравилось иметь что-то свое, и я была совершенно безутешна, когда однажды проснулась и обнаружила, что он ушел. Я никогда так и не узнала, что случилось с моим котенком, и тогда доставила всем немало хлопот, так как дни поисков – безрезультатных – продолжались. Мне хотелось, чтобы мама позволила завести еще одного питомца, но, поскольку это казалось маловероятным, я вынуждена была довольствоваться игрой с кошкой Франков.

При нормальных обстоятельствах мои отношения с Анной, вероятно, остались бы на уровне мимолетного знакомства. Как бы то ни было, сильнее всего в то время нас связывала другая моя подруга – Сюзанна Ледерман. У Сюзанны было красивое лицо, голубые глаза и густые темные косы, и я поклонялась ей с девичьим энтузиазмом. Мы обменивались закодированными сообщениями из окон нашей спальни, которые находились друг на против друга со стороны небольшого заднего сада. Сюзанна дружила с Анной и другой девушкой по имени Ханна, и они проводили довольно много времени, обсуждая мальчиков и потенциальных кавалеров, что, как мне казалось, было пустой тратой времени.

Даже Хайнц начал привлекать внимание некоторых девушек в Мерведеплейн, а сам влюбился в девушку по имени Эллен. Он превращался в высокого, красивого молодого человека, но его подростковые увлечения смешили меня. Романтические отношения с мальчиками все еще были мне не интересны. Однажды днем Хайнц объявил, что один из его друзей, Герман, хочет меня видеть, и я чуть не сгорела от стыда, когда этот мальчик появился в дверях моей комнаты и застенчиво подарил мне букет цветов. Под давлением момента я неохотно согласилась быть «девушкой» Германа, но на самом деле такого рода увлечения, которые все больше и больше интересовали Хайнца, Анну и Сюзанну, еще не владели моим умом.

Мы все дружили, но общались в разных компаниях – и я была очень расстроена, когда обнаружила, что Сюзанна не пригласила меня и Дженни на свой день рождения, где присутствовали Анна и другие девочки. Назло я взяла коробку конфет, осторожно развернула каждый фантик и вместо шоколада положила кусочки морковки и репы – перед тем, как завернуть их в серебристую фольгу. Затем я подарила коробку Сюзанне и пожелала ей счастливого дня рождения. Позже сестра Сюзанны Барбара сказала мне, что Сюзанна развернула все «конфеты» до единой.

– О, Ева, – сказала она, – хотя бы одну конфету ты могла оставить, хотя бы одну…

Я до сих пор помню, что очень завидовала Анне за то, что ее пригласили на день рождения Сюзанны; мне очень хотелось, чтобы мы все были близкими друзьями и я тоже могла пойти на праздник.

События в мире, находившиеся вне нашего контроля, говорили о том, что нас ждут счастливые, а иногда и трагические жизненные истории, но в то время мы все были обычными мальчиками и девочками, с той же ревностью, тревогами, стремлениями, дружбой и соперничеством.

8
Оккупация

В ночь на 10 мая 1940 года немецкие самолеты, как обычно, пролетали над Голландией, но где-то над Северным морем делали круг и поворачивали назад. Мы проснулись от шума низколетящих самолетов и стрельбы. К тому времени, когда папа включил радио и прослушал новости, 4000 немецких солдат уже опускались с парашютами на голландские авиабазы в Валкенбурге, Окенбурге и Ипенбурге. Позже тысячи других высадились с еще более внушительным боем около других голландских городов, включая Роттердам, в то время как немецкая четвертая танковая дивизия начала наступление через южную границу. Все это случилось за день до моего одиннадцатилетия, и я только что написала бабушке и дедушке о вечеринке, которую устроила в прошедшие выходные.

> Дорогая бабушка!
>
> Спасибо за твое прекрасное письмо и спасибо дедушке за фотографии. Мой день рождения удался, и я очень поправилась. Еще раз желаю тебе хорошего Дня матери! У меня нет времени написать дедушке.
>
> Целую сто миллионов раз,
>
> *Ева, твоя именинница.*

Теперь наши худшие ожидания оправдались. Нас сразу же охватило чувство паники, и, как и многие другие еврейские семьи, мы собрали немного вещей и бросились на улицы города, чтобы посмотреть, удастся ли найти пароход, направлявшийся в Англию. В городе было столпотворение, люди бегали туда-сюда, пытаясь найти своих близких – или способ уехать.

Мы с тревогой носились с места на место в течение нескольких часов, все более теряя силы и присутствие духа, в то время как папа пытался забронировать для нас место на любом судне, которое отплывало. Попытки оказались тщетными. Последний корабль ушел, и мы так и не смогли попасть на борт.

Рука об руку, мы медленную шли обратно в Мерведеплейн в абсолютнейшей тишине, такой глухой, как та, что подавила нас в ночь нацистского вторжения в Вену. Голландская армия пять дней оказывала горячее сопротивление, но ее необученные войска и слабая военная авиация не могли противостоять немецкой

военной технике. Сеть дамб страны, которая должна была обеспечить важнейшую линию обороны, так и не была затоплена, поскольку мосты обеспечивали жизненно важную связь между голландскими полками. Немецкие танки просто перекатились через реку Маас и захватили территорию. Так называемая «фальшивая война», которая длилась с сентября 1939 года, закончилась (хотя она никогда не была «фальшивой» для евреев или для тех, кто жил на Восточном фронте, например в Польше).

В Англии Невилл Чемберлен сложил обязанности премьер-министра, и на его место пришел Уинстон Черчилль, в то время как в Польше нацистский офицер Рудольф Хёсс отмечал свое назначение комендантом нового концентрационного лагеря под названием Аушвиц. С ужасающей дальновидностью он объявил о том, что в скором времени пустые вшивые польские бараки будут переделаны в наиболее эффективный концентрационный лагерь во всем Третьем рейхе.

Два дня спустя нападения немцев на Голландию королева Вильгельмина уплыла в Англию на военном корабле с принцессой Юлианой, прицнем Бернардом и их детьми и возглавила голландское правительство в изгнании.

После четырех дней сражения немецкие самолеты разбомбили центр Роттердама и превратили его в пылающие развалины, убив при этом 1000 людей и оставив бездомными около 800 000 голландцев. Голландская армия уже сдалась, чтобы уберечь жителей Роттердама, но нацисты заявили, что не получили информацию об этом вовремя, и поэтому бомбежка не была прекращена. По новостям передавали, что один маленький мальчик, наблюдая весь город в огне, спросил: «Мама, это конец света?» Включая Амстердам и другие города, пережившие такое же бедствие, Нидерланды сдались Германии.

Наши худшие ожидания оправдались. С 15 мая 1940 года мы стали жить в зоне нацистской оккупации, и деваться нам было некуда.

Жизнь снова вмиг поменялась. В ту среду немецкие войска перешли через мост Берлаге и оказались в Амстердаме. Некоторые прохожие благодушно приветствовали их на улице Рокин, простирая к ним руки, в то время как немцы проносились по улицам. Большинство рядовых граждан отреагировали с ужасом и неоднозначно отнеслись к происходившему. Они очень хотели сохранить свою независимость, но им нужно было уметь примириться с новыми обстоятельствами, если от этого зависела безопасность их семьи.

В надежде удержать национал-социалистическую партию Антона Мюссерта вдалеке от власти в июле 1940 года была

основана новая политическая организация – Нидерландский союз. Он выступал за «разумную политику» сотрудничества с нацистами и даже обсуждал «еврейскую проблему». Это «разумное сотрудничество» завоевало много сторонников, и в течение нескольких месяцев в ряды НС вступили более 800 000 человек, причем мужчины и женщины выстраивались в очередь, чтобы присоединиться.

После нашего опыта в Вене и сообщений, которые поступали из остальных стран Европы, мы знали, что будет дальше. Главой нового нацистского режима стал Артур Зейсс-Инкварт, бывший австрийский канцлер, который являлся ответственным за разрешение аншлюса с Германией в 1938 году. Но нацисты вели себя сначала осмотрительно, не желая отталкивать большую часть голландского населения, и поэтому мы томились в ожидании будущего в нашей квартире в Мерведеплейн, подбадривали друг друга, но при этом испытывали сильнейший страх.

Тем летом мы в последний раз отдохнули все вместе: провели две недели на берегу моря в городке Зандворт, всего в часе езды на север от Амстердама.

Мы фотографировались на длинных пляжах, которые плавно уходили вниз, в небольшой участок Северного моря, который отделял нас от Англии. И мы ездили вместе на велосипедах по травянистым равнинным землям, смеясь, когда маму заносило из стороны в сторону из-за ее плохого чувства координации. Она никогда не разбиралась в велосипедах и автомобилях: ее единственный опыт вождения окончился тем, что она врезалась в дерево.

Мы вчетвером разговаривали, хихикали и дразнили друг друга, как будто не было никаких забот и проблем. Но на самом деле это было далеко от истины.

В августе 1940 года нацисты начали вводить законы против евреев в Нидерландах. Первый закон запрещал мясникам убивать животных способом кровопролития (как того требовала кошерная практика) якобы для «очищения голландской национальной чести» от «жестокости к животным».

Затем в сентябре нацисты запретили еврейским торговцам продавать свои товары на улицах. Затем евреям запретили работать на государственной и гражданской службе, а затем в университетах. К октябрю 1940 года все еврейские предприятия должны были быть зарегистрированы у нацистов.

В январе 1941 года нацистский режим потребовал полной регистрации всего еврейского населения в 130 000 человек, а в июле взрослым были выданы удостоверения личности с большой

буквой «J», означавшей – «еврей». Евреи могли ожидать, что их остановят и попросят предъявить удостоверение на улице, в автобусе или трамвае, и если они вдруг оставят его дома, нацисты арестуют их на месте. Кажется невероятной нацистская вера в то, что они могли низвести тысячи мужчин и женщин – цельных, сложных личностей – лишь до буквы «J».

У мамы с папой уже были австрийские паспорта со штампом «J», прежде чем их забрали после аншлюса и заменили бесполезными немецкими паспортами – также с буквой «J». Тогда они также были изъяты, и все мы остались без гражданства. Даже в бельгийскую визу мамы вставили имя «Сара», чтобы власти знали, что она еврейка. (Еврейских женщин называли «Сара», а к мужским именам добавляли «Израиль».)

Наша жизнь становилась все более и более ограниченной. Как владелец еврейской компании папа был вынужден передать обувную фабрику в Бреде христианину, хотя я думаю, что у него была договоренность, в соответствии с которой он все еще получал доход. Новые ограничения на выезд означали, что он все равно не смог бы ездить на работу. Всегда бывший успешным бизнесменом, папа начал нанимать других евреев, чтобы изготовлять сумки из змеиной кожи на дому.

Мы стали видеть вывески на театрах, кафе и других общественных зданиях – «Запрещено для евреев». Еще более тяжелым для мамы и Хайнца было то, что все были вынуждены сдать свои радиоприемники, чтобы исключить возможность передачи новостей из Лондона. Теперь папа скучал по тем временам, когда можно было слушать обнадеживающие новости от наших английских союзников, а мама и Хайнц тосковали по музыке из Лондонской филармонии.

В феврале 1941 года сотни тысяч голландских граждан обездвижили Амстердам всеобщей четырехдневной забастовкой. Она произошла в знак протеста против жестокости немцев по отношению к евреям после драки возле кафе-мороженого. Это был первый признак организованного сопротивления со стороны голландского народа, и он застал нацистский режим врасплох.

До сих пор нацистская политика заключалась в том, чтобы относиться к голландцам снисходительно как к части их «арийской» расы, освобождая военнопленных и закрывая глаза на обычных людей, носящих оранжевые ленты или другие символы сопротивления на улице. Теперь зачинщиков забастовки поймали и расстреляли – шокирующее событие для голландцев, и нацисты впервые публично показали свое истинное лицо. Всеобщая забастовка февраля 1941 года все изменила, стала первым поворотным пунктом в оккупации.

Нацистский рейхскомиссар Артур Зейсс-Инкварт сказал голландцам, что поддержка евреев неприемлема. «Мы, нацисты, не считаем евреев частью голландского народа. Они наши враги».

Из боязни, что граждане Нидерландов не усвоят этот посыл, голландским кинотеатрам было поручено применять самый отвратительный вид нацистской пропаганды, в том числе показ примитивного фильма под названием «Вечный жид». Эта картина являлась поддельным документальным фильмом, предназначенным показать, что евреи – грязные и вредные, практически не люди, и состоял он из отрывочных кадров, показывающих евреев-«тунеядцев» на переполненной улице в польском гетто, и крыс, роящихся у водосточной трубы.

Мне обычно нравились долгие теплые весенние вечера, но с наступлением лета 1941 года мы уже не могли никуда пойти и чем-нибудь заняться. Были приняты еще более ограничительные законы: евреи не допускались на биржу, еврейские врачи могли лечить только еврейских пациентов, а еврейским музыкантам не разрешалось играть в оркестрах. Для Хайнца и меня, и других детей в Мерведеплейне это означало, что мы не могли пойти в парк, прогуляться по пляжу, покататься на трамвае, посетить зоопарк, освежиться в бассейне или пойти в кино. «Мне так хочется посмотреть фильм с Ширли Темпл», – со вздохом сказала я Хайнцу в один жаркий день.

«Что есть у Ширли, чего нет у меня?» – спросил брат, вскочив с кровати, где он читал свою книгу, и начал бить чечетку на полу.

«Разве это не так же весело, как просмотр фильма?»

«Танец не так уж плох, – ответила я, смеясь, – но ты не такой симпатичный, как Ширли».

В сентябре мы узнали, что нам придется идти в разные «еврейские» школы. Хайнц был вынужден покинуть лицей. В своей новой школе он подружился с Марго Франк. Они оба хорошо учились и иногда делали домашние задания вместе.

Мама с папой решили, что я все еще недостаточно хорошо говорю по-голландски, чтобы пойти в школу, поэтому они организовали для меня частные занятия с десятью другими детьми. Мама даже ходила к Франкам, чтобы познакомиться и спросить, не хочет ли Анна присоединиться к занятиям, но она хорошо владела языком, и ее родители решили, что она может пойти в нужную школу.

Наш преподаватель, мистер Мендоза, был холостяком средних лет, который каждый день проводил уроки в своей квартире, в то время как его мать готовила нам обед на кухне. Их семья была частью большой общины сефардских евреев, которые бежали от преследований из Испании и Португалии сотни лет

назад и построили великолепную португальскую синагогу в Амстердаме.

Полагаю, что, как и большинство моих друзей и знакомых из Амстердама, господин Мендоза и его мать были депортированы в концентрационные лагеря и никогда оттуда не вернулись.

Когда подошел конец наших занятий, мои одноклассники договорились купить мистеру Мендозе подарок: двух волнистых попугайчиков в клетке. Мы держали птиц у себя в квартире, и после окончания уроков другие дети приходили и помогали их кормить.

Однажды утром я проснулась и обнаружила, что один из волнистых попугайчиков лежал мягкий, красивый, но мертвый на дне клетки. Никто из моих одноклассников, казалось, так не расстроился, как я, и мама купила другую птицу, чтобы заменить умершего попугая. Но я просто не могла забыть о нем. Я сжимала кулаки, желая повернуть время вспять и оживить птицу – но чуда не происходило.

Теперь, когда закон гласил, что евреи должны быть дома к восьми часам вечера, родители сами пытались придумать развлечения для нас, чтобы сделать комендантский час более терпимым. Каждый вечер мы вчетвером садились и играли вместе в бридж. Для подростков это было необычным занятием, но бридж – довольно увлекательная игра, и мы быстро втянулись в изучение сложных правил и стратегий. Я не могу этого доказать, но мы играли так много, что, кажется, я стала одним из самых выдающихся и преданных игроков в детский бридж по всей Европе.

Однако даже игры в бридж не могли заполнить все наши вечера. Иногда днем мы приглашали друзей и играли в монополию, а потом Хайнц садился за рояль, и мы слушали, как он играл Шопена, Шуберта и его любимого Джорджа Гершвина.

Однажды Хайнц вернулся домой с картоном и мелками и начал что-то чертить в гостиной.

– Не входи, – крикнул он мне, – оставайся в своей комнате, пока я тебя не позову.

Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем он пришел за мной.

– Закрой глаза, – сказал он, проводя меня в гостиную. У всех жителей должны были висеть жалюзи на окнах из-за воздушных налетов, и когда я открыла глаза, то увидела, что жалюзи были опущены и в комнате царил полумрак. Внезапно Хайнц зажег фонарик и посветил ярким лучом прямо на жалюзи, и перед моими глазами появились персонажи из «Белоснежки и семи гномов».

«Я знаю, что ты расстроилась, потому что не смогла пойти в кино, – сказал он, – но теперь у тебя будет свое собственное представление…»

Он нарисовал всех персонажей «Белоснежки», оживив каждого прикосновением своего карандаша. Он рассказал мне всю историю, останавливаясь на каждом персонаже и закручивая сюжет, как будто это был фильм или спектакль. Родители сидели, гордо наблюдая за ним, зная, что он сделал все это, чтобы хоть немного развеселить меня.

«Это самая лучшая Белоснежка на всем свете…» – произнесла я в конце представления.

Как и все братья и сестры, иногда мы спорили и ссорились, но в тот момент я не могла представить себе более заботливого брата.

Если бы только, закрыв шторы и опустив жалюзи, действительно можно было отгородиться от мира…

В то время как мы наблюдали за воображаемыми сказочными битвами между добром и злом, неведомо для нас высшие нацистские офицеры встретились на вилле за пределами Берлина и обсудили судьбу евреев. Нацисты приступили к политике «освобождения» немецких земель и домов, и осуществлялась она при помощи перевозки евреев на восток, но даже это оказалось проблематичным, поскольку гетто в городах и поселках быстро оказались заполненными.

На Ванзейской конференции 20 января 1942 года генерал-лейтенант СС Рейнхард Гейдрих, начальник службы безопасности, обнародовал «окончательное решение еврейского вопроса»: все европейские евреи должны быть перевезены в лагеря на восток, где либо будут работать до смерти, либо будут убиты.

Вскоре после этого Амстердам начал пополняться евреями из других округов Голландии, которые были насильственно «переселены». Они останавливались там, где могли найти место, не подозревая, что находятся на первом этапе своего ужасного пути. Нацисты всегда прикрывали свои злодеяния ложными словами, такими как «переселение» и «окончательное решение». Это было усовершенствовано, конечно, в концентрационных лагерях, таких как Аушвиц, там, куда люди входили под лозунгом «Труд освобождает» и где им говорили, что они идут в «душ», в то время как они шли прямо в газовые камеры.

В мае того же года я увидела, как мама пришивает желтую звезду Давида к моей одежде. Она сказала, что ее никогда нельзя снимать или скрывать, например, повесив пальто на руку. «Если еврей остановится и не покажет звезду, немцы арестуют его», – сказала она мне.

«Мы как изгои!» – закричала я, и все мои страхи и разочарования вылились горячими сердитыми слезами.

– Нет, Эви, – сказала она. – Мы ненавидим носить этот значок, но мы по-прежнему гордимся тем, что евреи. Нацисты могут подумать, что это знак стыда – но мы можем высоко держать голову и знать, что это знак чести.

С тех пор мы все носили на одежде звезду Давида, на которой было написано слово «еврей». По прошествии нескольких недель нам стало намного больше известно о растущей опасности в Амстердаме.

Один из друзей Хайнца, Уолтер, был пойман нацистами без желтой звезды и арестован. Примерно в то же время я шла по улице днем и увидела, как нацистские солдаты поймали человека, похожего на папу, и яростно избили его, прежде чем бросить в заднюю часть грузовика и уехать. Это было ужасно.

Когда папа узнал о том, что нацисты собирают мужчин и мальчиков и отправляют их в «рабочие» лагеря в Германию, ему удалось положить Хайнца в больницу под ложным предлогом, но новости из голландской подпольной среды поступали мрачные. К тому времени просочились слухи, что тысячи депортируемых евреев были убиты в концентрационных лагерях. Хотя никто не мог заставить себя полностью поверить в этот ужас, папа понял, что мы в ловушке, и ему придется предпринять более решительные меры, чтобы попытаться спасти нас.

Первым делом он стал собирать продукты питания и прятать их, чтобы мы могли выжить во время чрезвычайной ситуации. К тому времени мы жили на пайках, и экономить еду было непросто – но постепенно нам удалось отложить достаточное количество.

Помню, как одним солнечным воскресным утром мы отправились в путь по городу с сумками и ранцами, наполненными консервированными томатами, рисом, оливковым маслом, какао и сгущенным молоком. У меня сильно билось сердце: я ужасно боялась, что солдат остановит нас и потребует показать, что находится в наших сумках. В какой-то момент я наклонилась, чтобы поправить чулок, и банки в моей сумке громко звякнули.

Наконец мы дошли до склада около канала Сингел, где папа арендовал небольшое помещение, и с огромным облегчением втиснули наши съестные припасы в большой ящик.

После четырех таких походов ящик заполнился до отказа, и папа посыпал его сверху камфорными шариками от моли и закрыл. В итоге мы так и не воспользовались этими запасами, но позже они помогли одной семье пережить войну.

Оказалось, что папина поспешность была оправданна. В

скором времени, 6 июля 1942 года, Хайнц получил письмо, в котором ему приказывалось явиться для депортации в немецкий «рабочий» лагерь.

Хайнц был сильно напуган. Сбывались его самые жуткие ночные кошмары – но он стойко принял удар.

«Я поеду, – сказал он маме. – Там будут мои друзья, даже Марго Франк получила такое письмо. Я уверен, что нацисты меня не тронут, если я буду хорошо работать».

К счастью, папа и слышать об этом не захотел. «Кажется, пришло время скрыться из виду», – произнес он.

Думаю, что в тот момент никто из нас не подозревал, что на самом деле значат эти слова. Мы были воодушевлены тем фактом, что в прошлом году американцы вступили в войну, а значит, думали мы, она скоро кончится. Когда папа сказал о необходимости «скрыться», я подумала, речь идет о паре недель, пока неожиданная опасность, нависшая над Хайнцем, не отступит.

Перед тем, как мы скрылись в убежище, мне пришлось преодолеть еще одно неприятное препятствие: удаление миндалин.

Я не ходила в школу из-за болезни, надеясь, что скоро поправлюсь, но мы не могли отправиться в укрытие, пока я была больна. Это подвергло бы нас и людей, которые нас прятали, большей опасности. Однако в больнице мне также нельзя было появляться: нацисты арестовывали пациентов еврейского происхождения. Единственным выходом было удалить миндалины где-то еще, и в итоге папа нашел доктора, согласившегося меня оперировать.

Мысль о том, что мне предстоит операция без необходимого медицинского персонала и оборудования, внушала страх, и у меня ужасно скрутило живот, когда доктор провел меня в свою маленькую операционную и грубо привязал мои руки и ноги к столу.

Он дал мне наркоз, и я перенеслась в некий потусторонний мир медикаментозных видений. Пока продолжалась операция, мне казалось, что я лежу привязанная к столу, а в операционной полыхает огонь, и ослепительное пламя сжигает все вокруг меня, даже воздух горит, в то время как я бьюсь и пытаюсь высвободиться от ремней, связывающих мое тело, и кричу, кричу в припадке дикого ужаса, но не могу вырваться.

9
Убежище

Трудно вообразить жизнь в убежище, ограниченную до маленького тихого пространства.

Люди часто спрашивают меня, как я смогла выдержать жизнь в запертой маленькой комнате?

Вспоминая, какой я была громогласной, любящей проводить время на свежем воздухе, я сама задаюсь этим вопросом. Я была деятелем, а не мыслителем, как Хайнц, но убежище не могло предоставить пространство, чтобы делать «колесо» на руках, и там нельзя было заниматься шумными домашними делами, например, повесить полки, что могло бы как-то отвлечь.

Я выдержала, потому что мне пришлось выдержать. Выбора не было – или выдержать, или умереть. Также я выдержала потому, что когда ты в укрытии, ты говоришь себе, что это не навсегда. Перспектива остаться здесь навсегда действительно казалась невыносимой, так что приходилось ждать завтрашнего дня, а потом следующей недели или даже следующего месяца. Ждешь еще один день и думаешь, что свобода вот-вот придет.

– Будь мужественной, Эви, – сказал папа, держа меня за плечи. – Все это временно. Скоро война закончится, ведь американцы теперь тоже сражаются против немцев.

Рано утром в воскресенье мы стояли в гостиной в Мерведеплейн, и у нас с мамой была небольшая упакованная сумка, приготовленная к дороге.

– Я все знаю, – сказала я, – но, папа, я не понимаю, почему мы не можем пойти вместе!

– Не расстраивайся, – ответил отец. Он пытался преуменьшить значение того, что происходило, насколько это возможно, и успокоить нас всех. Он решил, что нам будет безопаснее и легче разделиться по двое, но я очень расстроилась, когда узнала, что мне придется уйти в убежище с мамой, а папа уйдет в другое место укрытия с Хайнцем.

– Только подумайте, – сказал он, – мы с Хайнцем будем жить на другом конце города и постараемся встречаться с вами как можно чаще.

– Точно, – сказал Хайнц. – А я постараюсь писать и рассказывать вам обо всем, чем мы занимаемся. Бьюсь об заклад, я смогу гораздо больше писать и рисовать без шумной младшей сестры, которая постоянно болтает.

Он усмехнулся, и я тоже попыталась ответить ему улыбкой.

Затем мы все обнялись, мама взяла меня за руку и вывела из квартиры и быстро сбежала по ступенькам вниз, пока я не заплакала.

Все сохраняли мужество, но каждый из нас осознавал, что расставание означает многое. Мы погружались в полную неизвестность, надеясь, что снова будем вместе, но зная, что может случиться всякое.

В то время площадь была еще пуста, и когда мы переходили ее, в моей памяти проносились те игры с мячом, в которые мы играли, стеклянные шарики, которые я катала, а также споры, представления и праздники, которые происходили в этом месте. По дороге нам встретился местный знакомый молочник, произносивший обычно несколько приветливых слов и вежливо улыбавшийся. В то утро он отвернулся и притворился, что не заметил нас.

Когда жители Мерведеплейн проснулись, никто не знал о том, что мы исчезли. Я кинула взгляд на окна квартиры Анны Франк и подумала, что им тоже придется уйти. Тысячи других евреев внезапно исчезли в неизвестном направлении.

Мы с мамой несли по маленькой сумке, как будто собрались на обычную прогулку. В отличие от Отто Франка, мой отец не планировал, что нам придется скрываться, и у него не было контактов с Сопротивлением, но когда от нацистов пришли призывные документы для Хайнца, он отчаянно стал наводить справки и в итоге нашел знакомую христианку, Фриду, которая сказала, что ее сестра возьмет нас к себе и сделает фальшивые удостоверения личности.

Согласно нашим новым документам, маму звали Мефру Беп Акерман, а я была ее дочерью Джопи. Официально я стала маленькой девочкой-христианкой из Нидерландов, но чувствовала себя как бы обнаженной, идя по улицам без желтой Звезды Давида, пришитой когда-то к моему пальто.

Я ненавидела носить эту желтую звезду, однако самоуверенно прижимала к груди журнал, чтобы прикрыть зияющее пространство. Мы молча шли через район Риверенбуурт на восток Амстердама.

Наш первый новый «дом» представлял собой небольшую квартиру, принадлежавшую семье Деккер, у которой было два маленьких сына. Семья жила довольно бедно, и я крайне удивилась, обнаружив, что два кролика, живших на балконе, откармливались для рождественского обеденного стола. Вечером кроликов пускали в квартиру, чтобы мальчики с ними играли, а мы даже рвали на улице немного травы для них. Мы с мамой поселились в одной из комнат и должны были изображать из себя

родственников, приехавших из деревни.

Я никак не могла расслабиться и нервно верещала маме на ухо: «Мне так странно находиться здесь, я не могу поверить, что мы можем дойти до дома за полчаса. Интересно, где сейчас папочка и Хайнц?»

Вид у мамы был грустный, но она ничего не отвечала, а просто сочувственно хлопала меня по ноге. Мы с ней не были похожи на типичных евреек, поэтому часто выходили на улицу днем, хотя это было очень опасно, так как могли потребовать наши фальшивые документы на проверку.

Наша анонимность не продлилась долго: однажды мы вернулись домой и увидели, что миссис Деккер стоит на пороге с безумным видом. Один из ее сыновей пошел в школу и сболтнул: «А к нам приехали тетя и двоюродная сестра, только я не знаю, кто они, и сомневаюсь, что они на самом деле наши родственники».

Во время нашего отсутствия в квартиру с обыском нагрянуло гестапо.

«Мне жаль, но вам нельзя здесь больше оставаться, – сказала нам миссис Деккер. – Мы знаем одну женщину в другом районе, которая сможет принять вас. Можете поехать туда».

Неожиданно мы снова сорвались с места и на этот раз направились в южный район Старого города. Мои нервы были на пределе от осознания того, как близко подкралась опасность, и теперь казалось, что нам нужно бесконечно долго идти по городу. В конце концов мы остановились и постучали во входную дверь дома, в котором мы никогда не бывали раньше. Ухоженная голландская дама радостно встретила нас, как давно потерянных родственников: «Входите же! Как я рада снова вас видеть!»

Мисс Кломп быстро провела нас через порог дома и захлопнула дверь. Наше ложное приветствие, скорее всего, никого не обмануло, но мы должны были сымитировать, как будто давно друг друга знаем.

В Амстердаме, как и в других местах, сопротивление нацистам или сотрудничество с ними осуществлялось по-разному. В первые годы войны Сопротивление организовывалось небольшими группами людей, которые, возможно, даже не знали о существовании других объединений. Со временем прятать евреев становилось все опаснее, и Сопротивление становилось более организованным, но в первые дни появились такие люди, как семья Деккеров и мисс Кломп, которые просто ненавидели нацистов и были полны решимости противостоять им, скрывая евреев.

Были люди, которые помогали еврейским семьям прятаться

по доброте душевной или потому, что их церковные пасторы говорили им, что того требует их совесть, но были и люди, которые прятали евреев только за деньги. Также были люди, которые закрывали глаза на то, что вы еврей, и люди, которые могли потребовать от вас несколько голландских гульденов, угрожая доносом.

Когда во время массовых депортаций 1942 года работники детских садов вывозили еврейских детей-сирот из здания Голландского театра, они ждали, когда пройдет трамвай номер девять, а затем бежали, зажав детей под мышками, и запрыгивали внутрь на следующей остановке. Это был единственный способ ускользнуть из-под взора нацистских солдат, которые стояли на страже на другой стороне дороги, наблюдая за входной дверью, чтобы ни один еврей не сбежал.

Одна медсестра вспоминала, что когда она запрыгнула в трамвай с еврейским ребенком, все пассажиры начали смеяться, потому что, естественно, они видели их, но ничего не сказали. «Это было типично для Амстердама», – утверждала она.

По правде говоря, «типичным для Амстердама» такое поведение не было. Вы никогда не знали наверняка, кто стоял на вашей стороне, кто мог вас обмануть – а кто был одним из устрашающих «охотников за евреями». Эта неприметная группа рядовых граждан бродила по улицам, зарабатывая на жизнь тем, что сдавала евреев нацистам и почти наверняка обрекала их на гибель. В нацистском Амстердаме почти каждый человек был незнакомцем, и мы никогда не знали истинных мотивов людей, которые наблюдали за нами сквозь кружевные занавески или жили в соседнем доме.

– Вы должны быть очень осторожны, – предупредила нас мисс Кломп за чашкой чая. – И не пользуйтесь ни ванной, ни кухней, пока меня нет дома.

Когда мисс Кломп попросила маму помогать готовить еду, я бросила взгляд в мамину сторону. Это было ее самым нелюбимым занятием, и я ожидала увидеть проблеск нежелания на ее лице. Вместо этого я увидела благодарную готовность помочь: главное, что мы наконец нашли безопасное место для жизни.

Мы допили чай и поднялись на три лестничных пролета вверх, на чердак, где мисс Кломп отделила небольшую спальню для меня и гостиную с цветастым диваном для мамы.

Пока я оценивала окружающую обстановку, мама спросила: «Насколько здесь безопасно?»

Немцы часто совершают обыски, призналась мисс Кломп с пугающей правдивостью, «как крысоловы, пытаются истребить “скрывающихся евреев-вредителей”», но, подчеркнула она,

Сопротивление также имело твердое намерение защищать невинных людей. Возможно, она хотела, чтобы мы почувствовали себя увереннее, но когда я услышала обо всем этом, у меня заболел живот от страха.

Мисс Кломп официально не была членом Сопротивления (она просто хотела помочь и выступала против оккупации и новых правил), но в тот вечер она познакомила нас с неким господином Бруксма, коллегой-преподавателем из ее родной провинции Фрисландия. Он был умным, надежным и находчивым, и мы чувствовали себя в полной безопасности, отдавая наши жизни в его распоряжение, поскольку он, как мог, старался защитить нас.

Его первая задача, сказал он нам, заключается в сооружении тайника, куда мы могли бы спрятаться в случае нападения нацистов на дом. Лучшим способом представлялось отгородить пространство туалета на одном конце длинной ванной комнаты и установить скрытый люк, покрытый плиткой.

Вместе с надежным строителем господин Бруксма начал собирать материалы и ночью тайно проносить их по частям в дом. Они не успели закончить работу до конца третьей недели нашего пребывания. Это было поздно вечером, и мы все устали, но нужно было все-таки выложить плитку до конца.

– Ты совсем измучился, может, хватит на сегодня? – спросила его мисс Кломп.

Подумав, он ответил: «Нет, давай закончим работу. Тогда все будет готово».

В итоге, когда все было сделано, мы пожали руку нашего помощника с чувством глубокой благодарности. Мама опробовала тайник, легко исчезая за стеной, только что выложенной плиткой. Мы упали в кровать настолько уставшими, что уже не могли волноваться, и я провалилась в сон на несколько минут. Совсем ненадолго.

«Есть здесь евреи?»

Громкие, грубые голоса донеслись снизу. Я крепко спала в этот момент, но звуки подъехавших машин на улице и стук в парадную дверь вернули меня в сознание. Вдруг мама схватила меня, и я окончательно проснулась.

«Ева, быстро набрось покрывало на кровать».

Я заправила постель, и мы побежали в ванную, но наша срочная нужда спрятаться осложнилась еще одним фактором: у мисс Кломп имелся свой секрет – женатый любовник, который был еврейским врачом. Он тоже оказался в ванной – как раз собирался залезть в тайник перед нами. Пока нацисты колотили во входную дверь, этот джентльмен пытался вытолкнуть нас и закрыть кафельную дверь, чтобы спрятаться одному. Мама

умоляла его и говорила, что если нас поймают на этом самом месте, он, несомненно, будет обнаружен. Неохотно этот господин позволил нам забраться в тайник, и мы закрыли дверь как раз в тот момент, когда солдаты начали подниматься по лестнице.

Мое сердце билось так громко, что мне казалось, что солдаты слышат этот стук, когда они распахнули дверь в ванную: они топали, задыхаясь и выкрикивая друг другу какие-то указания – всего лишь в нескольких дюймах от того места, где, согнувшись, на крышке туалета сидели мама, я и любовник мисс Кломп. Затем топот стал не таким громким: нацисты продолжили обыск в остальной части дома, и, наконец, мы услышали, как они стали спускаться вниз по лестнице. Входная дверь захлопнулась, и я почувствовала, что мама облегченно плачет в темноте. Мы знали, что только два часа и готовность мистера Бруксма доделать тайник спасли нас.

Наше пребывание в укрытии сопровождалось двумя эмоциями: полнейшего ужаса и умопомрачительной скуки.

Только находясь в заключении или будучи нетрудоспособным, можно понять, что день – очень долгий отрезок времени, и он может длиться бесконечно. Мы с мамой обычно рано просыпались, одевались и завтракали. Мы слышали, как мисс Кломп уходила на работу и закрывала входную дверь, а затем дом погружался в тишину. Чтобы утро проходило быстрее, мама пыталась помочь мне делать уроки, но мой упрямый характер не изменился, и иногда она настолько расстраивалась, что давала мне звонкий подзатыльник. Я знала, что где-то в Амстердаме Хайнц пытается скрасить свое заточение жадным чтением, игрой в шахматы и проявлением своих художественных талантов.

Мистер Бруксма принес немного книг для меня, но я не могла сосредоточиться на них. Вместо этого я заполняла время разговорами с мамой о чем-то, что произошло: например, об обыске или о наших планах на будущее.

Трудно было день и ночь находиться взаперти с матерью, и ей было одинаково трудно проводить все время с капризной, раздражительной тринадцатилетней девушкой.

Количество еды было строго нормировано, и мы пользовались фальшивыми продовольственными карточками, поэтому вечером могли довольствоваться небольшим ужином, после которого я всегда оставалась голодной. Иногда мы немного общались с мисс Кломп, но обычно она занималась проверкой школьных пособий или развлекала своего возлюбленного. Это может показаться странным, но на тот момент мы не очень хорошо знали свою хозяйку. Мы были очень благодарны ей за

помощь, и нам действительно повезло, так как позже я узнала, что у многих евреев были плохие отношения с людьми, которые их скрывали.

Детей, отправленных на сельские фермы, иногда эксплуатировали, а женщин и девочек даже подвергали сексуальному насилию или заставляли спать с хозяином дома, чтобы остаться в укрытии. Мы ничего подобного не испытывали, но жить в чужом доме при таких обстоятельствах и знать, что ты находишься в их власти, все равно было тяжким бременем.

Каждый вечер мы собирались послушать радио, которое мистер Бруксма тайно пронес и спрятал в шкафу. В девять часов вечера мы ловили трансляцию Би-би-си на голландском языке из Лондона и узнавали о ходе войны. Именно из этих передач и от самого господина Бруксмы мы узнали, что почти все евреи в Амстердаме были пойманы и отправлены на Восток.

Нас радовали любые новости, свидетельствовавшие о том, что военные силы оборачиваются против нацистов, и я помню, как с восторгом схватила маму за руку, когда мы узнали, что Роммель был избит в Африке. Но были и ужасающие новости. Именно из этого радиоприемника мы впервые услышали о нацистском лагере смерти Аушвиц в Польше.

Помню, как мурашки пробежали у меня по телу, и мне стало плохо, когда я услышала, что нацисты отравляют евреев газом в этом лагере. Мы все сидели не в силах поверить, не поднимая глаз друг на друга – неужели это может быть правдой?

Мы вернулись в свои постели, и в темноте я дергала ногами, беспокойно крутясь под одеялом. Мне нужно было хоть как-то освободиться от всего накопившегося страха и напряжения.

Может быть, вы смогли бы себе представить такую монотонную жизнь, которая длится несколько дней или недель, но мы скрывались так почти два года. Единственными яркими моментами были редкие визиты к папе и Хайнцу.

Выходя из дома, мы подвергали себя огромному риску: нам нужно было пройти через город к станции, а затем сесть на поезд, следующий в небольшой городок за Амстердамом под названием Сустдейк, где папа и Хайнц скрывались в доме, принадлежавшем женщине по имени Герада Кэтти-Вальда. Мне приходилось призывать на помощь всю свою смелость, чтобы казаться спокойной и беззаботной, когда солдаты проходили мимо нас по тротуару или стояли рядом с нами в вагоне поезда, но напряженность путешествия быстро спадала, когда мы собирались все вместе.

Как я и подозревала, Хайнц больше меня подходил для одиночного заключения. Он все больше и больше рисовал, и я с

трудом могла поверить, что тщательно продуманные и впечатляющие картины, которые он мне показал, созданы его руками. На одной из них юноша, похожий на Хайнца, сидел за столом, склонив в отчаянии голову. На другой сквозь закрытое окно было видно, как парусник пересекает океан.

– Как ты научился так рисовать? – изумилась я. – Откуда ты вообще знаешь, как смешивать краски?

Хайнц просто усмехнулся и пожал плечами.

Даже папа занимался интеллектуальными занятиями, заполняя тонкие тетради, страницу за страницей, бизнес-идеями, которые он мог осуществить после войны, а также очерками и стихами.

Иногда наши визиты длились целый день, а иногда нам удавалось растянуть их и на ночь. Я знала, что вместе мы можем пройти через что угодно, и память о каждой встрече помогала мне после возвращения к мисс Кломп, а потом приходило чувство ожидания следующей поездки. Мне так понравилось ездить в Сустдейк, что я даже сфотографировалась под руку с миссис Кэтти-Вальда. Она казалась очень дружелюбной и приятной женщиной, и я радовалась, что Хайнц и папа нашли такого надежного защитника. Но, к сожалению, она оказалась совсем не тем человеком, кем представлялась нам.

10
Предательство

Я была схвачена нацистами в день моего пятнадцатилетия – 11 мая 1944 года. Мы жили уже в другой семье, которую знали раньше, в старом доме на улице Якоба Обрехта, недалеко от парка Вондела. Укрывать евреев становилось все более опасно, а нацисты предлагали большое финансовое вознаграждение тем, кто сдавал людей. После одной из наших поездок к папе и Хайнцу мы вернулись и обнаружили, что в доме у мисс Кломп гестапо снова провело обыск.

– Простите, – сказала она, – но прятать вас становится слишком опасно.

Нам снова пришлось переезжать в другое место. Я проснулась рано утром 11 мая, с нетерпением предвкушая, что принесет с собой мой день рождения. Мне понравились наши новые хозяева Рейтсма. Мистер Рейтсма был уроженцем Фрисландии, его жена – еврейской художницей. С ними жил их сын Флорис.

Когда я спустилась вниз, то обнаружила, что для меня приготовили специальный праздничный завтрак. На столе стояла ваза со свежими гиацинтами и тюльпанами, и Флорис вручил мне подарок, завернутый в бумагу, которую разрисовала сама миссис Рейтсма.

– Возьми, это сюрприз, – сказал он. – Открой его после завтрака.

Была половина восьмого, и мы как раз собирались позавтракать, когда раздался громкий стук в дверь. Все насторожились, так как было еще очень рано для посетителей. Мистер Рейтсма пошел открыть дверь – и на заднем фоне я услышала суровую речь немецких гестаповцев. Внезапно начался переполох. Солдаты застучали сапогами по лестнице, Флорис вскочил, вылез из окна и выбежал на крышу, дверь столовой распахнулась, и нацисты направили стволы своих винтовок прямо на наши изумленные, окаменевшие лица. Я так и не открыла свой подарок.

– Это они, – закричали они. – Грязные евреи!

Они схватили нас и стали сталкивать вниз, на улицу. Пока мы шли, моя мать начала отчаянно уверять голландского нациста, который крепко держал ее за руку, что я на самом деле не еврейка, а всего лишь результат ее романа с дантистом из Вены. Он не поверил ни единому слову, и вскоре нас доставили в большое кирпичное здание, которое было средней школой до

того, как гестапо изъяло ее под свой штаб.

Нас запихнули в изолятор вместе с другими испуганными людьми, которые не смотрели нам в глаза.

Мы просидели много часов на жестких деревянных стульях, расставленных вдоль стен, и я заново прокручивала в своем сознании события утра. Почему это произошло? Кто предал нас? Что теперь будет? До меня доносились приглушенные крики и плач из других комнат. Один за другим назывались имена людей, и их забирали. Все молчали, и никто никого не утешал.

В конце концов вызвали маму. Мое сердце замерло, но я почувствовала, как мама сжала мою руку, передавая всю свою силу и любовь.

Через полчаса пришли за мной. Милиционер привел меня в плохо обставленную комнату, где на стене висел портрет Гитлера. В комнате за столом сидели два офицера гестапо, вежливо и пристально наблюдая за мной. Они не вели себя грубо и не хамили, говорили спокойно, на литературном немецком языке. «Ответь на все наши вопросы, и ты увидишь свою мать», – сказал один. Потом заговорил другой, и я чуть не задохнулась от его слов. – А еще ты сможешь увидеть своего отца и брата».

Я не понимала, что Хайнца и папу тоже поймали, и меня пробрала сильная дрожь. Внезапно гестаповцы стали задавать мне вопросы. Где мы жили раньше и кто нам помогал? Кто давал нам продовольственные карточки?

Я мямлила что-то в ответ, стараясь скрыть правду, и мне даже удалось не выдать мисс Кломп.

Они отпустили меня, и я вернулась в комнату ожидания, где сидела рядом с мамой. Затем я услышала голоса, доносившиеся из комнаты для допросов, за которыми последовали крики. Это были папа и Хайнц. Вскоре крики прекратились, и мы все ждали и ждали. Вдруг вошел гестаповец и повел меня обратно. На этот раз старший офицер сказал мне: «Мы будем пытать твоего брата до смерти, если ты не захочешь с нами сотрудничать».

Я стояла как вкопанная, погружаясь в страх и отчаяние.

– Хочешь, я покажу тебе, что мы с ним сделаем? – спросил он.

Тут он взял дубинку и начал сильно бить меня по спине и плечам. Сначала я старалась терпеть молча, но он бил меня настолько безжалостно, что я начала кричать – из меня стали вылетать громкие крики, которые я не могла контролировать.

В конце концов, они подобрали меня и бросили в комнату к другим заключенным, чьи лица были также в кровоподтеках и ушибах. Я просидела там весь день, весь свой день рождения, без еды и воды, под звуки пыток, доносившихся из соседней комнаты для допросов. Полицейский снова пришел за мной и повел меня

по коридору в другую комнату. На этот раз дверь открылась, и там стояли мама с папой, Хайнц и семья Рейтсма. Я заплакала и бросилась в их объятия.

Папа объяснил нам, что произошло; многое из этого я знала, но последние события меня потрясли. В то время как мы нашли новое пристанище в доме семьи Рейтсмасов, папа с Хайнцем были вынуждены переехать, оказавшись в еще более трудных обстоятельствах. Поначалу отношения с Кэтти-Вальда были сердечными, но со временем она становилась все более требовательной. Отец уже выплатил ей значительную сумму денег, но она сказала, что хочет большего. Вскоре она прекратила дружелюбное обращение и стала вести себя вызывающе и оскорбительно, выдавая им все меньше и меньше еды. Ситуация накалилась в тот момент, когда мы приехали к папе с Хайнцем на выходные, и Кэтти-Вальда настояла, чтобы моя мать отдала ей свою шубу. «Вы все равно мало бываете на улице, – сказала она маме, – так что вам шуба не понадобится. А я могу воспользоваться ею, чтобы купить что-нибудь для Эрика и Хайнца».

Миссис Кэтти-Вальда просто шантажировала папу: если он не сможет удовлетворить ее финансовые требования, она их сдаст. Он умолял маму помочь ему найти другое место для укрытия, поэтому она пошла к подруге-христианке и рассказала ей о нашем затруднительном положении. Сама подруга не могла оказать помощь, но она знала семью, которая, по слухам, сотрудничала с Сопротивлением, и мы попросили их поискать новое укрытие. Они согласились, и вскоре мы получили радостное известие о том, что некая семья в Амстердаме сможет приютить папу с Хайнцем.

Они очень боялись съезжать от Кэтти-Вальда, но и волновались по поводу того, что она их сдаст, если узнает об их плане, который лишит ее значительной части дохода. Однажды рано утром они выбрались из ее дома и сели на поезд до Амстердама. И у папы, и у Хайнца была вполне типичная еврейская внешность, и Хайнц перекрасился в блондина, что ему не нравилось. Оба очень боялись, что их остановят и арестуют, и поэтому испытали облегчение, когда голландская медсестра из Сопротивления встретила их на станции и сказала им, что проводит их до нового жилья. Они благополучно прошли через весь город, и их встретила дружелюбная семья. Им даже приготовили чудесный обед, что резко контрастировало со скудными порциями в доме у Кэтти-Вальда.

Через несколько дней мы с мамой приехали к ним. Никто из нас не подозревал, что милая голландская медсестра и

гостеприимная семья были нацистскими агентами, ожидавшими, пока папа и Хайнц комфортно устроятся, прежде чем сдать их. Гестаповцы увидели нас в тот день и проследили наш путь к дому Рейтсма. Они выждали день, а затем арестовали нас всех одновременно.

Теперь мы находились в штаб-квартире гестапо и могли попасть только в тюрьму – или того хуже.

Мои родители пытались сделать все, что могли, чтобы помочь нам и помочь Рейтсма. Наши бумаги были помечены страшными буквами «S», что означало «Strafe» – то есть «наказание» по-немецки. Мама заключила сделку с гестапо, что она скажет им, где спрятаны все ее драгоценности, при условии, что они уберут пометку «S» из наших документов и отпустят мистера и миссис Рейтсма. Офицер гестапо согласился, и они пошли обратно в дом, где нашли и открыли коробочку маминой пудры: там были спрятаны бриллиантовые кольца и часы. Примечательно то, что он сдержал свое слово, освободив Рейтсма и позволив им спокойно дожить до конца войны. Они пережили зимний голод 1944 года за счет тех продуктов, которые мы оставили на складе, и сознание того, что эта хорошая семья была вознаграждена, немного утешает.

В то время я испытывала только чувство тревоги оттого, что нам не разрешили выйти на свободу. «Почему они не могут освободить всех нас?» – захлебываясь от рыданий, спрашивала я папу, когда мы возвращались в следственный изолятор штаб-квартиры гестапо. «Потому что они считают, что мы враги», – тихо ответил папа.

Вскоре нас загнали в черный тюремный фургон и повезли в тюрьму. Голландские тюремщики вытащили нас и отделили мужчин от женщин. Я повернулась и увидела папу: он поднял голову и проговорил одними губами: «Выше нос!»

Нас с мамой привели в женскую часть тюрьмы – большую общую комнату примерно с сорока другими женщинами, плотно заполнявшими двухъярусные кровати, и с грязным туалетом в углу. В ту ночь я забралась на койку с мамой, и мы беспокойно лежали, засыпая и просыпаясь, когда приходили новые заключенные, плакали дети, а у одной женщины случались приступы астмы. Я не могла осознать, как все это случилось со мной. Я была маленькой девочкой, всего пятнадцати лет, и меня уже преследовали из страны в страну нацисты, заставляли скрываться в разных домах, а теперь я оказалась в тюрьме.

Чувства гнева и горечи вихрем кружились в моем сознании, но главным ощущением было опустошение. Утром нам выдали крошечный кусок хлеба и немного воды, и я жадно проглотила

все это, ведь это была первая еда, которую мы увидели со времени праздничного завтрака в день моего рождения. Одна женщина, пытавшаяся успокоить других заключенных, подошла и села рядом со мной на койке, пока я ела. Ее звали Нина Чопп, она родилась в Амстердаме, в русской семье. Она рассказала, что готовилась поступать в университет, когда в страну вторглись нацисты, но ей удалось скрыться с младшей сестрой, братом, его женой и их сыном Рушей. Ее мать нацисты поймали сразу же.

– По крайней мере, мы в голландской тюрьме, – утешала она меня: голландцы были известны своей гуманностью.

В конце второго дня пребывания нам сказали, что мы будем переведены в другое место – транзитный лагерь в далекой голландской глубинке, местечке под названием Вестерборк.

– Там будет лучше, – сказала Нина, отмечая тесные и ужасные условия тюрьмы. – И пока мы будем в Голландии, безопасность гарантирована.

Солдаты запихнули нас в обычное купе поезда, похожее на то, в котором мы когда-то ездили в качестве пассажиров, и стояли над нами со своими ружьями, пока мы проезжали по голландской сельской местности, где в самом разгаре было прекрасное лето. Прошло много времени с тех пор, как я видела поля и цветы, овец и коров, и как я завидовала фермерам, которые попадались нашему взору в пути. Они имели возможность наслаждаться свободой, сажать свои сады, кататься по проселочным дорожкам и обрабатывать посевы. Я цеплялась за каждую деталь в пути, пока мы не прибыли к пункту назначения.

Вестерборк был первоначально построен голландцами как временный лагерь для еврейских беженцев, прибывших сюда в 1930-х годах. После того как нацисты оккупировали страну, он стал лагерем для евреев, а затем депортационным центром для отправляемых в концентрационные лагеря и лагеря смерти.

Мы прибыли на закате, и я обвела глазами плоское пространство лагеря.

«Не так уж плохо, – сказал папа, пытаясь поддерживать наш дух. – Мы все еще в Голландии и, по крайней мере, можем быть вместе. Возможно, тут будут знакомые, например, из лицея или девочки из Мерведеплейн – Дженни, Сьюзен или Анна».

Деревянные казармы и жилищные условия были примитивными, и люди выглядели напряженными и обеспокоенными, но не потерявшими надежду. Грязная главная улица, прозванная «бульваром страданий», проходила посередине лагеря, где большинство заключенных встречались и общались, обменивались новостями и сплетнями. В качестве вновь прибывших нас привели к стойке регистрации и попросили

заполнить ряд форм и карточек. Администраторами и надзирателями были сами еврейские заключенные, находившиеся под надзором нацистских солдат. Центральное бюро по распределению должно было распорядиться по поводу наших продовольственных карточек, но гестаповцы уже унесли их. Затем нас отвели к распределительному столу для получения более подробной информации, после этого – в отдел размещения и, наконец, разместили в карантинных бараках.

Мы с мамой оказались в одном из женских бараков, где были двухъярусные кровати и сносное туалетное помещение. Хотя мы были отделены от Хайнца и папы, вскоре мы нашли друг друга, и нам разрешили поговорить на свежем воздухе. Хайнц присел в тенёк, и мы немного поболтали. В тот вечер мы все ели вместе в большой общей столовой, и нам подали традиционное голландское блюдо «стамппот» – картофельное пюре с морковью, политое соусом. За ужином другие заключенные рассказали нам о жизни в Вестерборке.

Как и во всех лагерях, в Вестерборке быстро развилась уникальная, своеобразная культура. Во время расцвета его функционирования там имелись большая больница более чем на 1000 коек, специализированные консультанты и амбулаторное отделение, а также лагерная столовая и склад, где люди могли какое-то время покупать вещи, недоступные в других местах Нидерландов, включая рыбу, огурцы, пудинговые смеси и букеты цветов. Были также большие мастерские и отдел пошива одежды со специальной машиной, которая заштопывала стрелки на женских чулках (чтобы все починить до прибытия в Аушвиц). До нашего приезда в лагере было знаменитое кабаре-шоу из заключенных, в котором участвовали два известных певца – Джонни и Джонс.

Самым страшным моментом недели был день, когда поезд уезжал, унося тысячи несчастных евреев на Восток, к своей смерти. Когда приближались поезда, нарастало напряжение: кто в списке? Пустой поезд внезапно приезжал ночью, и заключенные, просыпаясь утром, видели длинную линию вагонов для скота, ожидавших их на железнодорожных путях.

Как писал голландский историк Жак Прессер в своем исследовании об уничтожении голландских евреев, подобные дни наполнялись тоской и отчаянием, но для тех, кто не был в списке и выигрывал, возможно, дополнительную неделю отсрочки, также наступало резкое облегчение. Бывшие заключенные писали о том диссонансе, который возникал, когда евреев запихивали в вагоны поезда, а в это время в лагерном кабаре проходило оживленное представление, и звуки музыки и танцев наполняли пространство

вокруг. Все отчаянно хотели остаться в Вестерборке, зная, что единственным вариантом для отправления был поезд, который доставил бы их в место, которое Прессер описал как «неизвестную страну, откуда никто не возвращался».

С 1942 года Вестерборком управляли комендант Альберт Конрад Геммекер и его любовница и секретарь Элизабет Хассель. Она наняла одного из заключенных в качестве личного портного, и ее своенравная жестокость по отношению к любой несчастной еврейской женщине, попавшейся на глаза ее любовнику, была особенно опасной.

Геммекер был типичным нацистом; бесчувственная жестокость сочеталась в нем с внезапными порывами «цивилизованной» гуманности, и чередовались они по прихоти. Одна женщина писала, что он никогда никого не называл «евреем», только «лагерным заключенным», в то время как другой бывший узник вспоминал, что были коменданты, которые пинками ног заталкивали людей в поезда, но Геммекер «провожал их с улыбкой». Однажды он отменил освобождение от перевозки больной девочки и приказал ей сесть в поезд, произнеся: «Она все равно умрет».

Как и другие коменданты лагерей, он относился к людям, которым не повезло и они попали под его власть, как к своим личным игрушкам, – и в конце концов более 100 000 голландских евреев и цыган были отправлены в лагеря смерти под его «деликатным» надзором.

На пике расцвета Вестерборка, с июля 1942 года до осени 1943 года, поезда покидали его территорию каждые четыре дня, перевозя в среднем по 1000 человек в тесных темных вагонах для скота. Весной и в начале лета 1943 года некоторые крупные поезда перевозили до 3000 человек одновременно в лагерь смерти в Собиборе.

(Нацистские лидеры в Собиборе, в Восточной Польше, решились на строительство специальной станции с привлекательно украшенным поддельным залом ожидания, чтобы заставить людей поверить в то, что они прибывают в обычный город.)

Было много способов попытаться убрать свое имя из транспортного списка – некоторые из них зависели от того, какую работу человек мог выполнять, но главным средством были личные связи, которые могли обеспечить выживание. Папа уже узнал некоторых евреев, с которыми он познакомился еще до войны, включая человека по имени Джордж Хирш. Он работал в Центральном административном управлении. Папа сказал нам: «Если получится, я налажу контакт со знакомыми людьми,

которые находятся здесь. Попытаюсь найти подходящую работу и как-нибудь обезопасить нас».

Если бы предоставилось больше времени, может, его план удался, но удача была не на нашей стороне. Всего лишь на второй день пребывания в Вестерборке мы получили страшную новость: наши имена оказались в списке, подготовленном к следующему отъезду. К лету 1944 года людей стали вывозить намного реже (почти все голландские евреи уже были арестованы, депортированы и убиты). К несчастью, наш приезд совпал с запланированной отправкой цыган, и в поезде были свободные места.

Рано утром в пятницу пришла надзирательница и разбудила нас. Она зачитала список людей для депортации на тот день.

«Фрици Герингер, Ева Герингер…»

Я вытаращила на нее глаза. Я была настолько потрясена, что едва могла встать, и видела, как у мамы задрожали руки. В казарме ощущалось ужасное напряжение, нарушаемое лишь вздохами облегчения тех, кто не услышал своих имен, – но мы облегчения не испытали.

Мама глубоко вздохнула и попыталась взять себя в руки. «Эви, надо забрать наши вещи. Не забудь взять стельки для обуви и нижнее белье». Она пыталась говорить обычным тоном, но страх в ее голосе явственно чувствовался, и она не смотрела мне в глаза. Другие женщины из барака дали нам с собой в дорогу немного еды, одеяла и обувь, а затем мы вышли на улицу, где увидели длинную вереницу мужчин, женщин, стариков и детей, висевших на юбках своих матерей. Толкая друг друга, все они направлялись к железнодорожным подъездам. Внезапно папа и Хайнц появились рядом с нами, и мы старались держаться вместе, чтобы нас не разлучили в поезде.

«Положись на меня, Эви, – произнес папа. – Все будет хорошо».

«Куда нас повезут? – спросила я дрожащим тонким голосом, как будто снова стала маленьким ребенком.

«Я не знаю, – ответил отец, – может быть, в трудовой лагерь, в Германию. У нацистов сейчас трудности в ходе войны, и им нужны подходящие люди для работы на заводах».

Пока мы волочили ноги вместе с толпой других людей, папа давал нам указания, как выжить в концентрационном лагере. Он сказал о том, что нужно стараться как можно больше отдыхать и всегда мыть руки, чтобы не заразиться чем-нибудь. Услышав это, мы с Хайнцем слегка ухмыльнулись.

«Папа так говорит, как будто мы будем жить в лагере отдельно друг от друга, – шептала я брату. – Я не вынесу этого!»

Казалось, что Хайнц сейчас заплачет. «Думаю, это возможно, – ответил он, – так случалось с другими семьями».

Когда мы приблизились к поезду, я увидела, что в первых вагонах очень много цыган. Поезд, в который нас загнали, отправился 19 мая 1944 года и увез 699 человек в восемнадцати вагонах. 41 человек из 453 евреев были детьми, из 246 цыган дети составляли половину.

Нас затолкнули в один из вагонов, уже набитый людьми, и мы ехали, зажатые в углу; папа держал меня, а мама прижала к себе Хайнца. Пока вслед за нами в вагон вталкивали чемоданы, люди из наших бараков, стоявшие на железнодорожных путях, выкрикивали слова поддержки.

Мы простояли так больше часа. Позже я узнала, что в этом вагоне было более 100 человек, но в то время я только чувствовала, что мы сдавливаем друг друга, не имея возможности ни сесть, ни пошевелиться. Я посмотрела наверх и увидела два крошечных зарешеченных окна возле потолка и два железных ведра в углу. Наконец, на платформе поднялась суматоха и охранники начали хлопать дверьми. Нашу дверь закрыли, и, когда мы погрузились во тьму, я услышала скрип засова. Долго и медленно дергаясь, поезд начал движение, и казалось, что мы отправлялись в ад.

11
Аушвиц-Биркенау

Поезд медленно вез нас по Европе в течение трех суток. Мы были прижаты друг к другу в темноте, как обреченные животные, с одним маленьким зловонным ведром для туалета и другим для воды. Один раз в день поезд дергался, останавливаясь, и охранники с криком открывали дверь, ослепляя нас дневным светом, и бросали куски хлеба, прежде чем мы снова погружались в дезориентирующий сумеречный мир. Люди плакали, молились и ослабевали от чувства безысходности и сильной летней жары. С одной беременной женщиной случилась настоящая истерика. Папа старался сохранять спокойствие, но через несколько часов Хайнц произнес: «Я не могу дышать!» Жара душила его, и до моего слуха доносилось хриплое дыхание и астматический кашель.

– Не паникуй, – сказал ему папа. – Давай протолкнем тебя вперед, немного подышишь свежим воздухом.

Там была крошечная, высокая щель сбоку вагона, и папе удалось протолкнуть Хайнца сквозь толпу людей, чтобы он постоял там немного и попытаться успокоиться. Мама молча смотрела на происходящее в глубоком шоке. Иногда поезд подолгу стоял на месте: вереница вагонов для скота, набитых сотнями потных, кипевших от жары и испытывавших тошноту людей, стояла на территории самого, как предполагалось, цивилизованного континента на Земле. Но деваться было некуда; в конце концов двигатель включался и поезд снова отправлялся, приближая нас, с медленной решимостью, к конечному пункту назначения.

– Как думаешь, мы еще в Германии? – спрашивал Хайнц, пока мы медленно продвигались все дальше и дальше. Мы ехали уже так долго, что могли и пересечь всю страну. Через мгновение папа коротко ответил:

– Я не знаю, Хайнц.

Чуть позже Хайнц сказал мне:

– Эви, помнишь те картины, которые я нарисовал в доме Кэтти-Вальда?

Я, конечно, помнила. Он продолжал.

– Они под половицами, рядом с мансардным окном. Если я не вернусь, запомни, где я их спрятал.

– Не говори так!

– Я просто говорю тебе, на всякий случай. Надеюсь, что мы

сможем пойти и забрать их вместе.

Когда мы приближались к месту назначения, поезд стал останавливаться чаще, и охранники СС открывали двери и начинали кричать, чтобы мы сдали все драгоценности и часы.

Когда двери открылись в последний раз, мы увидели, что поезд привез нас в место, которого мы больше всего боялись – плоские, болотистые земли юго-западной Польши. Мы прибыли в Аушвиц, лагерь смерти размером с маленький город, с тысячами работников, усердно трудившихся над усовершенствованием технологии массовых убийств и истреблением еврейской нации.

В течение моей жизни я наблюдала удивительные технические достижения. Когда я родилась, было необычно иметь автомобиль, но ко времени моего сорокалетия первый человек ступил на Луну. Мы излечили многие болезни, создали ядерное оружие, открыли структуру ДНК, освоили просторы Интернета и разработали генетически модифицированные продукты питания и лекарства. На Западе, по крайней мере, большинство из нас стали богаче, чем могло представить себе поколение моих бабушек и дедушек. Тем не менее с точки зрения гуманности кажется, что тысячи лет опыта привели к незначительному прогрессу. Анна Франк писала в конце своего дневника, незадолго до того, как ее арестовали нацисты, что она все еще верит в добрые людские сердца, но мне интересно, что бы она думала, если бы пережила концентрационные лагеря в Освенциме и Берген-Бельзене. Мой опыт показал, что люди обладают уникальной склонностью к жестокости, зверству и абсолютному безразличию к страданиям себе подобных. Легко сказать, что добро и зло сосуществуют в каждом из нас, но я непосредственно наблюдала этот прискорбный факт в реальной жизни, и это побудило меня к бесконечным размышлениям о сущности человека.

Как и все по-настоящему немецкое, нацистская система концентрационных лагерей была организована с высочайшей и строгой эффективностью. Все лагеря находились под центральным контролем СС, но разные лагеря имели разные обозначения. Некоторые из них, как Вестерборк, были транзитными лагерями, предназначенными для отправки евреев на Восток, в то время как другие, такие как Дахау и Бухенвальд, официально назывались «рабочими лагерями», где евреи подвергались каторжным работам. Десятки тысяч людей погибли в этих лагерях, но их не называли «лагерями смерти».

После того как на Ванзейской конференции в январе 1942 года нацисты определили пути «окончательного решения еврейского вопроса», в Польше: в Треблинке, Хелмно, Собиборе и Белжеце – были построены четыре лагеря с единственной целью –

уничтожить евреев. Практически всех людей, которых привозили туда, убивали по прибытии. Эти «лагеря истребления» на самом деле были очень маленькими по размеру: не было необходимости строить казармы или административные здания, поскольку тысячи обреченных проводились через лес и немедленно отравлялись газом.

Всего нацисты управляли более чем 300 концентрационными лагерями по всей Европе. Самым крупным из них являлся Аушвиц-Биркенау – обширный комплекс, специализировавшийся на убийствах и принудительном труде и состоявший из тридцати восьми отдельных лагерей. Аушвиц-Биркенау включал в себя промышленный завод, который производил газ Циклон Б, используемый для уничтожения миллионов людей. Завод управлялся концерном И.Г. Фарбен, так же, как угольная шахта и ферма.

Нацисты очень гордились Аушвицем, он был жемчужиной в короне концентрационных лагерей. Нацистские лидеры, включая Гиммлера, лично следили за расширением и развитием лагеря. После того как в 1941 году там провели первый эксперимент по отравлению советских военнопленных газом, для заключенных недавно построенного лагеря Биркенау специально разработали газовые камеры и крематорий. Эти машины смерти попыхивали день и ночь до конца 1944 года, покрывая пространство вокруг серым жирным пеплом. Иногда они ломались из-за колоссального количества убитых. Когда мы сошли с поезда в тот день в Освенциме, испуганные, ошеломленные и сбитые с толку, нас загнали прямо в машинное отделение Холокоста.

– Вот оно, – застонал кто-то, – нас всех убьют!

– Не говорите так! – накинулся на них папа. Затем он схватил нас с Хайнцем и сказал:

– Мы все сильные и здоровые, и немцам нужны люди для работы. Мы будем много работать, несколько месяцев, и тогда война закончится.

Когда мы вылезали из вагона, мама дала мне длинное пальто и войлочную шляпу.

– Я не хочу, – ответила я. Было ужасно жарко, и мне не терпелось выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

– Надень, – строго сказала она. – Неизвестно, что нам разрешат взять с собой, они могут запретить нам взять чемоданы.

На платформе я слышала, как охранники СС выкрикивали суровые немецкие команды, а собаки лаяли и рвались с поводков. Смущенная всем этим, я накинула пальто и шляпу, чувствуя себя нелепо.

– Ты смотришься, как очень умная молодая леди, –

подбодрил меня папа.

– Кто очень устал или сильно болен, садитесь в грузовик – мы довезем вас до лагеря, – крикнул охранник СС. Многие люди были измучены дорогой и с огромным облегчением доползли до грузовиков и сели в них.

– Увидимся там, наверху! – кричали они родственникам, оставшимся на платформе. Грузовики тронулись с места во главе с автомобилем, украшенным фальшивым символом Красного Креста для придания иллюзии законности. Никто не понимал, что это уловка: нацисты просто отсеивали тех, кто слишком слаб и не годен к работе, и везли их прямо в газовую камеру.

– Спуститься и положить свои вещи рядом с поездом! Построиться в пять рядов! – кричал на нас охранник.

Сцены на платформе были дико эмоциональными, и меня просто ошеломил поток воя, плача и отчаянных прощаний. Сотни людей: старики, матери с младенцами на руках и маленькие дети – все находились в состоянии полного смятения и своего рода первобытного отчаяния. Но ловкими, отточенными движениями гвардейцы СС начали перемещать нас, как одежду на вешалке, пока не отсортировали мужчин от женщин, а затем построили всех в пять рядов.

Я повернулась и увидела белое от страха лицо Хайнца. Я обняла и прижала его к себе. Мама приблизилась к Хайнцу, провела пальцами по его волосам и поцеловала. Потом мои родители обняли друг друга, и мы расстались.

– Бог защитит тебя, Ева, – произнес папа, крепко обнимая меня, прежде чем его отдернули.

Мы двигались вверх по трапу медленно и вдруг увидели впереди охранников СС, разделявших людей на две колонны – левую и правую.

Впереди нас шла женщина, и вдруг она начала кричать, когда поняла, что будет вынуждена отдать своего ребенка в другую колонну. Пожилая женщина протянула руки, чтобы взять его, но молодая мать не переставала плакать, пока моя мама не сказала ей, что старуха узнает ее и отдаст ребенка, когда настанет время. Я не знаю, верил ли кто-нибудь из нас в это, но молодая женщина передала своего ребенка старушке и подавленно замолчала.

Вскоре подошла и моя очередь. Сортировали новоприбывших людей несколько офицеров СС, один из них – главный. Он был строен, аккуратно одет, вел себя хладнокровно. На мгновение он посмотрел на меня сверху вниз – и указал налево безразличным жестом. Маму также определили в левую колонну. Она шла сзади, держа меня за руку.

Тогда я не знала, что таким образом мы прошли первый

отбор у известного лагерного врача Йозефа Менгеле и что пальто и фетровая шляпа спасли мне жизнь. Не было никакой необходимости в том, чтобы Менгеле принимал участие в сортировке прибывших людей, но ему доставляло особенное удовольствие тесно соприкасаться с механикой пыток и убийств. Позже я столкнусь с ним снова, и «Доктор смерть», как его называли, сыграет решающую роль в нескольких моментах нашей жизни. В то время я понимала только то, что была самой младшей из всех в группе. И только благодаря маминому решению одеть меня я стала выглядеть немного старше. Все дети в возрасте до пятнадцати лет автоматически отправлялись направо – в колонну, которую потом вели прямо к газовой камере. И только семеро детей из 168, в том числе я, спаслись.

Одной из главных причин, по которой Освенцим выбрали в качестве места для большого лагеря, было хорошее железнодорожное сообщение и многочисленные пути и дороги, которые вели в разные направления. Дорога от станции раздваивалась: в одну сторону – к мужскому лагерю Аушвиц, а в другую – к женскому лагерю Биркенау.

Стоял прекрасный теплый весенний день, но земля вокруг нас была сухой и бесплодной: ни дерева, ни цветочка. Мы с мамой присоединились к женской колонне, чтобы проделать долгий путь к лагерю. После того как мы обнялись и сказали друг другу утешающие слова, папа и Хайнц исчезли в толпе мужчин. Вместе с сотнями других изнемогавших от жары и жажды женщин мы отправились по пыльной дороге, зная, что в окрестных фермах и домах обычные люди вели свою привычную жизнь. Изначально Аушвиц был польским городом под названием Освенцим, где проживали 12 000 человек, в том числе 5000 евреев. После того как сюда вторглись немцы, большинство из этих людей были выселены из своих домов. Нацисты переименовали город и построили на его территории огромный лагерь.

К 1944 году местные жители уже привыкли видеть длинные очереди прибывавших заключенных или истощенных мужчин и женщин в полосатой одежде, которые выходили на работу. В Польше существовала прочная традиция антисемитизма, и многие местные жители активно участвовали в строительстве лагеря, работая в крематориях, возводя колючую проволоку или копая канавы. Многие вернулись после войны, чтобы пожать ужасные плоды того «золотого урожая»: выкапывали останки жертв и просеивали пепел и кости, чтобы найти золотые зубы или ценные материалы, которые были упущены из виду нацистами.

Когда мы подошли к воротам Биркенау, мои ноги болели, а горло стало сухим, как наждачная бумага. Я жаждала хотя бы

крошечного глотка воды. Передо мной возвышался вход, который теперь знаком большинству людей, видевших фотографии Аушвица-Биркенау: длинное кирпичное здание со сторожевой башней и аркой, через которую мог проходить поезд. Мы прибыли на главный железнодорожный вокзал Освенцима, но эсэсовцы недавно построили железнодорожную ветку, которая вела прямо в центр лагеря и почти до крематория. Мы об этом не знали, но это составляло часть безумного плана, целью которого было справиться с ожидаемым наплывом сотен тысяч венгерских евреев. Практически всех их убили сразу после прибытия.

Я огляделась вокруг и увидела высокий электрический забор из колючей проволоки, простиравшийся вдалеке, сторожевые посты, укомплектованные солдатами СС с лаявшими собаками, и длинные ряды темных и ветхих бараков. В воздухе висел незнакомый едкий запах.

Вскоре мы узнали, что это за запах. Как только мы вошли в душный приемный барак, там появилась группа из восьми женщин *Капо*, чтобы понаблюдать за нашим вступлением в лагерную жизнь. *Капо* – это заключенные, которых эсэсовцы использовали для управления внутри лагерей. В основном это были польские христиане, которые с начала войны находились в заключении в Аушвице. В некоторых еще промелькивали искры человечности, но многие из них были уголовниками, в чьих интересах было держаться за свои строго охраняемые привилегии, проявляя при этом жестокость и варварство.

– Добро пожаловать в Биркенау, – усмехнулись они, проталкиваясь сквозь нас и раздавая тумаки.

– Ваше везение только что закончилось. Чувствуете запах крематория? Вот где ваши дорогие родственники! Их там отравили газом, а они думали, что идут в душевые. Они сейчас горят. Вы никогда их больше не увидите!

Я попыталась уйти в себя, не слушая и не веря. Я смутно слышала, что мама просит воды и покачивается почти в обморочном состоянии, а добрая Капо шепотом сказала ей, чтобы мы не пили воду, иначе можем заразиться тифом и дизентерией.

В конце концов, нам сказали раздеться догола и оставить все наши вещи. В ту пору юного возраста мне было очень неловко раздеваться перед сотнями людей, но я увидела, что мама и Нина, моя знакомая из амстердамской тюрьмы, в самом деле снимают одежду.

– Не забудь свои стельки, – прошептала мама. Она заставляла меня носить их в ботинках, чтобы исправлять плоскостопие.

Две Капо в дальнем конце комнаты грубо состригли все наши волосы.

– Раздвинь ноги, – приказала одна из них, резко проводя бритвой по моей коже. Затем она взяла в руки тупые ножницы и начала срезать волосы с моей головы.

– Оставьте немного, – попросила ее мама. – Она еще очень молода.

Удивительно, но Капо откликнулась на просьбу, и у меня осталась короткая светлая челка на лысой голове.

Все еще голых, нас повели к другому столу, где расспросили о наших профессиях. Все, казалось, выдумывали себе полезные умения, утверждая, что они повара или сапожники. Когда пришла моя очередь, я сказала, что я секретарь. Время от времени мужчины-охранники СС ходили рядом, смеялись над нашей наготой и склонялись над некоторыми женщинами. Я подпрыгнула от ужаса, когда один ущипнул меня за ягодицу. Мама обняла меня за плечи, когда Капо взяла иглу и бутылку с чернилами, чтобы сделать татуировку с лагерным номером на левой руке.

– Не делайте слишком больно, она еще ребенок, – попросила мама, и Капо нанесла наколку с моим номером слабее, чем другим.

Затем вошел охранник СС и начал кричать на Капо: кто-то ошибся в регистрационных номерах. Это были административные проблемы, которые вызывали бесконечные задержки и потрясения в жизни лагеря, и нас снова выстроили в очередь и снова нанесли татуировки, а Капо зачеркнула старый номер, как на школьной доске.

Затем, все еще со стельками в руках, я оказалась в большой комнате с трубами и душевыми насадками. Дверь закрылась, и все начали дрожать. Мое сердце колотилось, и я думала: это действительно душ? Что если сейчас сюда напустят газ? Мама крепко держала меня за руку.

После нескольких мучительных секунд из душа пошла вода, и мы начали смывать грязь с наших пыльных тел.

Голые и мокрые, мы вышли наружу, где лежали груды тряпок и сломанной обуви.

– Где твои стельки? – шепнула мама. Я пожала плечами.

– О Эви, – заворчала она, – как же ты исправишь плоскостопие?

В качестве окончательного унижения нам вручили непонятного вида одежду и ботинки разных размеров. Мы стали меняться ими, пока каждый не подобрал пригодную для носки пару. В этот момент мы с мамой поняли, что мои стельки в любом случае оказались бы бесполезны.

Я была уверена, что все процедуры окончены, и мне ужасно

хотелось попить. В конце концов, мы вошли на внутреннюю территорию лагеря. Я побежала к ближайшему крану и начала жадно пить воду, не думая о том, заражена она смертельными болезнями или нет. Вокруг меня шумел Биркенау с десятками тысяч людей, все они с трудом пытались поддерживать существование в самых суровых условиях, которые только можно себе представить, – но я испытывала такую сильную жажду, что не думала об этом.

В будущем мне предстояло развить обостренную бдительность и быть непреклонной, чтобы выжить. Теперь я была заключенной A/5272 – неотъемлемая часть процесса, направленного на подавление чувства собственного достоинства и индивидуальности. Когда меня увели с железнодорожной станции Освенцим, я оставила прежнюю Еву Герингер и ее мечты позади. Мы провели последние минуты вместе, всей семьей, и мне больше не суждено было увидеться с братом.

12
Лагерная жизнь

Аушвиц-Биркенау представлял собой отдельный мир, и почти ничто в нем не могло сравниться с прежней жизнью. Время от времени я останавливалась и вспоминала, что не так давно я была девочкой, катающей шарики на площади Мерведеплейн, и задавалась вопросом, где сейчас Дженни Корд, Сюзанна Ледерман и Анна Франк и как складывалась их жизнь. Выпали им и их семьям такие же страдания, как и нам?

Освенцим – это мир грязи, голода, разврата и незначительных проявлений солидарности. Папа однажды предупредил меня, чтобы я никогда не садилась на сиденье унитаза из-за микробов, но теперь мне приходилось сидеть на корточках над грязной сточной канавой с тридцатью другими женщинами. Я никогда не готовилась ни к чему более сложному, чем игра в шарики, но теперь я научилась бороться за свой продовольственный паек – и, если необходимо, голодать, обменивая свой хлеб на другие вещи, в которых я нуждалась больше.

Вскоре я поняла, что цивилизованность – это тонкий налет, который легко слетает с человека, и осознала необходимость самых простых вещей в жизни, например, насколько важно иметь собственную чашку для еды и воды, чтобы всегда получить свою порцию. Когда мне выдали чашку, я привязала ее к своей рваной одежде и никогда не выпускала из виду.

Не каждый мог приспособиться. У людей, которым не удалось приноровиться к лагерной жизни, появлялся безучастный взгляд, они теряли надежду и умирали. На языке лагеря эти люди звались «мусульманами», потому что их безжизненно сгорбленная осанка делала их похожими на мусульман, склоненных в молитве. Мне же просто повезло выжить: никакая сила воли не спасла, если бы меня повели в газовую камеру. Но я поклялась никогда не вступать в ряды «мусульман». Я никогда не теряла надежды и решимости пережить нацистов и продолжать вести полноценную жизнь, которую я и все жертвы Холокоста заслуживали.

Биркенау занимал огромную площадь, более 432 акров, и изобиловал множеством разных групп людей, но я за все время лишь пару раз столкнулась с некоторыми из них. В течение четырех лет в лагере находились евреи из самых разных стран – от Норвегии до Греции, а также цыгане, политические

заключенные и уголовники. Одно время внутри лагеря функционировало даже «семейное отделение» с детским садом, который в конечном итоге был «ликвидирован», а всех детей отправили в газовые камеры. Существовал даже оркестр Биркенау во главе со скрипачкой из Вены по имени Альма Роуз. Оркестр был вынужден играть во время расстрелов и развлекать охранников СС на лагерных концертах.

Альма Роуз была дочерью руководителя Венского филармонического оркестра и племянницей Густава Малера. Она была известна тем, что достигла того уровня исполнения, к которому привыкла в довоенное время. Однажды она попросила некоторых женщин-охранниц из СС замолчать, когда они болтали в середине произведения, и, с немецким уважением к «вышестоящим», они признали ее лидерство в оркестре и замолчали. Однако, как и все происходившее в Биркенау, оркестр трагично закончил свое существование, когда Альма Роуз была убита. Многие подозревали одного заключенного, который завидовал ее положению.

Тогда я не знала ни о детском саде, ни об Альме Роуз, но очень быстро поняла, что в лагере люди подразделялись на некие группы, что, в свою очередь, могло приводить к сплоченности или вражде. Главным же критерием было еврейское или нееврейское происхождение.

Со временем заключенные нееврейского происхождения стали пользоваться небольшими поблажками и льготами. Они могли получать продуктовые наборы, а в лагере Аушвиц I некоторые могли даже поплавать в примитивном бассейне (на самом деле это был резервуар, наполненный водой, с деревянной доской для прыжков) и воспользоваться услугами публичного дома. Нееврейские заключенные также имели доступ к более качественному медицинскому обслуживанию и жили в лучших санитарных условиях, а иногда могли подняться вверх по лагерной иерархии до позиции управляющего другими заключенными.

Узники-евреи не получали никаких поблажек: нацисты преследовали цель истребить их любыми возможными способами. Для евреев мир перевернулся с ног на голову, и обычные представления о жизни исказились.

Больной заключенный нееврейского происхождения мог получить краткую консультацию врача и некоторые основные лекарства; больной-еврей, получавший «медицинскую помощь» в лагере, мог быть умерщвлен смертельной дозой яда, введенной в сердце. Беременным женщинам либо делали аборты на поздних сроках, либо их детей убивали при рождении.

Конечно, были разногласия и между еврейскими заключенными. Нас держали на огороженных территориях лагеря по национальному признаку, и некоторые группы выглядели лучше других. Польские евреи, которые уже привыкли к очень суровым условиям в гетто, обычно держались дольше, чем голландские и французские евреи, жившие в гораздо более комфортных условиях.

Выживание также в какой-то степени зависело от того, на какую работу вас назначили. «Профессий» в лагере существовало много. В Биркенау были так называемые *Зондеркоманды* – заключенные, которые работали в газовых камерах, сортировали оставшиеся от жертв вещи, выдергивали золотые зубы и убирали трупы. Работа эта была действительно ужасная, но такие заключенные обычно получали дополнительное питание и лучшие условия жизни (хотя через несколько недель они часто сами отправлялись в газовые камеры). В отделении гестапо работали также говорившие по-немецки еврейки.

Большинство из нас получили распоряжение заниматься различными видами ручного труда, будь то работа в прачечной или в группе по производству боеприпасов, или работа на складах и сортировка бесконечно пополнявшейся груды одежды и вещей новоприбывших узников.

Сначала мы с мамой находились на карантине с другими женщинами из нашего поезда. Нас отправили в один из самых темных, мрачных бараков и держали отдельно от остальной части лагеря три недели. Ночью мы, тесно прижавшись к еще восьми женщинам, спали на средней полке трехъярусных коек, которые занимали каждую стену. Днем мы сидели на улице, в пустом дворе, под солнцем или дождем, безжалостно поливавшим наши бритые головы. Капо жила в одном конце барака, чтобы охранять нас, и готовила там свою еду. Нам выдавали одно ведро для туалета на ночь, и к утру оно наполнялось до краев. В каждом бараке размещались сотни женщин.

Рассвело в наше первое утро в Биркенау около 4.00 утра, и нас созвали на улицу для утренней поверки. Это было одним из самых ненавистных моментов дня в Биркенау. Каждое утро и вечер все женщины выстраивались в очередь перед своими бараками и стояли неподвижно, часто часы напролет, пока Капо и эсэсовцы подсчитывали и пересчитывали заключенных.

Малейшая погрешность могла продлить агонию стояния там, в нашей тонкой одежде – иногда на удушающей жаре, иногда на пробирающем до костей холоде.

Мои первые дни в Биркенау оказались главным испытанием на выживание. Мы с мамой чуть не упали в обморок, стоя на

первой поверке два часа. Никто из нас ничего не ел несколько дней в поезде, и мы пропустили выдачу пайков в тот вечер, когда приехали. Как только я вернулась в барак, я съела кусочек черного хлеба толщиной в четыре дюйма, не понимая, что это была вся моя еда на весь день.

Через несколько дней мне стало плохо, и казалось, что я расплачиваюсь за свое глупое пренебрежение предупреждением о том, что пить воду нельзя. Сначала меня сковала парализующая боль в животе, и мне пришлось бежать на улицу и справлять нужду во дворе. Это было строго запрещено: нам разрешали посещать туалетный блок только всем вместе, три раза в день, независимо от того, болели мы или нет.

Капо, следившая за нашим бараком, собралась меня наказать. Она прищурила глаза.

– Ах ты, мелкая навозная муха! Вы даже не можете уследить за своей задницей, неудивительно, что болеете чем попало!

Затем она заставила меня стоять на коленях во дворе с тяжелым деревянным стулом в руках, который я должна была держать над головой, в то время как другие женщины-заключенные ходили вокруг и наблюдали. Через несколько минут у меня заболели руки, но я знала, что не могу позволить себе уронить стул.

– Да ладно, можешь опустить, – убеждала меня одна из женщин. Тогда мои руки подкашивались, и еще один приступ боли пронизывал живот.

– Не сдавайся, Ева, – шептал кто-то еще. Мама стояла прямо передо мной, глядя мне в глаза, помогая вынести мучительное испытание. Прошло целых два часа, и только после этого Капо решила, что я достаточно наказана. Не знаю, как я выдержала, но когда все закончилось, я упала на землю с облегчением.

Я надеялась на скорое выздоровление, но вместо этого у меня поднялась температура, я ослабла и стала бредить. Женщины в бараке начали ворчать, что меня нужно отправить в больничное отделение. Они были уверены, что я подхватила тиф. Я умоляла маму не заставлять меня идти туда и рыдала истерически. Больничный блок был жестокой шуткой: он имел вид обычного медицинского учреждения, но мы знали, что это не так. К тому времени, как мы прибыли в лагерь, «больница» располагалась в нескольких бараках. Там пахло лекарствами, медсестры и врачи ходили в белых халатах и заполняли медкарты. Однако их целью было убивать пациентов-евреев, а не лечить. Часто тяжелобольные люди стонали на своих койках, лежа в собственных испражнениях, в то время как лагерные врачи совершали «обход», глядя в медицинские карты, но никогда на

самих пациентов. Зачем им было беспокоиться? Их не волновало, страдали их пациенты или нет, ведь они не собирались помогать им выздороветь.

«Пожалуйста, не разрешай им отправлять меня туда», – умоляла я маму, но в конце концов мне стало так плохо, что у нее не осталось выбора, кроме как запросить разрешение на консультацию. Она была уверена, что без вмешательства я умру.

Я находилась в состоянии сильнейшего бреда и только смутно осознавала, что мама помогает мне дойти до больницы. Оказавшись внутри, мы сели на жесткие деревянные стулья у входа, а мое сознание все витало в мире грез.

В итоге меня отвели к медсестре, которая подтвердила, что у меня тиф, и дала мне какие-то таблетки. Это само по себе было маленьким чудом. Мы знали, что евреи не получают лекарств. Понятия не имею, что изменилось в случае со мной. Возможно, просто мама так отчаянно и громко умоляла кого-то помочь мне, что им было легче избавиться от нее, дав мне таблетки.

Никто не знал, переживу ли я эту ночь, но когда на следующее утро я проснулась, температура понизилась. Я еще чувствовала слабость, но уверенно шла на поправку.

Я проболела большую часть нашего пребывания в карантине, и вскоре пришло время присоединиться к главному лагерю и приступить к какой-нибудь работе. Как обычно, мы выстроились в очередь и смотрели перед собой, не осмеливаясь взглянуть на солдат-эсэсовцев, которые шагали туда-сюда, осматривая нас. Я почувствовала, что кто-то пристально на меня посмотрел, и услышала фразу: «Эта может отправиться в “Канаду”».

Я уже знала, что «Канада» из всех видов работ ценилась больше всего. Такое название придумали потому, что это была «земля изобилия» – обширная территория позади лагеря, где огромные груды имущества заключенных ждали, чтобы их рассортировали. Людям, работавшим в «Канаде», часто удавалось достать дополнительное питание, сигареты или мелкие вещи, которые они могли бы обменять в бараках на большее количество пайков. Работа там означала бы реальное улучшение нашей ситуации.

Мой взгляд внезапно поднялся на охранника СС.

– Могу ли я взять с собой мать? – задала я вопрос. Все были потрясены: вступать в разговор с эсэсовцами было, как правило, очень плохой затеей. Но эсэсовец настолько удивился, что сделал шаг назад, а затем оглядел маму со всех сторон, подталкивая ее, как корову.

– Да почему бы и нет, – ответил он, пожав плечами.

Небольшие улучшения в самых плохих условиях часто

приводили к всплескам того, что казалось счастьем, и в первый день я отправилась в «Канаду» с чувством бодрости. Мы были на открытом воздухе, вдали от главного лагеря и тех тысяч истощенных лиц, которые напоминали нам о реальности нашего положения.

Сама «Канада» казалась зловещей страной чудес, полной удивительных вещей. Я подошла к одной огромной куче металла, блестевшей на солнце, и, к своему изумлению, обнаружила, что она состояла из тысяч пар очков. Одно складское помещение до потолка было завалено перинами, а в другом я увидела груду протезов. Также там было бесчисленное количество туфель, чемоданов и сундуков любой формы и размера. В одной комнате лежали детские чемоданы, большинство из них – с фамилией и датой рождения владельца, тщательно написанными родителями на лицевой стороне. В другой комнате можно было увидеть сотни пустых детских колясок, как в вековечной комнате ожидания в яслях, из которых не вернулся ни один ребенок.

Цель «Канады» заключалась в том, чтобы награбить все мыслимые еврейские ценности и отправить их обратно в Германию, где они затем распределялись среди солдат, их семей и обычных граждан. Немецкие мужчины брились еврейскими бритвами, в то время как добропорядочные немецкие матери катали еврейские коляски, а бабушки и дедушки надевали еврейские очки, чтобы читать газетные сообщения о военных действиях. В июле 1944 года 2500 наручных часов были отправлены жителям Берлина, которые потеряли свои дома и имущество во время воздушных налетов союзников. Бывшая заключенная-полячка по имени Ванда Шайнок вспоминала, как на станцию Освенцим перевозили пустые детские коляски, по пять в ряд. Их было так много, что прошел час, пока их все доставили.

В безумном стремлении не «растратить» ничего, нацисты даже собирали волосы, которые они сбривали с заключенных, и превращали их в ковры и носки. Все обрезки волос длиной более двух сантиметров использовались для изготовления париков, и многие гордые арийцы Третьего рейха в конечном итоге ходили с волосами мертвых евреев на голове.

Происходили воровство и грабеж в поистине гигантских масштабах, и количество денег, которое нацисты извлекли из еврейской собственности всех видов, не следует недооценивать как одну из причин их жестокой войны против нас.

В крематориях бригады рабочих вырывали золотые зубы у жертв. Затем зубы пропитывались кислотой для удаления остатков тканей и мышц и переплавлялись в золотые слитки для отправки в Германию. Это золото должно было быть повторно

использовано стоматологической службой СС (одного 1942 года поставки хватило бы на все подразделения СС в течение всех пяти лет войны), но неизбежно большая часть его попала в руки лагерных охранников и на швейцарские банковские счета, включая Банк международных расчетов в Базеле.

«Присвоение» вещей охранниками нацисты считали серьезной проблемой. Все официально разграбленное имущество должно было быть учтено в Берлине, но многие солдаты в лагере занимались полномасштабной коррупцией и основывали целые состояния на кражах из «Канады». На одном этапе, до нашего прибытия, нацисты начали расследовать дела коррупции в лагере и арестовали многих охранников, а также временно отстранили коменданта Рудольфа Хесса. (На самом деле он был повышен до должности берлинского инспектора всех концентрационных лагерей, но он так любил Аушвиц, что вернулся обратно ко времени нашего приезда.)

В то утро меня отправили на работу в «Канаду» сортировать одежду и искать в ней скрытые «сокровища», и я искренне поражалась тому, что находила. Люди прятали в одежде деньги и драгоценности, а также еду, часы, документы и всякие другие предметы, например столовые приборы, которые, по их мнению, могли им пригодиться.

В то время как эсэсовцы часто доходили до вакханалии жадности, отчаянно пытаясь заполучить все, что можно было украсть у своих жертв, мои находки заставили меня вникнуть в суть тех разрушительных событий, которые на самом деле происходили в Аушвице.

Иногда «сокровища», которые я находила, были не более чем тщательно обрезанными и сложенными семейными фотографиями: крошечное изображение улыбающегося ребенка или старое фото чьих-то родителей, спрятанное в шов куртки.

Я стояла и смотрела на фотографию матери и отца с маленьким ребенком на руках и с чувством полного ужаса поняла: это единственное, что имело значение для человека, который спрятал эту фотографию, и что никто из этих людей никогда больше не увидит друг друга. Они все были мертвы.

«Канада» оказалась не более чем жутким кладбищем вещей – и за высокими деревьями, которые отделяли этот странный мир от остальной части лагеря, находились газовые камеры Биркенау и крематории, которые в тот момент работали сверх полной мощности над уничтожением более 400 000 венгерских евреев.

Было маловероятно, что нас с мамой минует та же участь, но одна встреча сыграла чрезвычайно важную роль в чуде нашего спасения.

У меня появилась угрожающая язва на затылке, и, хотя я сначала проигнорировала ее, она становилась все больше и болезненнее. В итоге мама решила, что мне придется пойти в больницу.

Как и раньше, я не хотела идти, но в конце концов согласилась, и мы занесли наши имена в специальный список и стали ждать очереди. Когда наступил назначенный день, мама пошла со мной в больничный барак, где мы снова стояли в очереди в надежде получить помощь.

Вскоре появилась медсестра. Я не обратила на нее особого внимания, но заметила, что одета она была во все белое и выглядела крепкой, с густыми темными волосами. Затем я услышала крик мамы: «Минни!»

«Фрици!» – удивленно произнесла медсестра. Это была двоюродная сестра мамы из Праги. Мы справляли много праздников вместе; они с мамой росли бок о бок и были близки, как родные сестры.

Минни была замужем за известным врачом-дерматологом, который несколько месяцев лечил нацистов в Аушвице. Хотя они оба являлись еврейскими заключенными, Минни и ее мужу удалось найти защищенное положение – и Минни использовала должность медсестры, чтобы позаботиться о как можно большем количестве людей.

Минни с мамой быстро шепотом рассказали друг другу о том, как оказались в Аушвице, и мама рассказала ей о моем отце и Хайнце.

– Я сделаю все возможное, чтобы позаботиться о вас, – прошептала нам Минни. – Если вдруг понадоблюсь, приходи.

Как оказалось, Минни действительно стала нашим ангелом-хранителем и именно благодаря ей мы выжили в лагере.

13
Самая суровая зима

Жизнь в Аушвице-Биркенау была полна ужаса и страха, и поначалу только мама поддерживала меня.

Представьте себе, если сможете, ночь. Мы спим с восемью другими женщинами, стиснутые, буквально как сардины. Когда один человек переворачивается, все мы переворачиваемся тоже. Клопы сыплются на нас с верхней койки, и мы должны быть бдительны и стряхивать их, иначе они укусят и занесут инфекцию. Однажды утром я обнаружила, что жуки нападали сверху и толстой коркой лежали вокруг моей кружки. Меня чуть не стошнило, пока я давила их пальцами и кровь из них била струей. Один раз ночью я проснулась от кошмарного сна и увидела, что огромная крыса грызет мою ногу. Я закричала от отвращения и ужаса.

Самым ненавистным испытанием для меня было последней справлять нужду в туалетное ведро. Оно всегда было наполнено до краев, и последнему человеку приходилось выносить его далеко, за двадцать бараков, чтобы вылить содержимое. Как я ни планировала, эта повинность неизменно доставалась мне.

Одно лишь поддерживало меня и делало ночи более терпимыми – то, что мама была рядом и я спала в ее объятиях на нашей койке.

Попробуйте представить себе также голод. Наши казенные продовольственные пайки состояли из водянистого тепловатого супа на завтрак или нескольких глотков зернистого заменителя кофе. На ужин – один кусок черного хлеба. Мы потребляли значительно меньше калорий, чем заключенные других национальностей. Намерение состояло в том, чтобы постепенно уморить нас голодом. Поскольку еда делилась, иногда кто-то вообще мог остаться без порции, а более существенные ингредиенты, например овощи в супе, обычно оставлялись для заключенных, которые наладили хорошие отношения с Капо. Если кто-то оставлял часть своего пайка на потом, другой голодный заключенный обычно крал его.

И снова мама приходила на помощь. Она быстро нашла кучу пищевых отходов, которые выбрасывались с кухни; потом мыла и рвала на мелкие кусочки зеленую морковную ботву и делала вид, что это какой-то витаминный салат. Люди обменивались чем-нибудь питательным, и в нашем бараке начал функционировать оживленный рынок, где предлагалась картофельная кожура и

овощная ботва. Мы с мамой также наладили бойкую торговлю в обмен на носовые платки, которые мы нашли на земле, где их бросили новоприбывшие. Минни также помогала, посылая нам кусочки сыра, а иногда даже колбасы из больницы. Все это понемногу способствовало тому, чтобы мы остались в живых.

Попробуйте представить себе лагерную грязь. Однажды Капо наказала нас за какой-то проступок, выплеснув на нас содержимое туалетного ведра, и моя одежда и кожа были покрыты фекалиями несколько дней, пока мне наконец не разрешили принять душ. Небольшая удача, я считаю, заключалась в том, что у всех женщин в Биркенау после первой недели пребывания прекратились месячные. Мы предполагали, что немцы добавляли в суп бром, от которого оставалось странное ощущение легкости.

Отсутствие месячных стало для нас благословением и в другом смысле. Кажется, трудно поверить, что эсэсовцы могли испытывать сексуальное влечение к голодным, грязным, оборванным женщинам, над которыми они имели власть, но у некоторых из них оно все же появлялось. У этих мужчин было много других развлечений, они жили роскошной жизнью по сравнению с другой перспективой – военной службой на Восточном фронте. Охранники СС имели в своем распоряжении хорошую столовую, кино и театр, много награбленной еды и напитков и возможность частых однодневных выездов за пределы лагеря, чтобы отвлечься от неприятных действий, которые могли беспокоить их совесть. Хотя, по правде говоря, очень немногие охранники, допрошенные после войны, признали, что чувствуют какую-то вину.

Некоторые из них привезли с собой свои семьи, и их дети невинно играли недалеко от лагеря. Другие наслаждались СПА-процедурами в доме отдыха, расположенном в близлежащих горах. Там они развлекали женщин-охранниц СС, фотографировались, смеялись, устраивали чаепития и отдыхали в шезлонгах на веранде. Некоторые даже ходили в церковь.

Полагаю, что они просто не считали нас людьми. Возможно, они действительно верили, что мы «паразиты», которых нужно уничтожать. Но я не могу себе представить, как мышление, даже полностью проникнутое нацистской идеологией, позволяло им проявлять такую беззаботность в разгар массовых убийств. Жена коменданта лагеря Рудольфа Хесса предупреждала своих детей, чтобы они всегда мыли клубнику с грядок своей виллы: ягоды были покрыты серой сажей от крематориев по соседству. Вопиющий диссонанс невинного детского удовольствия – сбора клубники и совершавшегося рядом Холокоста все еще не дает мне

постичь психику нацистов.

Достаточно сказать, что эсэсовцы в Аушвице в полной мере наслаждались жизнью. Для некоторых это также включало секс – и даже любовь. Одна женщина-заключенная написала увлекательный рассказ о том, как охранник СС влюбился в нее, и она верила в подлинность их лагерного романа. Когда она освободилась, то была поражена, что уже не хочет иметь ничего общего с этим мужчиной. К счастью, мне никогда не приходилось сталкиваться с этим, но я должна была всегда быть начеку на случай, если какой-нибудь нацист захочет меня изнасиловать. Если им хотелось выбрать заключенную, то женщины в «Канаде», как правило, находились в лучшем состоянии, к тому же нам разрешали принимать душ, поэтому для охранников это предоставляло дополнительные возможности.

Другие лагерницы предупредили меня всегда быть внимательной в душе, который находился на улице и был окружен низким деревянным забором. Однажды я заметила, что один молодой охранник начал уделять мне особое внимание. Он наблюдал за мной в душе, и я замечала, что и в других частях лагеря он следил за тем, что я делаю.

Однажды Капо приказала мне пойти и передать какую-то информацию на склад. Я пошла и когда обернулась, то увидела этого охранника позади меня: он быстро шел за мной с винтовкой. Я нырнула в помещение склада и зарылась в ближайшую кучу одежды, где лежала не дыша, по крайней мере полчаса, чувствуя, что сортировщики уменьшают кучу поверх меня, и молясь, чтобы эсэсовец поскорее ушел.

Угроза была очень реальной, но мама делала все возможное, чтобы защитить меня: стояла рядом, пока я мылась в душе, и лежала со мной на койке. Женщины Биркенау мало в чем могли помочь друг другу, но мама всячески оберегала меня.

Если мама была моим постоянным спутником, то папа был лучом надежды.

В течение трех недель в июне 1944 года я активно работала в «Канаде». Лагерь гудел от бешеной деятельности, чего не наблюдалось за все четыре года его существования. В марте того же года Германия заключила договор с Венгрией и взяла страну под свой контроль: в конце концов нацисты смогли заполучить в свои руки последнее большое еврейское поселение в Европе, которое отныне стало совсем недосягаемым. Доставка и немедленное отравление газом полумиллиона венгерских евреев привело машину для убийств Аушвица-Биркенау к перенапряжению. Рудольф Хесс вернулся из Берлина, чтобы лично наблюдать за операцией. Он немедленно приказал

построить железную дорогу прямо посередине лагеря и отремонтировать крематории, чтобы они могли работать на полную мощность. Хесс отдал приказ даже покрыть стены газовых камер свежим слоем краски. Он знал по своему предыдущему опыту, что главная проблема заключается не в убийстве людей, а в утилизации тел, поэтому он организовал рытье нескольких огромных новых ям за крематорием, где трупы можно было сжигать на открытом воздухе.

Первый поезд с венгерскими евреями прибыл 15 мая, всего за несколько дней до нас. Вскоре за ними последовали все новые и новые, и большинство из новоприбывших отправлялись прямо в лапы смерти. Конечно, не всех можно было убить сразу, даже если газовые камеры работали сверх максимальной мощности – поэтому большие группы людей сидели на деревьях и траве за газовыми камерами, пока не наступала их очередь.

Страшно смотреть на их фотографии: они сидят с родителями или играют со своими детьми, почти как на пикнике, до сих пор не подозревая о судьбе, которая их поджидает. Многие из них принесли с собой много вещей, и груда их имущества становилась все больше и больше, простираясь мимо тридцати складов, пока не устилала большую часть окружающей земли. Работа в «Канаде» никогда еще не шла так оживленно, и в наш один обеденный перерыв я присела на залитой солнцем улице, чтобы отдохнуть и съесть свой паек. Группа заключенных-мужчин проходила по другую сторону электрифицированного забора, и я узнала одного человека.

– Папа! – закричала я и подбежала к нему.

Он выглядел похудевшим в тюремной форме и берете, но это был определенно мой отец.

– Эви!

Папа подошел к забору, и мы стояли напротив, глядя друг на друга. Я могла дотянуться и дотронуться до него, но это было слишком опасно из-за электрического забора.

Он спросил, где мама, и я ответила ему, что она тоже работает в «Канаде».

– Как Хайнц? – спросила я в свою очередь. Папа сказал, что Хайнц в порядке, работает на ферме, на свежем воздухе и имеет возможность укреплять физическую силу.

– Слушай, Ева, – прошептал он, – я работаю в отделе пиломатериалов, и у меня ответственная работа. Мне кажется, я смогу попробовать прийти сюда в то же время завтра – ты не могла бы привести сюда и маму?

Маму, конечно, охватило волнение и радость при новости, что папа и Хайнц были здоровы, и на следующий день нам обеим

удалось встретиться с отцом около забора. Как мы и условились, в назначенное время папа пришел, и я видела, как родители обменивались короткими фразами.

– Фрици, – сказал он, – а как же твои волосы?

Мама провела рукой по лысой голове и застенчиво улыбнулась.

– Не волнуйся, Эрик, они снова отрастут.

Однако отец остался безутешным, как будто внешний вид жены наглядно показал реальность нашего положения.

– О Фрици, – сказал он, – что же с нами будет?

Вскоре папе пришлось покинуть нас, но он пообещал вернуться снова и попросил меня принести ему сигарет из «Канады», чтобы он мог обменять их на что-нибудь нужное. Иногда охранники видели, как я подбрасывала ему пачку, но у меня никогда не возникло больших неприятностей из-за этого.

Однажды папа перестал приходить. Я продолжала ждать его каждый обеденный перерыв, но он так и не появился. Я сходила с ума от беспокойства. Я внушала себе, что его перевели на другую работу, которую он не мог так легко оставить, но я не могла оттолкнуть кошмарную мысль о том, что он перестал приходить, потому что был мертв.

В любом случае, деятельность в «Канаде» постепенно сводилась на нет, а это означало, что нас с мамой должны были перевести на новые должности. За два коротких месяца в Биркенау было убито больше евреев, чем за предыдущие два года, причем подавляющее большинство составляли венгры. Ежедневно перевозилось в среднем 3300 человек, а в некоторые дни – до 4300, причем три четверти из них направлялись прямо в газовые камеры. Пламя крематориев горело ярко, ночь за ночью, но теперь все были мертвы – и нам приходилось разбирать вещи, оставленные жертвами.

Нас перевели в другие рабочие подразделения, где сначала мы таскали тяжелые камни с одной стороны лагеря на другую и разбивали их на мелкие кусочки, а затем работали в бараках, где мне приходилось плести из кусков жесткой резины веревки, которые потом использовали для бросков ручных гранат.

Работа в бараке оказалась самым тяжелым и мрачным временем в моей жизни по одной простой причине: я была там одна. Осенью маму «отобрали».

Я видела, что она все худела и худела и что тяжелый труд дал о себе знать, но я не понимала, насколько опасным становится ее положение.

Однажды нас вызвали в душ, что всегда было ужасным испытанием: мы боялись, что нас отравят газом. На этот раз все

помылись как обычно – но потом с другой стороны помещения открылись двери, и снаружи нас ждал Менгеле. Мокрые и голые, мы проходили перед ним, пока он хладнокровно решал наши судьбы. Прищурив глаза, он досконально осматривал нас и решал, кому жить, а кого «отобрать».

Меня начало знобить от облегчения, когда я попала в группу выживших. Но на этот раз мамы не оказалось позади. Я обернулась и с трудом поверила своим глазам: маму загоняли в сторону «отобранных» женщин.

В ужасе я закричала, и мама сразу же попыталась подойти и успокоить меня – но Капо ударила ее кожаным ремнем.

– Попробуй рассказать Минни, – прошептала она, когда ее выталкивали из двери, и когда маму увели, все еще обнаженную, мне казалось, что я видела ее в последний раз.

Последующие месяцы были беспросветными и лишенными надежды. Мне удалось рассказать Минни о случившемся, при этом я очень рисковала, уклоняясь от охраны и прожекторов, чтобы добраться до больничного блока посреди ночи. Она обещала сделать все возможное, но не могла ничего гарантировать.

Без мамы, думая, что папа, вероятно, тоже убит, без понятия, жив ли Хайнц, я сразу же почувствовала упадок сил. Впервые я находилась в бараке одна и плакала во сне. На рассвете я тащилась по бесплодной земле на работу и с чувством отчаяния наблюдала наступавшую зиму. Что же в жизни действительно важно? Какая разница, хороший человек или плохой? Какое утешение можно найти в «Боге»?

В рабочих бараках я разговаривала очень мало, погруженная в депрессию и в бесконечное плетение веревок по четырнадцать часов в сутки; я разрывала твердый материал зубами и больными пальцами и молилась, чтобы мои изделия не были отсортированы как некачественные. Я знала, что плохо работавших людей быстро отбирали и отравляли газом. Вскоре у меня обморозились ноги и в коже появились дырки, наполненные желтым гноем, из-за чего я начала прихрамывать. Пропадало желание жить. Однажды меня позвала Капо и сказала выйти на улицу. Я проигнорировала ее, так как любое отклонение от обычного хода вещей предвещало обычно плохие новости.

– Выйди, – крикнула она, – тебя ждут!

Я поволочила ноги к выходу, надеясь, что там не эсэсовец, чье внимание я привлекла. Но когда я подняла голову, то с изумлением обнаружила своего отца.

– Папа! – зарыдала я и бросилась в его объятия. Он выглядел более исхудавшим и постаревшим, чем в прошлый раз, но его

руки крепко сжали меня.

– Не сдавайся, – убеждал он. – Мы сможем продержаться, война скоро кончится. Просто держись.

Потом он спросил:

– А где мама?

Если бы только я могла сдержаться, но в тот момент меня разрывало от потребности разделить свою боль с кем-нибудь.

– Ее отобрали, – сказала я ему. – О папа, ее отравили газом!

Я почувствовала, как окостенели его руки, и он отступил, глядя на меня с ужасом и болью. Он пытался не заплакать, но его глаза выдавали чувства.

Он пообещал мне, что попытается прийти снова и постарается добраться до кухни, чтобы достать еды для меня. Вся в слезах, я кивнула, чувствуя огромное облегчение и благодарность за то, что папа и Хайнц все еще живы и что я не одинока.

Отец вытер глаза и поцеловал меня на прощание. Мы не вымолвили ни слова.

Несмотря на его страдания от известия о маминой судьбе, папа сдержал свое слово – я убедилась в этом тем же вечером в кухонном бараке. Я не знаю, как ему удалось добиться подобных привилегий; он не был под защитой СС, но у него была хорошая работа в отделе пиломатериалов, не говоря уже о невероятном личном обаянии.

– О, ну что за мужчина твой отец! – кудахтала польская девушка в кухонном бараке тем вечером, смеясь и закатывая глаза. Потом она вручила мне миску теплых овощей – почти невообразимая роскошь.

Папа всегда имел подход к дамам, даже голодным и в тюремной полосатой одежде.

Отцу удалось прийти еще раз. Он сказал мне, чтобы я не сдавалась и что союзники уже идут по Европе. Он был уверен, что война скоро завершится.

Я все еще вижу его лицо таким, каким оно было в тот день – серьезным и тоскующим, полным любви ко мне – и горько сожалею, что он не смог прийти ко мне еще раз, ведь тогда я смогла бы передать ему ту новость, которую вскоре получила сама: мама была жива. Она оставалась в больничном блоке: Минни спасла ей жизнь.

14
Освобождение

Последние дни войны мы с мамой провели, свернувшись на ее больничной койке, едва подозревая о снегопаде на улице и о приходе Рождества. Мы потеряли всякое чувство времени и пребывали в голодных мечтаниях о будущем, бесконечно говоря о еде, которой наслаждались на свободе. Я жаждала жареного цыпленка, а мама с упоением говорила о блинах с вареньем и сливками.

С тех пор как я в последний раз видела ее на «отборе», мама уже несколько смотрела в глаза смерти. Сначала ее отобрали для отправки в газовую камеру и отвезли в барак приговоренных, где женщин запирали в ожидании их последнего дня на земле.

Мама рассказывала, какие ужасные сцены происходили в этих бараках: женщины молились и плакали, некоторые теряли рассудок и в припадках безумия царапали запертые двери. Однако, верная своему слову, Минни обратилась лично к Джозефу Менгеле, который дал понять, что постарается что-нибудь предпринять. Минни не знала, спасет ли он мою мать или нет, но когда дверь барака приговоренных открылась и женщин увели, мама обнаружила, что ее нет в списке – она будет жить.

Затем, когда мама думала, что находится в безопасности, ее отобрали снова, чтобы выполнить норму по количеству жертв. Кто-то из охранников вернул ее в список, чтобы восполнить недостачу. Когда она подошла к административному столу, где охранники отмечали номера заключенных, то сказала, что на самом деле не должна быть в списке. Охранники проверили и были в ярости, обнаружив, что она права. Наконец, в последнюю секунду, маме снова удалось спастись.

Она наблюдала за тем, как уводили других кричащих женщин из ее группы к газовым камерам – а затем пламя крематориев взлетало в небо, унося человеческие останки. В какой-то момент мама смирилась со смертью. Она молилась лишь о том, чтобы Хайнц и я выжили, создали семьи и родили своих детей.

В то же время я проходила по своему мучительному пути, с трудом избегая гибели. Теперь мы возлагали все наши надежды на то, чтобы прожить остаток войны под бдительным присмотром Минни.

Когда я снова обрела маму, она уже превратилась в груду тряпок, лежавших на одной из больничных коек под тонким одеялом. Она все еще была молодой женщиной, без малого

сорока лет, но выглядела древней старушкой и была близка к голодной смерти. Наше насильственное разлучение привело к кардинальным изменениям в наших отношениях: мне стало ясно, что отныне я должна заботиться о своей матери.

К зиме 1944 года в Аушвице-Биркенау все поменялось. Военные силы решительно повернулись против немцев. В то время как британские, американские и канадские войска продвигались через Францию и Бельгию, советские двигались по Восточному фронту, приближаясь к Освенциму. Рейхсфюрер Генрих Гиммлер, который наблюдал за истреблением евреев эсэсовцами, увидел надпись на стене и понял, что с виновными не будут церемониться, когда выяснится масштаб их преступлений. В октябре он распорядился прекратить ликвидацию евреев, а в ноябре решил, что газовые камеры и крематории в Освенциме должны быть взорваны. Намерение состояло в том, чтобы скрыть все следы случившегося.

Однажды ночью прогремел мощный взрыв, и огромный огненный шар сгорел в темноте: некоторые крематории были уничтожены. Дисциплина и порядок также нарушались, хотя это часто влекло за собой новые угрозы, и мы не чувствовали себя в безопасности. В то время как Гиммлер отдавал приказ о закрытии газовых камер, сотни членов зондеркоманд (заключенных, которые работали в газовых камерах) подняли Октябрьское восстание против СС. Они врукопашную сражались с нацистами, убили нескольких охранников и сбежали в близлежащие деревни. Участники зондеркоманд поняли, что являются ключевыми свидетелями происходивших зверств и что, скорее всего, их выведут из лагеря и убьют.

Это восстание было в конечном счете обречено, и всех их поймали и казнили, но оно привело к тому, что по крайней мере одна газовая камера, заполненная людьми, была освобождена, прежде чем этих людей убили.

Я не знала о восстании, но заметила, что мы стали практически предоставлены самим себе, поскольку охранников, казалось, занимали другие вещи. Ненавистные переклички прекратились вообще.

Однако мы все еще имели дело со случайными капризами эсэсовцев, и страх быть убитыми в открытом столкновении заменил наш ужас перед организованным газовым отравлением. Мы хорошо понимали, что тоже являлись живыми свидетелями, и что эсэсовцы ужасались при мысли о том, что с ними сделают советские солдаты. Они, вероятно, испытывали соблазн убить нас всех, нежели оставить людей, которые могли рассказать всю правду.

К началу января их опасения стали вполне реальными. Эсэсовцы начали сносить электрические ограждения, сторожевые башни и бараки. Также они уничтожили некоторые документы и все тщательно хранившиеся бумаги, касавшиеся «окончательного решения», а трупы, похороненные за газовыми камерами, выкопали и сожгли в карьерах.

Советская армия вела активное наступление. 12 января она разгромила немецкую оборону в Баранове и направилась в сторону Кракова. 16 января советские самолеты разбомбили продовольственный склад в Биркенау.

Наступление советских войск и авианалеты посеяли панику среди немцев. Однажды утром несколько охранников СС появились в дверях больницы и закричали: «Всем, кто может, выйти на улицу!» Мама была настолько слаба, что уже несколько недель едва могла сползать с койки, но по настоянию Минни мы собрали наши одеяла и доволочили ноги до дверей.

Лагерь снаружи выглядел жутко, но захватывающе. Небо было синим, и землю укутывало тяжелое одеяло снега. Несколько часов мы стояли на морозе, стуча зубами. Ничего не произошло, кроме перестрелки вдалеке, со стороны наступавших войск СССР. Когда загудела сирена воздушного налета, охранники снова появились и стали кричать на нас, чтобы мы вернулись в помещение. В сумерках они вернулись и заставили нас снова выйти на холод, но еще одно срабатывание сирены, казалось, взволновало их, и нам разрешили вернуться в койки.

Этот день ужасным образом сказался на состоянии некоторых женщин в больнице. Минусовые температуры смертельно ослабили их, и многие умерли ночью. Утром я увидела, как Минни, грустная и осунувшаяся, выносит их тела. Она подошла к маме, положила руку на голову и сказала: «Держись».

Эта новая процедура выхода на мороз продолжалась несколько дней, но я заметила, что многие женщины оставались в своих койках. В конце концов, я предложила маме: «Давай останемся здесь и будем надеяться, что никто не заметит».

Это было судьбоносное решение. Мы проспали ночь, и утром 19 января 1945 года я проснулась и почувствовала странную тишину. Я открыла глаза и оглядела барак, но он был почти пуст, и никаких обычных утренних процедур не проводилось. Я вылезла из койки и пошла на улицу, чтобы все выяснить. Никого не было видно. Несколько месяцев назад в Биркенау жили десятки тысяч заключенных, но теперь не было ни охранников СС, ни собак, ни солдат на сторожевых башнях, ни врачей в больнице – и Минни тоже исчезла.

В одночасье немцы отключили телефонный коммутатор,

оставили догоравшие груды документов и вывели тысячи женщин из Биркенау (и тысячи мужчин из Аушвица I) за пределы лагеря длинными колоннами, обратно по направлению к сердцу Третьего рейха.

В отличие от других трудовых лагерей, которые попросту забросили, в Освенциме, по приказу Гитлера, не должно было остаться ни одного человека, пригодного для работы. По всей видимости, осталась только небольшая группа заключенных с очень слабым здоровьем, в том числе мы.

Мы были истощены до предела, но сразу же начали готовиться к выживанию, чтобы дождаться прихода советских войск. Нас охватило поистине освобождающее чувство – сознание того, что немцы ушли (я так ждала этого!), но мы знали, что впереди нас ждут серьезные препятствия. Я боялась, что в конечном счете никто не найдет нас и что мы умрем от голода в ожидании. Хуже того, меня ужасала мысль, что немцы вернутся и снова захватят лагерь, обрекая нас на смерть, когда мы уже так близки к свободе.

Прежде чем обдумать все эти сценарии, я должна была собрать всю силу воли для выполнения обычных повседневных задач, необходимых для того, чтобы сохранить нам жизнь.

Некоторые из этих задач были ужасными. В то первое утро без немцев Ольга, польская узница, попросила меня помочь ей унести тела людей, умерших ночью. Услышав это, я отшатнулась от нее: мне никогда в жизни не приходилось касаться мертвого тела, и хотя смерть была везде вокруг нас в Биркенау, мне удалось защитить себя от окружающей реальности. Но я была одной из немногих оставшихся женщин, у которых еще имелись физические силы, и именно поэтому Ольга просила меня помочь.

Вынос окостеневших тел женщин, которых я так хорошо знала, – самое худшее, что мне когда-либо приходилось делать.

Когда я держала их, то чувствовала, что они совершенно усохли. Я смотрела в их открытые вытаращенные глаза и зияющие рты и осознавала, что они продержались так долго – и с такой надеждой – почти до конца. В те несколько дней я увидела больше смертей, чем за все остальное время в Биркенау.

Другие обязанности были менее кошмарными, но все же изматывающими. В наше первое свободное утро мы нашли кладовую с едой и набрали буханок черного хлеба, которые лежали на полках. На следующий день я пролезла через дырку в электрическом заборе и нашла барак с теплой одеждой, стеганными пуховыми одеялами и с таким количеством еды, какое я себе и представить не могла в самых смелых мечтах: там были сыр и варенье, мука и картошка. Мы сели на пол и просто ели и

ели, набивая рот всем подряд.

Я взяла два пуховых одеяла и нашла сапоги для верховой езды – моя первая приличная пара обуви за последнее время. Мне казалось, что они выглядят замечательно, и только позже я поняла, что они даже из разных пар. Я нашла одежду и для мамы: темно-синее шерстяное платье, которое оказалось слишком коротким для нее, серые шерстяные чулки и ботильоны на шнуровке. С бритой головой она выглядела ужасно.

Каждый из нас завернулся в одеяло. Мы, должно быть, выглядели как двое странных лысых пухлых существ, бродивших по бесплодному ландшафту в поисках еды.

Добыть воду было тоже непросто. 19 января, через несколько часов после ухода немцев из лагеря, советские самолеты разбомбили промышленный комплекс И.Г. Фарбен, где работали узники Аушвица и Моновица на производстве химических веществ, в том числе газа Циклон Б. Бомбардировки отсекли подачу воды и электричества в лагерь и его окрестности, оставив нас без света и питья. Сначала мы таяли снег, но потом я пошла с наиболее сильными женщинами взламывать лед на замерзшем пруду у входа в лагерь – тогда мне пришлось плестись обратно в барак с тяжелыми ведрами.

Мы пережили первые несколько дней, но оставалось еще много проблем. Живя в бараке, мы чувствовали себя уязвимыми: нары были все такими же жесткими и холодными, а также угрожала реальная возможность того, что немцы вернутся.

Неожиданно 25 января отряд войск Службы безопасности СС действительно вернулся в лагерь Аушвиц I с целью убить всех оставшихся заключенных. Точно так же они вытащили всех больных и слабых из своих коек и заставили их выстроиться на снегу для расстрела, но тут еще раз налетели советские самолеты. «Возвращайтесь в бараки!» – крикнул один из офицеров, и солдаты исчезли так же внезапно, как и прибыли.

На следующий день, рано утром, эсэсовцы вернулись в Биркенау на бронированных машинах. Они подожгли крематорий №5, а затем поехали взрывать близлежащие мосты. В небе вели бой немецкие и советские самолеты.

Когда на следующее утро рассвело, мы уже серьезно обсуждали, что делать и куда идти. Разговор продолжался несколько часов. Внезапно дверь в барак распахнулась, и женщина закричала: «Там у ворот – медведь!»

Это казалось маловероятным, но в Биркенау не было ничего невероятного. Мы с волнением направились к выходу, и перед нами предстало своеобразное зрелище: действительно, там был «медведь». Большой человек в медвежьей шкуре изумленно

глядел на нас с таким же испуганным выражением лица. Возможно, мне надо было быть осторожнее, но безудержная радость охватила меня в тот момент. Я подбежала к нему, бросилась на руки, и он меня обнял. Это было 27 января 1945 года – советские войска пришли освобождать нас.

После окончания войны было много ревизионистских точек зрения о роли и действиях союзнических сил. Некоторые из них подвергают сомнению идею о том, что одна сторона была «злой», а другая «доброй», и, возможно, это правильно. Документы показали, что британцы и американцы хорошо знали об истреблении евреев в Аушвице уже в 1943 году – и отклонили ходатайство о бомбежке газовых камер летом 1944 года.

Сотрудник британского Министерства иностранных дел написал, что бомбардировка Освенцима может привести к «потоку беженцев», которые направятся в Палестину, в то время все еще находившуюся под британским протекторатом, и потребуют независимости родины. Возможно, бомбардировка Освенцима не имела бы большого значения, ведь большинство его узников к тому времени были уже мертвы. Может быть, еще больше людей было бы убито при нападении – кто знает. Несомненно то, что победа в войне и сохранение сильной антииммиграционной политики являлись более приоритетными задачами для союзников, чем помощь евреям.

Много написано и о роли русских солдат, и о том, что они насиловали немецких женщин. Мне хотелось бы найти в своем сердце хоть каплю сочувствия к этим женщинам, но я не могу этого сделать, учитывая то, что претерпела моя семья от рук нацистского режима, который поддерживался этими женщинами. Вы должны понять, что я не могу быть объективной в этом вопросе: мои собственные страдания и потери слишком глубоки и болезненны. Рассудок же говорит мне о том, что права человека равны для всех, и что зверства, совершаемые против кого бы то ни было, недопустимы.

Мой опыт общения с советскими солдатами состоял в том, что они были моими освободителями и друзьями. Те первые солдаты были из 60-й армии 1-го Украинского фронта, под командованием генерала Павла Курочкина. В течение ближайших нескольких дней сначала малые, а затем все более многочисленные группы солдат обосновывались в лагере. Они готовили для нас сытную еду, говорили с нами и давали погреться у костра.

Мама все еще считала, что нам безопаснее уйти из бараков, и мы временно поселились на заброшенной гауптвахте с Ольгой и Иветтой, француженкой. Дом охранника был маленьким и

уютным, и мы спали на нормальных кроватях впервые с момента нашего прибытия в Аушвиц.

Там мы напряженно ждали окончания войны или какого-то знака, что немцы ушли навсегда. Линия фронта проходила все еще очень близко, и советские войска уходили и приходили снова, в зависимости от хода боевых действий. 231 солдат погиб в боях при освобождении лагеря и в сражениях с отступавшими немцами.

Мы ощущали напряженность, неопределенность и угрозу. Однажды, когда мама набирала воду, к ней пристали солдаты СС, которые с визгом остановились возле нее на своем грузовике. Я с ужасом наблюдала из окна сторожевого дома, как ей приказали идти за ними по дороге с другими женщинами из лагеря. Иветта и Ольга пытались утешить меня, когда я обезумела от горя: как я могла потерять маму именно сейчас?

Только поздно вечером она вернулась. Мама рассказала о том, что видела: немцы начали расстреливать других женщин, и она поняла, что единственный способ выжить – это лечь в снег и притвориться мертвой. Она соответствующим образом шаталась на ногах, кашляла и вдруг сделала вид, что потеряла сознание, а встала только через несколько часов. Возвращалась мама обратно по дороге, усеянной кровавыми трупами.

Это были тяжелые и отчаянные дни. Тот факт, что мы были так близки к свободе, делал смерть еще более жестокой. Трудно смириться с тем, что многие женщины погибли не от рук нацистов, а от хорошей горячей пищи, предоставленной нашими освободителями. После столь длительного голодания тела узников просто не могли справиться с внезапным изменением рациона.

Я начала предпринимать экстраординарные действия для выживания. Однажды мы вышли за едой и наткнулись на мертвого коня советских солдат, которого только что застрелили.

– Ну же, – прошептала Ольга, подводя меня к туше, лежавшей на снегу и испускавшей пар. Она взяла нож и начала разрезать коню живот.

– Посмотри сюда! – воскликнула она. Я нехотя подняла глаза. Внутри у лошади был полусформировавшийся жеребенок. Тошнота подступила к горлу, и я отвернулась, но Ольга сказала:

– Отлично подойдет для рагу!

Поедание нерожденного жеребенка казалось мне ужасающим действом, и я вздрогнула, представив себе это на секунду. Но я тоже голодала, и желание съесть мяса было сильным и первобытным. Я не притронулась к жеребенку, но в ту ночь я тоже сидела у костра, и мы ели конину.

День ото дня мы набирались сил и начинали думать о будущем. С мамой мы постоянно говорили о папе и Хайнце и безумно хотели отправиться в мужской лагерь Аушвиц I, чтобы найти их. Ольга покинула нас и вернулась обратно в свой дом в Польше, но Иветта все еще жила на гауптвахте и тоже хотела добраться до мужского лагеря. Помимо поиска папы и Хайнца мы хотели добраться туда еще и потому, что там находилось много советских солдат и, соответственно, было более безопасно.

Я решила, что безопаснее и проще первый раз попробовать добраться туда без мамы. Мы с Иветтой отправились в Аушвиц I, долго и изнурительно шли по снегу. В конце концов мы увидели трехэтажное кирпичное здание и линии советских грузовиков на обочине дороги. Как только мы добрались до входа, Иветта остановилась, чтобы поговорить с солдатами, а я продолжила путь.

Я прошла под металлической вывеской с лживой надписью «Труд освобождает», сделанной заключенными по указанию нацистов. Помню, я подумала о том, что такая маленькая и незначительная вывеска представляла собой самую беспощадную идеологию в мире. Я никогда не была в лагере Аушвиц I, и его улицы с мрачными зданиями сильно отличались от гораздо более широких просторов Биркенау. Тем не менее я имела твердое намерение найти отца с братом и вошла в первый мужской барак. Находившиеся там люди обрадовались моему появлению и стали задавать вопросы о своих пропавших женах и дочерях. Увы, у меня не было полезной информации, и мало чего хорошего могла я рассказать. Я побрела дальше, входила в каждый барак и расспрашивала всех людей. В конце концов я нашла кого-то, кто знал папу и Хайнца. Этот человек сказал мне, что несколько дней назад немецкие войска увели их из лагеря вместе с другими заключенными. Мое сердце сжалось: я так надеялась и верила, что мы найдем их. Тем не менее они были живы, каким-то образом им удалось избежать отравления газом. Мы, все четверо, выжили, несмотря ни на что, и эта мысль давала мне надежду. Я верила, что они сильны и что могут все преодолеть.

В бараке я узнала одного человека. Он был худым и изможденным, с впалыми глазами, и лежал, завернувшись в одеяло. Он поднялся с койки, когда я подошла.

Я обратилась к нему:

– Кажется, я вас знаю. Я Ева, маленькая девочка, которая играла с Анной в Мерведеплейн.

Это был Отто Франк. Он вспомнил меня и кивнул.

– Вы не знаете, где Анна и Марго? – спросил он с тем же отчаянием в голосе, с каким я спрашивала о папе и Хайнце. Мне

пришлось объяснить, что я никогда никого из Амстердама не встречала в лагере.

Приближался вечер, и пора было возвращаться обратно к нам на гауптвахту, но когда я встретила Иветту, она отказалась идти со мной. Теперь, когда она добралась до главного лагеря и снова встретилась с мужчинами, она ни за что не хотела возвращаться в Биркенау. Я умоляла ее пойти со мной – дорога была длинной, и звуки боя все еще слышались поблизости, – но она отказалась.

Пытаясь призвать смелость на помощь, я отправилась в путь. Ноги несли меня по темной дороге, и я представляла себе свистевшие у меня над головой пули. Когда я, наконец, добралась, и встревоженная мама открыла дверь, я рухнула на пол в изнеможении и облегчении. Мы обе сошлись во мнении, что лучше переехать в Аушвиц I, и на следующий день мы собирали наши вещи, пока я снова рассказывала о встрече с Отто Франком.

На самом деле, когда мы совершали наши первые шаги в новую жизнь, я не понимала, что впредь встречусь лишь с немногими людьми, которых узнала здесь, и что даже те, кого я увижу снова, будут измученными и измененными до неузнаваемости тем, через что все мы прошли.

Вскоре мы с мамой покинули Освенцим, но большинству моих друзей не повезло.

Сюзанна Ледерман, девушка, которой я так восхищалась, была перевезена из Вестерборка в Аушвиц 16 ноября 1943 года и отравлена газом 19 ноября. Герман де Леви, мальчик, который подарил мне цветы и хотел быть моим первым кавалером, был перевезен в Терезиенштадт 4 сентября 1944 года и умер 15 декабря. Моя лучшая подруга Дженни Корд была перевезена в Аушвиц вместе со своим братом Руди и их родителями 7 сентября 1943 года. 10 сентября Дженни отравили газом, а ее брата отправили на работу в угольные шахты, где он скончался 31 декабря.

Анна и Марго Франк были депортированы вместе со своими родителями Эдит и Отто в воскресенье 3 сентября 1944 года – на самом последнем поезде, направлявшемся из Вестерборка в Освенцим. В октябре 1944 года Анну и Марго отправили в другой лагерь – Берген-Бельзен, в Германию. Эдит осталась в Биркенау и умерла за десять дней до освобождения, в январе 1945 года. В кошмарных условиях в Берген-Бельзене обе девочки сильно заболели, и в марте 1945 года – незадолго до освобождения – они тоже умерли.

Более миллиона евреев были убиты в Аушвице-Биркенау, и до момента освобождения дожили всего 6000 человек. Несмотря на то что немцы поспешно отправили в Берлин как можно больше

награбленных вещей, а затем сожгли склады в «Канаде», российские войска обнаружили на этом месте более миллиона предметов одежды, а также 43 255 пар обуви и более 15 000 фунтов женских волос. Когда позже образцы волос, в том числе повторно использованные немецкими компаниями, были проверены, в них обнаружилась синильная кислота – один из ингредиентов газа Циклон-Б.

Мы с мамой выжили благодаря удаче, силе воли и защите Минни. Мы пережили то, что я считаю самой жестокой идеологией этнической чистки и убийств в истории. Нацисты преследовали нашу семью по всей Европе, движимые сумасшедшей одержимостью и решимостью не останавливаться, пока оставался живым хотя бы один еврей. Я спаслась, но мне пришлось заново научиться жить и найти свое место в мире – в том, который часто не хотел знать об увиденных мною ужасах.

Однако в январе 1945 года мало что из этого приходило мне в голову. Я была переполнена радостью от того, что жива, испытывала облегчение от конца голода и удовольствие от возможности носить теплую одежду. Мои мысли в то время сосредоточились на возвращении домой в Амстердам – и на воссоединении с папой и Хайнцем.

15
Дорога назад

– Интересно, что сейчас делают папа и Хайнц? – спросила я маму.

– Может быть, они едят тушенку и говорят о нас, – ответила она.

Мы любили представлять их где-то там – мы не знали где именно, – думая о нас и нашем будущем.

В январе 1945 года мы находились в подвешенном состоянии: наше заточение кончилось, но война еще не была выиграна. Высшие нацистские генералы понимали, что разрушительные бомбардировки союзников по продовольственным складам и инфраструктуре делали поражение и капитуляцию неизбежными, в то время как измученные войной немецкие граждане с трудом преодолевали постоянно ухудшавшиеся условия жизни. Капитуляция казалась единственным решением, но Гитлер отказался поддержать эту идею. Он поклялся никогда не сдаваться и, жертвуя жизнями сотен тысяч солдат и превращая Европу в руины, потребовал, чтобы боевые действия продолжались до весны 1945 года.

Мы с мамой все еще жили с ощущением опасности и неопределенности. После того как мы покинули гауптвахту в Биркенау, мы нашли пустую комнату в одном из бараков мужского лагеря в Аушвице и поселились там. Мы снова спали на нормальных кроватях, пусть и двухъярусных, и мы могли закрыть дверь и уединиться ненадолго. Мы ели горячий картофельно-капустный суп, который готовили солдаты, и даже знакомились с другими заключенными.

Тем не менее мы понятия не имели, что нас ждет в будущем. Мы с большим трепетом наблюдали за тем, что происходило за территорией лагеря, за приходом и уходом советских солдат. Наши жизни были буквально в их руках.

Через три недели одной ночью мы совсем не спали из-за непрекращавшихся залпов артиллерии и перестрелки. Где-то рядом шло крупное сражение.

– Думаешь, немцы снова наступают? – с тревогой в голосе спросила я маму.

– Не знаю, Эви, – ответила она, – но я уверена, что русские позаботятся о нас.

На следующее утро в дверях появился взволнованный украинский солдат, который сказал, что немцы отбиваются

недалеко от лагеря и что было бы безопаснее переместить всех выживших узников дальше, за советскую границу. Ничто так не устрашало, как мысль о том, что нацисты могли снова захватить лагерь и, несомненно, убить нас, поэтому мы с радостью согласились уйти.

Холодным февральским утром мы взяли две перины и небольшой тканевый мешок, который мама сшила для наших вещей, и пошли по направлению к станции. Мимо проезжали советские армейские грузовики, перевозившие других заключенных Аушвица-Биркенау к железнодорожным путям. Одно из самых грандиозных мест преступлений в мире исчезало за нами в холодном польском тумане.

Теперь мы отправлялись в еще один путь – и я надеялась, что на этот раз он приведет нас домой, к нашей семье.

На станции Аушвиц мы увидели ожидавший нас поезд. Он состоял из длинной линии вагонов для скота, подобных тому вагону, в котором мы приехали. Но на этот раз вагоны не запирались, и поезд часто останавливался, чтобы мы могли поесть и сходить в туалет.

Мы с мамой устроились на полу, на перинах, и грелись около небольшой печки, горевшей посередине вагона.

Мы понятия не имели, куда прибудем в конечном итоге, но знали, что направляемся в Катовице, где будем ждать решения советских солдат по поводу того, что с нами делать дальше. Хотя мы были безмерно благодарны русским за то, что они спасли нас от нацистов, нашей жизнью по-прежнему управляли неизвестные силы, и казалось, что мы мало на что можем повлиять в нашей судьбе.

Сегодня можно доехать из Освенцима в Катовице за пару часов, но мы двигались на советском грузовом поезде крайне медленно. Польша была разрушена войной и потеряла пятую часть дорог страны и 10 000 миль железной дороги. Кроме того, наш поезд часто останавливался на путях, пропуская мчавшиеся на фронт советские военные составы.

Сельская местность, через которую мы проезжали, казалась бесплодной и пустой; более четырех лет немецкой оккупации уничтожили целые населенные пункты. Три миллиона поляков были убиты, а польских евреев практически не осталось.

Когда мы останавливались на небольших станциях, чтобы размять ноги, то видели обломки разбомбленных, сожженных деревень. Большая часть Европы выглядела именно так. Целые города превратились в груды обломков, их население жило в разрушенных домах, а часто даже в землянках. Снова и снова мы останавливались в разоренных деревнях и видели сгорбленные

фигуры, которые поднимались из воронок от снарядов – это были старые женщины, продававшие яйца и картофель в обмен на все, что мы могли предложить. Это словно был край, где остались только старые женщины и дети.

Пока мы медленно тряслись в вагоне, проезжая вдоль польского ландшафта, я впала в почти сказочное состояние сна и поглощения еды, не чувствуя ничего, кроме того, как постепенно укрепляются мои физические силы. Иногда мы с мамой завязывали беседы с другими людьми вокруг печки, но чаще всего каждый терялся в собственных мыслях и воспоминаниях. Когда мы останавливались и спускались на железнодорожный путь, то часто и довольно оживленно общались с советскими солдатами. Те солдаты, которые сами были евреями, с восторгом пожимали нам руки, и мы чувствовали глубокое родство с ними. Другие, преследуемые войной, вытаскивали фотографии своих родных и спрашивали, не видели ли мы их где-нибудь. Независимо от религии или происхождения, все солдаты, казалось, были горячими сторонниками Сталина и из-за долгих страданий от нацистов горели желанием отомстить немцам.

Во время остановок мы также разговаривали с людьми из других групп, и молодые мужчины и женщины начали разбиваться по парам в пути. Часто я засыпала, невольно слушая, как люди занимаются сексом в темноте.

Через три недели после отъезда из Освенцима, 5 марта, мы прибыли в наш первый пункт назначения.

Отступавшие нацистские войска сокрушили тысячи лет культурного наследия в пыль, сровняв с землей такие города, как Варшава, но мы обнаружили, что, несмотря на атмосферу удручающего пренебрежения Катовице остался относительно нетронутым. Весна чувствовалась в воздухе; было еще холодно, но на деревьях уже появлялись почки. Нам выделили казармы на окраине города, с соломенными матрасами для сна, и я первый раз более чем за два года приняла ванну.

– Мама, это чудесно! – воскликнула я, опускаясь в теплую воду. – Я снова чувствую себя человеком!

К тому моменту я настолько окрепла, что даже не захотела есть жесткий кукурузный хлеб, который раздавали советские солдаты.

– Ешь! – приказывала мама, но я морщила нос.

– Нет, он мне не нравится!

Днем мы бродили по Катовице, наслаждаясь возможностью гулять по улицам города и заглядывать в витрины магазинов, хотя они были в основном пусты. Время шло, и мы с нетерпением ждали известий о том, что будет с нами дальше. Мы слышали о

сильном сопротивлении немцев в Польше, и ходили слухи, что они, возможно, даже смогут отбить Катовице. Также поговаривали и о том, что советские солдаты могут увезти нас в неизвестном направлении.

31 марта мы начали продвигаться на восток. На первой остановке я спустилась с поезда, чтобы размять ноги, и увидела знакомого, но несчастного человека на рельсах, стоявшего в одиночестве. Это был Отто Франк. В поезде мы с мамой встретили общую знакомую, Рутье де Винтер, и она сказала нам, что Отто находился в том же поезде. Она также рассказала, что Эдит Франк умерла в Аушвице и что именно Рутье пришлось сообщить Отто убийственную новость.

– Это ужасно, – произнесла мама. – Несчастный человек… Я бы хотела поговорить с ним и выразить соболезнования.

И теперь такая возможность представилась. Я помогла маме спуститься с поезда, и мы медленно подошли к Отто. Я вновь представила их друг другу.

– Мистер Франк, вот моя мама.

Мама напомнила:

– Я приходила к вам однажды, чтобы спросить, не хочет ли Анна заниматься с Евой в частной школе. Я очень сочувствую вашему горю.

Отто кивнул в ответ, но выглядел слишком уставшим и грустным, чтобы продолжить беседу. Мы снова поднялись в вагон и отправились дальше.

Мы пересекали холмистую местность, усеянную маленькими деревянными домиками. В деревнях, где велись ожесточенные бои, люди обходились домами, сделанными из соломы, но в других местах мы видели даже свиней и цыплят, которые словно символизировали жизнь среди запустения.

Я надеялась на то, что все наши горести закончились, но, увы, они еще ждали нас впереди. На третий день нашего путешествия мы остановились за городом Лемберг (ныне Львов), и мама вышла из вагона справить нужду. Через несколько минут поезд снова начал движение, но мама все еще сидела на корточках рядом с путями.

– Мама, мама! – закричала я, протягивая ей руку, а она побежала по дорожке. Она еще не совсем окрепла и не могла схватить меня за руку, чтобы я втащила ее в вагон. Другие люди в поезде тоже протягивали руки, но у нее просто не получалось дотянуться.

– Остановите! – вопила я, а мы все отдалялись. – Подождите мою маму!

Солдаты не обращали никакого внимания на стоявшую на

обочине маму, беспомощно наблюдавшую за тем, как мы исчезаем.

– Она найдет нас, все будет в порядке, – пытались утешить меня остальные.

– Как она может нас найти, когда даже мы не знаем, куда едем? – отвечала я в отчаянии. Снова мы с мамой разделились. Я могла надеяться только на то, что каким-то образом маме удастся найти меня. Мы ехали еще три дня, пока не добрались до украинского города Черновцы, где нас расквартировали в заброшенном здании, которое когда-то было школой. Меня переполняла тревога; я едва могла поверить в то, что снова потеряла мать. Она была совсем одна, и я никак не могла помочь ей. Мне оставалось только ждать и стараться не терять надежды.

Однажды ночью в комнате зажегся свет, и солдаты разбудили нас, проходя мимо с огромными ведрами картошки.

– Еще едут! Еще! – объясняли они. Прибывали новые солдаты для сражения на фронте, и их нужно было кормить. Я устала, но, конечно, поднялась и начала помогать.

Потом я увидела, что многие женщины из лагеря отказываются.

– Почему мы должны чистить картошку? – жаловались они. – Мы уже и так тяжело наработались. Мы жертвы.

В тот момент я решила, что никогда не буду жертвой, что бы со мной ни случилось. Я бы никогда не позволила себе занять такую позицию – это было почти признанием своей абсолютной беспомощности, что нацисты и хотели внушить нам. Я не была беспомощной. Я выжила. В ту ночь я начистила больше картошки, чем за всю последующую жизнь, и в процессе все оживлялись водкой, щедро раздаваемой солдатами, которые также развлекали нас неистовыми русскими плясками.

Потом я, обессилевшая, провалилась в хмельной сон, и снилась мне только картошка.

– Оставьте меня в покое! – застонала я, почувствовав, что спустя мгновение (так мне показалось) кто-то меня уже будил. Потом я почувствовала, что меня трясут.

– Нет. Дайте поспать! – я плотнее завернулась в свое одеяло и легла на другой бок. Трясти стали сильнее.

– Ну что? – сдалась я наконец и с чувством раздражения открыла глаза. Рядом была мама.

Отставши от поезда за пределами Лемберга, мама пошла пешком по территории, которая раньше принадлежала Австрии, и на ночлег остановилась в Коломые с возвращавшейся еврейской семьей. Группе советских солдат удалось с помощью сложного языка жестов объяснить ей, что, по их мнению, поезд из

Освенцима направлялся в Черновцы, и она уже прошла часть пути. Наконец, она села на другой поезд с несколькими британскими военнопленными, которые согласились отправить ее первое за три года письмо дедушке Рудольфу и бабушке Хелен.

– Эви! – произнесла мама со слезами облегчения на глазах. Ее переполняла радость от встречи, но вместо того, чтобы обнять ее, я начала возмущаться.

– Где ты была?! – кричала я. – Как ты могла опоздать на поезд! Я так волновалась за тебя…

Я все продолжала вопить, бредя, как сумасшедшая, пока, наконец, мне не стало тяжело дышать.

Мама вела себя очень спокойно. Она только обняла меня и объяснила, что произошло.

– Даже когда я узнала, что ты в Черновцах, я была в ужасе. Я не понимала, где нахожусь, потому что не могла прочесть ни одного железнодорожного знака! К счастью, вывеска на станции Черновцы была написана на немецком, а не на украинском, иначе мы, возможно, никогда не нашли бы друг друга.

Потом я обняла маму и почувствовала, какая она все еще худая. Я обхватила ее всю своими руками.

– Эви, – сказала она, – я обещаю, что мы больше не расстанемся.

В Черновцах меня привела в восторг еще одна вещь – кинотеатр. Билетер неохотно впустил нас: мы все еще выглядели шокирующе, даже по меркам истерзанных войной людей, которые были вокруг. Зернистый желтый свет кинопроектора поглотил частицы пыли между темной аудиторией и экраном, и время будто остановилось. Перед нами говорил и танцевал император Франц-Иосиф, и был занят делами бывшей Империи, как будто мир не изменился с тех пор. Сады дворца Шенбрунн ослепляли своим великолепием, знакомым мне с детства.

Персонажи общались на богатом, незагрязненном немецком языке, что затронуло самые глубинные струны моей памяти: это был мой родной язык, и я начала говорить на нем задолго до того, как нацисты его испортили.

Затем зажегся свет, а мы все еще сидели на пышных бархатных сиденьях, от которых у меня стали чесаться ноги под неподходящей, поношенной одеждой. Я теребила свои торчавшие, как кукурузная метелка, волосы, зная, что это выдавало во мне узника концентрационного лагеря так же, как желтая звезда говорила людям о том, что я еврейка. Мама и другие женщины из Аушвица сидели рядом со мной, и когда во время финальных титров играла музыка Иоганна Штрауса, я задавала себе один вопрос: как мы вообще выбрались оттуда и оказались здесь?

Мы все еще пытались выяснить у всех, кого встречали, где находятся папа и Хайнц, и постоянно думали и говорили о них. Тем временем мы готовились к следующему этапу нашего путешествия. На этот раз мы проехали по опустошенным землям Восточной Украины до черноморского порта Одессы.

Украина сильно пострадала во время войны, за некоторые территории бои шли по несколько раз, и города сжигались как советской, так и немецкой армиями при отступлении. Эти земельные угодья были хлебной корзиной Советского Союза, а украинские хозяйства производили легендарное зерно, овощи и колбасы. Сейчас мы не видели ничего, кроме обломков, сгоревших танков и военной техники, дорог, превращенных в бесполезные колеи, воронки и траншеи. Советский Союз потерял двадцать семь миллионов человек во Второй мировой войне, и семь миллионов из них были из Украины – почти каждый пятый из населения.

Этот пустынный вид стал немного разнообразнее, когда мы подъехали к станции в Одессе и почувствовали тепло тропического солнца на наших спинах. В Одессе климат был теплый, а город приютился под густыми зелеными холмами, которые опускались в прозрачные воды Черного моря. Несмотря на то что основная инфраструктура пострадала от войны и не было водопровода, красочная цветущая листва и бодрость людей вернули нас к жизни. Я обнаружила, что Одесса – город не только природной, но и рукотворной красоты. Мы остановились в заброшенном летнем дворце, который принадлежал царям, и я восхищалась красивыми фресками на потолке и изысканными паркетными полами.

Еще больше меня удивили зубная паста и щетка, подаренные мне одним из австралийских солдат, которые временно поселились с нами на территории дворца, ожидая возвращения домой. Представьте себе: я не чистила зубы с тех пор, как мы приехали в Аушвиц, и вновь испытанные ощущения были превосходны.

Целых шесть недель я плавала в Черном море в самодельном купальнике, лежала на пляже, жадно впитывала солнечное тепло и любовалась с мамой Одессой из окна трамвая. 11 мая мне исполнилось шестнадцать лет, и у нас был небольшой праздник. Одна из девушек в нашей группе подарила мне прелестное самодельное колье из ракушек.

Посылки Красного Креста для военнопленных поступали регулярно – мы же, как евреи, ничего не получали от этой организации. Однако австралийские солдаты были дружелюбны и щедры и угощали нас шоколадом и вкусной едой. У мамы

завязалась дружба с солдатом по имени Билл, и он захотел увезти ее на свою родину в глубинке. Она заверила его, что счастлива в браке и ожидает воссоединения со своим мужем, но он произнес слова, которые охладили солнечный день: «Помните, Фрици, вы можете быть вдовой».

Об этой возможности никто из нас не мог думать. 7 мая 1945 года мы получили долгожданное известие: немцы безоговорочно капитулировали.

Гитлер покончил жизнь самоубийством неделей ранее. Война завершилась, и во дворце разразилось безудержное ликование, танцы, песни, смех и пьяные признания в любви. В этот день мы все вместе праздновали: солдаты, военнопленные, беженцы. Затем, спустя несколько дней, мы проснулись и обнаружили, что снова остались одни: австралийцы уехали ночью. Дружеские отношения на войне могут быть глубокими, но обычно они кратковременны. Нас с мамой тоже волновало будущее. С окончанием войны мы могли наконец-то надеяться на возвращение в Амстердам, но даже этот заключительный этап нашего путешествия оказался сложным.

Когда мама пошла регистрироваться для возвращения в Нидерланды, один голландец еврейского происхождения сказал: «Но ведь вы не голландцы, а австрийцы. У нас достаточно своих евреев, и мы не можем забрать вас обратно в Голландию».

Мы обнаружили, что конец войны не означал конца предрассудкам – совсем нет.

Мама не соглашалась на возвращение в Австрию. Наконец, нас добавили в список пассажиров новозеландского десантного корабля под названием «HMS Monowai», который был пришвартован в Одессе и должен был доставить нас в Марсель.

20 мая мы сели на борт корабля перед строем офицеров Военно-морских сил, одетых в белую форму, и будто вошли в другой мир. Там были накрахмаленные простыни, льняные скатерти, фарфоровые чашки и разнообразная еда, которую мы могли есть. Вид аккуратно обставленной столовой вызвал у мамы поток слез. На второй день нашего пребывания на борту капитан объявил по громкоговорителю, чтобы люди не откладывали еду в своих каютах: ее было много, и каждый мог поесть, когда хотел. После всего пережитого ощущение того, что к нам относятся с уважением, ошеломляло.

Мы проплыли через пролив Босфор, мимо Стамбула и вошли в Средиземное море – измотанная группа выживших лагерных узников, которые все еще выглядели изможденными в изодранной одежде. Женщины заняли каюты на верхних палубах, но иногда мы видели мужчин, которые спали в гамаках ниже.

Один или два раза я столкнулась с Отто Франком, но он выглядел замкнутым, и его мысли, очевидно, были где-то далеко.

Через неделю мы приехали во Францию, как раз к празднику и ликующим звукам фанфар. Когда мы сошли с корабля, я помахала аплодировавшим на набережной людям, но когда за нами последовала группа немецких заключенных, которых тоже отправляли домой, французы отвернулись и замолчали. К моему большому раздражению, мама осталась, чтобы помочь с процессом регистрации, а на приветственном банкете я еще раз жадно наелась. Когда, в конце концов, мама появилась, я уже немного опьянела и кричала на нее: «Где ты была, хлопотунья? Ты пропустила весь обед!»

На следующий день мы сели на поезд, который провез нас через Францию, и во многих городах, через которые мы проезжали, я видела чучела Гитлера на виселицах. Когда мы останавливались на вокзалах, простые люди совали в окно хлеб и вино – что, как мне казалось, было замечательно, пока я не поняла, что подаяния предназначались для возвращавшихся французских солдат, а не для нас.

В Европе царил хаос, люди перемещались в количествах, не виданных ранее миру. Двадцать миллионов человек находились в пути, пытаясь вернуться домой. В результате возникала путаница, а зачастую и полное нарушение правопорядка. Это представляется невероятной цифрой, если учитывать, что в нее входили миллионы подневольных работников, а также огромное количество людей, бежавших с разрушенных территорий Восточного фронта, этнические немцы, поспешно удалявшиеся от наступающей Советской армии в Польше, Чехии, и Венгрии, и около четырех миллионов немцев, которые стали беженцами в своей собственной стране. И это без учета сил союзников и огромного количества сдавшихся немецких солдат.

Нам удалось проехать до Южной Голландии, а затем мы ждали, пока союзники построят понтонные мосты через реки, чтобы мы могли проехать последние мили по дороге. Через окно автобуса я могла смотреть на поля тюльпанов, которые когда-то любила, а также на ветряные мельницы и фермы страны, которую я считала домом.

Наконец мы приехали на окраину Амстердама и остановились около гигантского здания Центрального вокзала, построенного в XIX веке. Я спустилась по ступенькам автобуса и впервые за многие годы ступила на свободную голландскую землю, дрожа от волнения, но также испытывая потерянность от значительности момента. Мы были дома, что бы это ни значило, но не было ни встречавших друзей, ни улыбавшихся лиц или

духовых оркестров, как во Франции. А самое главное – не было ни папы, ни Хайнца.

Группа городских чиновников сидела за деревянными столами и записывала сведения о нас, но они не интересовались, откуда мы прибыли, куда нам нужно ехать сейчас или что будет с нашим будущим. С того момента, когда нацисты схватили нас, каждый момент нашей жизни контролировался, но теперь, похоже, некому было повернуть нас в нужном направлении.

Я была окончательно освобождена – и напугана.

«Именно сейчас начинается моя жизнь, – промелькнула у меня в голове мысль, – но я понятия не имею, что делать дальше».

– Куда нам надо идти? – спросила я маму.

Город выглядел серым и мрачным, даже в разгар лета, и люди спешно проходили мимо с опущенными головами.

Мама пожала плечами, нахмурившись.

– Давай попробуем к Розенбаумам, – сказала она, вспомнив про наших довоенных друзей.

Мы взяли нашу маленькую сумку и медленно пошли через весь город. Здания и каналы выглядели так же, но что-то существенное в атмосфере Амстердама изменилось. В последние годы войны жизнь голландцев была тяжелой, и большинство людей не интересовались проблемами немногочисленных возвращавшихся еврейских беженцев. Тогда об ужасах концентрационных лагерей и Холокоста знали еще далеко не все. Отношение некоторых людей можно резюмировать так: «Мы предоставили вам приют и заботились о вас в 1930-е годы. Но что вы делаете здесь сейчас? Что вы еще от нас хотите?»

В 1944 году нацисты объявили, что голландцы в возрасте от шестнадцати до сорока лет будут депортированы в Германию для принудительного труда. Это вызвало массовое возмущение и резкое увеличение числа простых людей, которые поддержали Сопротивление. В общей сложности треть всех голландцев, почти 500 000 человек, в конечном итоге трудились в Германии либо на принудительной, либо на добровольной работе.

Затем, зимой 1944 года, Амстердам попал во власть «голодной зимы». Южные Нидерланды были освобождены союзниками осенью 1944 года, но Амстердам и остальная часть страны оставались под немецким контролем.

В сентябре 1944 года голландское правительство в изгнании, базировавшееся в Лондоне, призвало к железнодорожной забастовке, чтобы остановить транспорт немецких войск и облегчить авиационную высадку союзников вблизи Арнема. Более 30 000 железнодорожников приняли участие в забастовке, но немцы продолжали управлять своими собственными военными

эшелонами, и высадки союзников оканчивались неудачами. Из-за забастовки немцы решили наказать голландцев и прекратили поставки продовольствия. Запрет длился всего шесть недель, но даже когда он был снят, поставки не могли вернуться к норме, так как железнодорожная сеть оставалась поврежденной. Также прекратилась транспортировка угля с освобожденного юга страны, были отключены газ и электричество.

К зиме ситуация стала критической: люди рубили деревья на дрова и отправлялись в «голодные экспедиции» в деревни, где находили лишь цветочные луковицы. Более 20 000 человек умерли от голода.

Проходя по Амстердаму в то первое утро, мы ловили измученные, тяжелые взгляды мимо проходивших людей, поэтому, когда мы с мамой добрались до дома Розенбаумов, то постучали в парадную дверь в некотором замешательстве. Мы не знали, живут ли они еще там и будут ли рады нас видеть.

К счастью, нам можно было не волноваться. Мартин Розенбаум открыл дверь и с сияющей улыбкой воскликнул:

– Фрици Герингер!

Была еще одна причина, по которой Мартин выглядел столь счастливым в тот день. Несмотря на все страдания, принесенные войной, у Розенбаумов появилась одна замечательная новость. После многих лет неудачных попыток зачать жена Мартина Рози только что родила своего первого ребенка – маленького мальчика по имени Джон, которому было всего три дня. До войны Розенбаумы были заядлыми курильщиками, так что, возможно, годы жесткой аскезы пошли им на пользу. Рози все еще была в больнице, и мы с радостью согласились остаться на некоторое время, чтобы помочь с ребенком после выписки.

Мама узнала, что в отличие от многих возвращавшихся евреев мы можем переехать в нашу старую квартиру на Мерведеплейн. Благодаря папиной предусмотрительности это помещение все еще было зарегистрировано на имя женщины-христианки, которая формально являлась хозяйкой и квартиры, и мебели. Хотя сначала мы были слишком напуганы всем происшедшим, чтобы вернуться туда вдвоем, и были очень благодарны Розенбаумам за их любезное предложение пожить у них. (Кстати, я обожала их чудесного мальчика, который потом вырос и стал прекрасным человеком и надежным другом.)

Мама сразу же увидела, что даже Розенбаумам не хватает еды и топлива, и она захотела узнать, сохранились ли наши старые спрятанные запасы. После того как мы поселились у наших друзей, мы отправились на поиски Рейтсма – семьи, которая укрывала нас, когда нагрянули нацисты. Как и Розенбаумы, они

все еще жили в Амстердаме и были рады видеть нас. Госпоже Рейтсма было предложено сделать эскизы почтовых марок в память об освобождении от нацистов, а их сын Флорис поступил в Амстердамский университет. Они рассказали, что от наших продовольственных запасов ничего не осталось: они съели их сами, чтобы пережить военное время. Не то чтобы еда была очень вкусная. «Даже шоколад пропах нафталином, – говорила миссис Рейтсма, – но мы не обращали внимания».

«Я просто счастлива, что кто-то смог воспользоваться этими продуктами», – ответила мама.

16
Снова в Амстердаме

Через несколько дней после нашего возвращения в Амстердам в дверь к Розенбаумам постучали. Я открыла и увидела на пороге Отто Франка. Он выглядел спокойным, но все таким же худым, как во время нашей последней встречи на борту одесского корабля. Я впустила его и проводила в комнату, где сидела мама. Она улыбнулась, но он явно не узнал ее.

– Мы встречались раньше, не так ли? – спросила она. – В поезде.

Он нахмурил брови на мгновение, как будто пытался что-то достать из глубины своей памяти. Затем покачал головой.

– Извините, я не помню, – сказал он. – Я узнал ваше имя в списке выживших. Я пытаюсь выяснить, что случилось с Марго и Анной.

Отто сел рядом с мамой, и они долго разговаривали, пытаясь укрепить уверенность друг друга в том, что мы воссоединимся с нашими семьями.

Через несколько недель мы поняли, что пришло время переезжать домой, даже без папы и Хайнца, и мама забрала ключи от нашей квартиры. Когда я оказалась на площади Мерведеплейн и поднялась по ступенькам в квартиру, меня поразило чувство возвращения в прошлое. Мама вставила ключ в замок и открыла дверь: перед нами предстала гостиная, со всей нашей мебелью, но безжизненная. Стулья стояли в том же положении, как будто мы только что встали, и те же шторы висели на окнах, ожидая, что вот-вот кто-то придет домой и задвинет их.

Я протянула руку и дотронулась до отметки на стене спальни, где папа отметил мой рост. Снаружи доносились голоса игравших детей.

В ту ночь я услышала, как подъехала машина и хлопнули двери, и я была уверена, что это папа и Хайнц вернулись домой. Но голоса стихли во тьме, и у меня появилось чувство странного головокружения, будто все перевернулось с ног на голову.

В конце концов, я заснула с мечтами снова увидеть отца и брата, и впервые после отъезда из Аушвица мне снились ужасы лагерей. Во сне передо мной появилась бездонная черная дыра, которая росла и росла, пока не поглотила весь мир – и я разбудила маму лихорадочным криком.

В последующие недели жизнь приняла форму нормального

существования, хотя все в корне изменилось.

Мы с мамой делали все, что могли, для выяснения судьбы папы и Хайнца, но ситуация была хаотичной. Все искали свои семьи. Мама даже разместила в газете объявление в надежде получить хоть какую-то информацию, но никто не откликнулся.

Как главе семьи, маме нужно было содержать нас и платить за аренду квартиры в Мерведеплейн. В течение первых нескольких месяцев после нашего возвращения моя мать научилась делать ремни из кожи, которая осталась от отцовского бизнеса. Я часто возвращалась домой и видела разложенные по всей квартире куски кожи, готовые к сшиванию. В начале заказы шли хорошо, и мама даже подумывала об экспорте, но в итоге продавать стало труднее – заработать на жизнь не получалось. Мама начала искать другое дело. Раньше она уже продемонстрировала свою удивительную способность к адаптации и жизнеспособность и сделала это снова. Она согласилась работать секретарем у Мартина Розенбаума на его фабрике галстуков.

Так же, как ей когда-то пришлось учиться готовить, штопать и делать ремни, теперь ей нужно было научиться печатать – и это тоже оказалось трудным искусством.

– Эви, – вздыхала она, приходя вечером домой. – Когда я только наловчусь в этом?

Ее сумка была набита пачками бумаги с сотнями опечаток.

– Мне нельзя показать им, насколько плохо у меня получается, – говорила она и клялась, что будет практиковаться и совершенствоваться.

Теперь я подозреваю, что ее коллеги, скорее всего, имели некоторое представление о ее изначально довольно низком уровне производительности.

Я тоже занялась новым делом – созданием цветочных узоров на маленьких деревянных брошках. В какой-то момент у меня даже был заказ на 600 штук.

В дополнение к маминой зарплате мы взяли двух женщин-постояльцев, которые тоже были еврейскими беженцами. Одной из них была Труда Хайнеманн, из издательской династии.

Жить в нашей квартире с двумя незнакомыми женщинами было странно, но опять же, меня не интересовало возобновление нормальной жизни. Несмотря на это мама решительно не позволяла мне сидеть и хандрить. Когда мы еще жили у Розенбаумов, она написала директору Амстердамского лицея и рассказала об обстоятельствах моей жизни. Хотя я пропустила значительный период в учебе, мама попросила, чтобы мне разрешили вернуться и закончить школу – это было необходимо

для моего будущего. Директор, доктор Ганнинг, согласился. Мама сказала, что я начну заниматься в конце августа.

Помимо наших усилий по обустройству повседневной жизни, значительную часть времени занимали отчаянные попытки узнать, что случилось с папой и Хайнцем. Все больше и больше людей возвращались из разных частей Европы, и весь город был облеплен объявлениями с просьбой предоставить информацию о пропавших близких. Мама тревожно просматривала списки Красного Креста, но ничего не находила.

Отто Франк часто навещал нас в то первое лето. 25 июля он узнал о гибели Марго и Анны. Он нашел двух сестер, которые были с ними в лагере, и они подтвердили худшее: девочки умерли в Берген-Бельзене от тифа. Отто был совершенно опустошен этим известием – в тот момент ему казалось, что жизнь кончена. Мы все горько плакали, и после того, как Отто ушел от нас в тот вечер, я свернулась на маминых коленях, и мы долго сидели вместе.

– По крайней мере, Эви, мы есть друг у друга, – произнесла мама, поглаживая мою руку, – а у этого несчастного никого нет.

Отто продолжал навещать нас для взаимной поддержки. В то время, в один из дней, я впервые услышала о дневнике Анны. Отто пришел с небольшим сверточком из коричневой бумаги, стянутым веревкой. Он почти дрожал от переполнявших его эмоций, когда рассказывал нам о том, что Мип Гис, одна из тех, кто помогал скрываться семье Франков, нашла на чердаке дневник после их ареста и сохранила его. Когда подтвердилось, что Марго и Анна умерли, она отдала дневник Отто. Он начал читать его сразу, но мог прочесть лишь несколько страниц за раз.

Затем, с большим чувством, Отто открыл сверток и начал читать нам некоторые выдержки. Он читал медленно, но дрожал и не мог сдержать рыданий. Он был поражен той дочерью, которую обнаружил на страницах дневника, – Анной, высказывавшей глубокие мысли о мире. Такой Анны он не знал.

Мы с мамой тоже были удивлены. В тот момент никто из нас не мог даже и мечтать о том, что дневник будет опубликован – не говоря уже о том, что он станет исторически значимым произведением литературы, которое изменит мир.

8 августа 1945 года мы получили страшное письмо от Красного Креста. По всей Европе эти письма опускались в почтовые ящики, доставляя людям несколько холодных, официальных строк. Люди читали их со смесью ужаса и отчаяния, которые потом сменялись потерей веры и всепоглощающим горем.

Я почти ничего не помню о том дне, когда пришло письмо.

Это все еще так болезненно отзывается во мне, что сознание блокирует воспоминания, и в моей памяти практически ничего нет.

Наше письмо подтвердило суровым, почти медицинским языком то, что и папа, и Хайнц погибли. Их увели из Аушвица во время «марша смерти», и 25 января 1945 года они прибыли в австрийский концентрационный лагерь Маутхаузен.

Папу отобрали для работы, но 7 марта, в 6.20 утра, он скончался. В письме говорилось, что Хайнц умер от истощения где-то между апрелем и 10 мая 1945 года. Мама сидела за кухонным столом несколько часов после прочтения, просто держа письмо в руках. Я помню, что кругами ходила по квартире в оцепенении, не в силах поверить.

В последующие годы мы еще получали письма от Красного Креста, в которых содержалась противоречивая информация и даже разные даты рождения Хайнца. Мама продолжала преследовать Красный Крест до 1950-х годов, пытаясь выяснить правду, но мы так и не получили четкого ответа и не встретили никого, кто был в Маутхаузене и мог бы что-то рассказать нам. Теперь я должна признать, что мы уже никогда не узнаем, что с ними на самом деле произошло.

Это так знакомо: звук открывающегося почтового ящика, скрип проталкиваемой бумаги, мягкий стук конверта, ударяющегося о коврик. Затем лист хрустящей белой бумаги в руке, официальная печать сверху и несколько простых абзацев, излагающих вашу участь. Даже сегодня я не могу описать чувство, подобное внезапному приливу холодного яда, которое испытываешь, когда осознаешь, что самое обычное событие – получение письма – знаменует крушение твоего мира.

Незадолго до Рождества 1945 года мама написала своей матери, раскрывая ей свои чувства (чего никогда не позволяла себе в общении со мной), и уже тогда она черпала некоторое утешение в дружбе с Отто Франком.

«Господин Франк говорит, что предаваясь грусти, мы проявляем эгоизм. Мы сожалеем о себе, потому что нам не хватает чего-то жизненно важного, но мы не можем помочь тем, кого нам не хватает, потому что они больше не чувствуют боли…

Я не могу с ним согласиться, ведь моя самая большая боль заключается в том, что их жизнь обессмыслена, прервана и не завершена…

Что касается Хайнца, я всегда думаю, что, возможно, он ослеп бы. Мы всегда ужасно беспокоились по поводу его зрения – но он был избавлен от этой страшной доли. Поэтому мы не должны жаловаться. Мы не знаем, какие горести может принести жизнь…

…Пусть я испорчу Эви, но мне бы хотелось, чтобы она забыла пережитые страдания, а еще больше, чтобы она не чувствовала нехватку чего-либо. Я не хочу, чтобы она думала: “Папочка разрешил бы мне это сделать. А вот это я могла бы обсудить с Хайнцем”.

Мне хотелось бы заменить ей двух близких людей, и поэтому я хочу заработать достаточно денег для ее учебы и всего, что ей захочется, как если бы ее отец был еще жив…

Я надеюсь, что это не испортит ее легкий характер, и надеюсь, что я не делаю ничего плохого…»

Одно конкретное дело мы с мамой могли выполнить вместе – и это приблизило бы нас к папе и Хайнцу. Я вспомнила, что по дороге в Аушвиц Хайнц рассказал мне, что спрятал свои картины под половицей в убежище. Я уговорила маму поехать со мной в дом Герады Кэтти-Вальда, чтобы узнать, там ли они еще.

Было странно направляться из Амстердама по тому же самому маршруту, по которому мы ездили на свидания к отцу и брату полтора года назад. Мне хотелось ущипнуть себя, чтобы поверить в то, что они больше нас не встретят.

Мы с мамой нервничали из-за очередного вынужденного свидания с Кэтти-Вальда, но когда постучали в парадную дверь, то обнаружили, что она съехала и в доме жила молодая пара. Когда я объяснила ситуацию, они с недоверием поглядели на нас. Мужчина протянул руку, останавливая меня, и сказал:

– Послушайте, мы не хотели бы впутываться в это дело.

– Впустите нас, пожалуйста, – попросила я. – Просто дайте нам посмотреть…

Но этот человек был непреклонен, и мама начала тянуть меня за рукав, уводя. Мы отошли на несколько шагов, и вдруг она повернулась и выпалила:

– Я знаю, это звучит подозрительно, но картины – это все, что осталось от моего сына, и для моей дочери очень важно попытаться найти их.

Я увидела, что женщину особенно затронули мамины слова, и мужчина неохотно отошел в сторону и впустил нас в дом. Мы поднялись по лестнице и вошли в комнату, где прятались папа с Хайнцем. Я села на пол под мансардным окном и провела пальцами по деревянной доске, которую мне описывал Хайнц. Я представляла, как он прикасался к ней, и подумала: «О, Хайнц, почему же ты не можешь быть здесь сейчас и забрать свои картины?»

Я не была уверена, что найду их, но когда мы подняли доски и заглянули под них, мы увидели несколько плоских холстов. Я опустила руку и почувствовала одну картину, затем еще одну, и

еще. Дрожащими руками мама взяла их, и мы увидели плоды потрясающего воображения и таланта Хайнца.

– Ты только посмотри на эту лодку, – произнесла мама. Лодка проплывала по искрящемуся на солнце заливу, словно у человека, который изобразил это, не было никаких забот в жизни. Мы нашли двадцать картин Хайнца и десять картин папы нетронутыми. Одна картина особенно растрогала меня, и на глазах появились слезы. Хайнц нарисовал себя за письменным столом; настенный календарь показывал одиннадцатое число – день моего рождения. Мне было больно осознавать, что и он думал обо мне в то время, как я думала о нем. Мне отчаянно хотелось хотя бы еще раз увидеть брата и услышать его воодушевляющие истории и смех.

17
Новая жизнь

Несмотря на лучшие мамины намерения, я была столь измучена и потеряна, что действительно обвиняла ее в том, что она неправильно меня воспитала – и часто набрасывалась на нее.

> «5 января 1946 года.
>
> Флер ушла. Почему она сделала это? Разве она не знает, что я не могу без нее.
>
> Пока я читала, было не так уж плохо. Но я больше не могу читать. Эта книга мне не подходит. Интересно, Флер знала об этом? Я всегда сначала буду читать книгу, прежде чем давать ее своему ребенку. Я так несчастна и не знаю почему. Хочется покончить с собой.
>
> Я не уважаю себя, а презираю. Флер меня не понимает.
>
> Папа бы меня понял. Я не знаю почему, но чувствую, что папочка и Хайнц все еще живы. Они вернутся и помогут мне. Я не понимаю, почему Флер не воспитывает меня должным образом. Она знает, что я хочу. Если человек достаточно взрослый, он может делать то, что хочет. Я все больше и больше вижу, насколько Флер плохо ко мне относится. Она слишком хороша для этого. Если бы я была мальчиком, кто знает, что бы я сделала со своей жизнью?
>
> Я очень, очень несчастна, я в отчаянии. Я испытываю отвращение ко всему и к самой себе тоже. Я люблю Ваз Диаса и Чоппов. Почему Флер не помогает мне любить больше? Ревнует? Чушь!»

Из этого письма к самой себе видно, каково было мое состояние в январе 1946 года. Флер – моя мать, так мы стали называть ее в Брюсселе. Я не могу вспомнить книгу, против которой возражала и куда ушла мама (вероятно, в магазин – конечно, ничего более драматичного). Я была невероятно подавленной и несчастной девочкой-подростком и твердо верила в то, что мой отец и Хайнц все еще живы.

Иногда люди неожиданно возвращались после того, как их считали пропавшими без вести в течение многих лет или даже имели сообщения об их смерти, поэтому мое убеждение не было

безосновательным. Затем возникла путаница с письмом от Красного Креста, в котором они указали неправильный год рождения Хайнца. Это только добавило мне уверенности в том, что здесь кроется ужасная ошибка.

Много лет после этого я каждый раз вскакивала при звуке останавливавшегося на улице автомобиля, полагая, что это могли приехать отец с братом. Казалось немыслимым, что я, молодая девушка, выжила, а мой отец – стойкий, полный сил мужчина, на которого я всегда равнялась, не выжил. Я осуждала себя за ту весть, которую передала ему в нашу последнюю встречу в Аушвице: будто маму отравили газом. Я была убеждена, что у него пропало желание жить.

Полагаю, что многим девочкам-подросткам знакомы те чувства, которые одолевали меня по отношению к матери. Она была для меня самым близким человеком в мире и человеком, которым я иногда возмущалась больше всего. В основе моей враждебности к ней лежало чувство того, что мы все как-то неправильно разъединились. Я была папиной дочкой, а Хайнц – маминым сыном. И все же мы остались вместе – мать и дочь.

(Если читателю интересно, Ваз Диас – это мальчик, с которым я встречалась несколько раз. Не помню, чтобы я была влюблена, мне даже кажется, что нет – но, очевидно, в тот момент я испытывала сильные чувства к нему!)

Это письмо много лет пролежало под грудой моих бумаг и фотографий в моей лондонской квартире. Когда я обнаружила его и перечитала, меня больше всего удивили слова о самоубийстве. Я отчетливо помню чувства отвращения к себе, никчемности и отчаяния, но я бы не сказала, что подумывала о суициде.

В нынешнее время в ходе своей работы я часто встречаю людей, попавших в неблагосклонные обстоятельства, и они говорят мне, что либо помышляют о самоубийстве, либо уже пытались покончить с собой. Я обычно стараюсь донести до них с помощью своей истории, что всегда есть надежда и что жизненные обстоятельства непрерывно меняются – иногда к лучшему, иногда к худшему. Ничто не остается неизменным. Теперь я понимаю, что действительно думала о самоубийстве, и могу честно сказать, что эти чувства проходят.

Восстановление после травматических событий и потерь происходит медленно и постепенно, и в тяжелый период вы вряд ли сможете ощутить черепашью скорость, с которой возвращаетесь к нормальной жизни. Конечно, бывают дни, когда я все еще грущу, переживаю и рефлексирую, но я могу сказать любому, кто находится в глубокой депрессии или отчаянии, что со временем все можно преодолеть и двигаться дальше по жизни.

Когда я читала это письмо, то не могла поверить в то, что мои глубокие страдания не были очевидны окружающим, но из другой части переписки видно, что даже мама понятия не имела о моем удрученном состоянии. Сразу после своего дня рождения, в феврале того же года (всего через две недели после моего отчаянного письма), она написала моим бабушке и дедушке, что я сделала ей в подарок деревянное блюдо, разрисовала его цветами и написала сверху «Мои цветы».

> «Вы пишете, как я, должно быть, довольна Евой. Она действительно настолько добрая, смелая и любящая. Как она постаралась, чтобы порадовать меня в мой день рождения…»

В день моего пятидесятилетия, в 1979 году, мама напечатала четырехстраничную дань мне, оглядываясь на нашу жизнь, и в одном отрывке упомянула, как хорошо я адаптировалась к жизни в Амстердаме.

> «Ты вернулась в школу и, так как не прекращала учиться те два года, пока мы скрывались, смогла хорошо адаптироваться в лицее. Но ты не чувствовала себя счастливой, будучи более зрелой, чем другие ученики, из-за всего пережитого.
>
> Тем не менее тебе повезло встретить давнюю подругу Летти. Она вернулась из Терезиенштадта с матерью, а ее отец и брат [Герман, мой первый “парень”] умерли. У нее были те же проблемы, что и у тебя. Со временем вы подружились с другими девочками и мальчиками, вас приглашали на вечеринки, вы стали заниматься плаванием и вести нормальную жизнь.
>
> Думаю, я сделала все возможное, чтобы быть тебе одновременно и матерью, и отцом, и братом».

Меня глубоко тронуло последнее предложение, где моя мать упоминает то, что наверняка было огромным испытанием для нее. Да, она должна была заменять мне все. Она должна была теперь принимать решения вместо моего отца и каким-то образом стараться сохранять позитивный настрой перед лицом ее собственного отчаяния, а также заботиться о своей беспокойной дочери и уговаривать ее вести достойную жизнь.

Но я не могу поверить в то, что она действительно верила в мое счастье и хороший настрой. Я действительно ходила кататься на лодках и гуляла на вечеринках, но только потому, что она меня заставляла. Если бы меня оставили на произвол судьбы, я

даже не вылезла бы из кровати. Ниже мама добавляет:

«Ты вела напряженную жизнь, но я думаю, она тебе нравилась». Это было совершенно не так.

Я неохотно ходила в Амстердамский лицей, чувствуя себя намного старше других учеников. До войны я часто ощущала себя слишком маленькой для своего возраста, но теперь меня отягощали ужасные переживания, которые, как я полагала, никто не может понять.

Некоторые из моих старых друзей и знакомых вернулись в Амстердам, и иногда я наслаждалась общением с Ниной Чопп, которую мы встретили в Вестерборке и которая поддерживала нас в Биркенау. Нина теперь жила со своей сестрой в городе Хилверсюм, и они воспитывали маленькую дочку ее брата – Рушу. Брат Нины и его жена были депортированы и погибли в лагере.

Мы с мамой очень интересовались жизнью этого ребенка, а также еще одним маленьким мальчиком – Робби. Он был сыном женщины, которая успела спрятать детей до своего ареста. Мы даже написали в Англию своим родным с просьбой прислать детскую одежду.

Мы узнали, что мамина сестра Минни, спасшая нам жизнь в Биркенау, тоже выжила, однако ее муж погиб. После освобождения Минни ненадолго вернулась в Прагу, а затем заехала к нам на пути в Палестину с двумя сыновьями, которые уже там жили. Мы поддерживали связь с Минни до конца ее жизни, омраченной еще одной трагедией: ее младший сын Стивен был убит фугасной миной в войне за независимость Израиля в 1948 году.

Правда заключалась в том, что жизнь у всех, кто выжил, была тяжелой.

Эллен, девушка, которая так очаровала когда-то Хайнца, вернулась в Мерведеплейн, и мы были рады ее видеть. Однако военные испытания оказали на нее слишком сильное воздействие, и она постепенно сошла с ума. Иногда она приходила и спрашивала меня с безучастным видом: «А где Хайнц? Я не могу понять, где он». В конечном счете родные вынуждены были положить Эллен в психиатрическую больницу, где она осталась до конца жизни. Я навестила ее один раз, но она меня не узнала.

Даже те, кого не депортировали, например Розенбаумы, испытывали душевные страдания. Мартин Розенбаум сумел скрыться и пережил оккупацию физически невредимым. Однако с годами он становился все более беспокойным. Он был настолько напуган угрозой захвата и преследований, что стал слишком заботливым отцом и боялся разрешить Яну самому перейти дорогу. В конце концов, он тоже попал в больницу, и это был

очень печальный финал жизни одного из наших самых дорогих и преданных друзей.

Все мои новые друзья были евреями. Открыто мы никогда не выражали чувства солидарности, но инстинктивно стремились держаться вместе. Тем не менее я всегда чувствовала фальшь, улыбаясь и разговаривая с ними, потому что мне казалось, будто бы стеклянная стена отделяет меня от остального мира.

Был только один человек, которому я доверяла свои переживания: мой десятилетний двоюродный брат Том. Нам было очень трудно организовать поездку в Великобританию сразу же после войны, отчасти потому, что Европа все еще находилась в состоянии хаоса, а отчасти потому, что мы по факту являлись австрийцами, а значит «врагами». Бабушка Хелен пыталась получить разрешение на поездку к нам в Амстердам, но для этого требовалось много писем и две рекомендации от граждан Нидерландов. Мама подала заявку на въезд в Англию, но сначала нам отказали, прислав необычайное письмо из Министерства внутренних дел, написанное от руки на куске оторванной бумаги.

В нем говорилось, что, несмотря на просьбу госсекретаря сочувственно отнестись к нашему случаю, заявление на визу было отклонено. Могу только предположить, что, помимо других проблем, в Англии в 1945 году явно не хватало канцелярских товаров.

Тем не менее мы, как могли, проявляли настойчивость, и мама организовала для нас поездку на корабле в Северную Англию, чтобы мы воссоединились с оставшейся семьей.

Тому было всего три года, когда они уехали из Вены, а вырос он в городе Дарвен, графство Ланкашир, читая мои письма о родителях и о том, что Эви вытворяла со своим старшим братом Хайнцем. Затем на два ужасных года переписка прекратилась, и мы исчезли из поля зрения.

Все ожидали худшего, пока в один день не пришло письмо от мамы, которое отправил британский солдат, встреченный ею в поезде.

«Мы были напуганы до смерти, – рассказывал Том, – но когда получили письмо от Фрици, все разразились слезами и бросились обниматься, а затем еще больше плакали от облегчения, что она и Ева были в безопасности».

Было невероятно снова видеть бабушку с дедушкой. Долгое время они существовали практически как плод моего воображения. Могу утверждать, что война их тоже изменила. Они больше не были обеспеченными австрийцами среднего класса, жившими в городе, который они хорошо знали. Дедушка больше не посещал своих друзей в таверне каждое воскресенье, а бабушку

больше не ругала их горничная Хильда. Вместо этого они приехали в чужую страну в качестве несчастных беженцев, не умея сказать ни слова по-английски, и поселились в небольшой трехкомнатной квартире в промышленном городе на севере.

Моя бабушка хорошо адаптировалась. Вскоре она выучила английский и каждый день читала газету «Daily Express» от корки до корки. Она также вела домашнее хозяйство, готовила на всю семью и даже открыла свой собственный швейный бизнес, чтобы подзаработать денег. Это было совершенно удивительно, учитывая, что в Вене она не ударяла палец о палец и всецело полагалась на Хильду.

Думаю, что дедушка адаптировался намного сложнее. Он выучил лишь пару английских слов и всегда слушал радиопередачи BBC на немецком языке. Со временем он смог применить на деле свои давние музыкальные способности, играя на фортепьяно в различных пабах Дарвена и заводя новых друзей, которые покупали ему пинту любимого пива. Он любил эти вечера, потому что находился в центре внимания, и я рада, что он мог гордиться собой и снова стать тем, к кому другие люди в обществе относились с почтением.

Мы жили в Дарвене довольно долго, и я делила маленькую спальню со своим десятилетним братом Томом. Мое пребывание там, возможно, оставило более неизгладимый след в его душе, чем в моей. Он живо вспоминает ночь, когда я не давала ему спать до рассвета, рассказывая о войне и об Аушвице.

Я рассказывала ему о голоде, холоде и страхе смерти. Я рассказывала о грязи, болезнях и жестокости эсэсовцев. Я говорила всю ночь напролет. Я показала ему татуировку на моей руке и рассказала, при каких обстоятельствах мне ее сделали, и даже рассказала ему о веревках, которые мы должны были плести, и как я боялась не выполнить норму.

Какое тяжкое бремя возложила я на маленького мальчика! Я ни с кем никогда не говорила об этом, но ему, возможно, открылась, потому что он был ребенком. Кажется, я почувствовала, что он слишком мал, чтобы вникнуть в смысл того, о чем я рассказываю. Этот эпизод доказывает, что я все еще оставалась физически и эмоционально хрупкой, и теперь мне понятно, что это была глубокая депрессия. До середины 1946 года меня держали на строгой диете, допускавшей только мягкую пищу, например макароны и рис, чтобы позволить моей истощенной пищеварительной системе восстановиться. Мои десны кровоточили, а тело было слабым и анемичным. Ночью меня до сих пор мучили кошмары о лагерях; днем я часто плакала и кричала на маму в приступах ярости.

Возможно, маме приходилось отстраняться от этих эмоций, чтобы удерживать от распада то, что осталось от нашей семьи, особенно когда мы вернулись в Амстердам. Если бы она поддалась собственной печали и чувствам невосполнимых потерь, я уверена, что мы бы рухнули в темную пропасть, из которой, возможно, никогда не выбрались бы. Очевидно, мы неправильно понимали друг друга. В то время я удивлялась, почему она выглядит такой веселой. Иногда я приходила домой и видела, что она продолжает делать ремни, насвистывая и напевая. На это я жаловалась в письмах моим родным в Англию.

«Я не довольна Флер. Она одержима работой, но не работой по дому – а изготовлением ремней. Сейчас она режет, свистит и поет – это сводит меня с ума. Вы же знаете, она никогда не была музыкальной».

В дополнение к этому суровому суждению я добавляла, что моей матери также не хватает способности любить. «Хуже всего то, что Флер недостаточно нежная и любящая», – жаловалась я им.

«Она говорит, что ты, бабушка Хелен, тоже не была такой – и что мне это не нужно. Но это совсем, совсем неверно. Мне это очень нужно. Мне нужно много любви. Я очень эмоционально зависимая и любвеобильная девушка».

Мама, должно быть, читала мое письмо к бабушке, потому что она в то время тоже написала им:

«Что ты скажешь по поводу ее слов обо мне? Это не так уж и плохо, но она хочет сидеть на коленях и обниматься, а я не могу этого делать. Мне нужно идти на работу. Очевидно, ей нужно много любви и внимания… На днях я сидела, делая ремни, а Ева играла что-то на граммофоне, и я – как всегда – вспоминала прошлое. Я вдруг почувствовала, что моя предыдущая жизнь была просто сном – и что я всегда жила только с Евой и что мне только приснилось, что у меня были муж и сын. А потом я в отчаянии плакала, потому что мои воспоминания уже не реальны. Я просто не могу поверить, что у меня была другая жизнь».

Я понятия не имела, что на самом деле чувствовала мама. Мне так грустно осознавать это сейчас, когда уже слишком поздно: мы обе были так несчастны, что не могли поделиться нашими чувствами и утешить друг друга.

Тихий, сдержанный и вдумчивый, Отто Франк играл большую роль в нашей жизни. У него было над чем размышлять: после долгой борьбы в поисках издателя он опубликовал «Дневник» Анны Франк в Голландии в 1946 году. Вскоре после этого жизнь Отто была поглощена организацией иностранных публикаций и переводов – и, как только вышло американское издание,

наблюдением за международным восприятием.

Так что я всегда буду благодарна ему за то, что он заботился о моем будущем, когда все еще не понимал, что его собственные дочери никогда не вернутся домой. Как человек, потерявший ребенка, моя мать могла сидеть с ним, спрашивая совета. Часто этот совет включал в себя то, как она могла поддержать меня и помочь мне с моими проблемами.

Как и всегда, Отто сделал все возможное, чтобы помочь мне. Он организовал для меня поездку в Париж со своим младшим братом Гербертом, а затем с ним же в Лондон на Всемирную конференцию прогрессивного иудаизма.

Лондон стал для меня откровением. Мы все смотрели на него как на маяк свободы и возможностей, но когда я приехала, то обнаружила разрушенный войной город с разбомбленными зданиями, урезанными продовольственными пайками и малой долей утонченности в сравнении, например, с Веной. Тем не менее я любила лондонское чувство растворенности в толпе, жизнерадостный непокоренный дух его жителей и почти слышимый гул продвижения города вперед, в будущее. Не было никакого застойного великолепия старой имперской Европы.

Пять дней я жила в великолепном высоком белом таунхаусе рядом с Риджентс-парком и была увлечена одной еврейкой из рода Мэри Монтегю, с которой мы пили чай и ходили в дорогие клубы.

Мне очень понравилась поездка, но как сейчас помню, что одним утром я проснулась и обнаружила кровь от моих десен на белоснежной простыне, которая стала розовой. В то время я уже страдала от застенчивости и неуверенности в себе, что преследовало меня в течение многих лет. Вместо того чтобы объяснить причину происшедшего, я решила потереть простыню апельсином из корзины с фруктами, чтобы попытаться удалить пятно – но неудивительно, что это только усугубило ситуацию.

В конце концов, я развернула простыню так, чтобы пятно оказалось со стороны ног, и надеялась, что никто не заметит.

После нашей поездки в Лондон Отто посоветовал моей матери отвезти меня в Швейцарию, а потом встретиться с ним. Оглядываясь назад, я понимаю, что они очень привязались друг к другу. Даже моя бабушка, которая приезжала к нам в Амстердам на несколько месяцев, прекрасно поняла это. Она сказала маме, что, учитывая разрыв в семнадцать лет, Отто по ощущению был более близок к бабушкиному возрасту, чем к маминому. Однако в то время я ничего этого не видела и понятия не имела об их развивавшихся отношениях.

По совету Отто, мы с мамой отправились в Альпы. Я млела от восторга снова оказаться в горах, но ненавидела вечерние мероприятия. Мама заставляла меня ходить на танцы. Она твердо вознамерилась не позволить мне вести жизнь одиночного неудачника, но я ненавидела отплясывать на танцполе, попадая в объятия швейцарских солдат, которые всегда носили плотную шерстяную военную форму и обильно потели.

Тем не менее эта поездка принесла мне некоторое облегчение – но в Амстердаме вернулось то же тяжелое чувство депрессии.

Вопрос состоял в том, что я буду делать со своим будущим? Как моя мать упоминала в начале своего письма ко мне в день моего пятидесятилетия, я не была «блестящей ученицей» и не интересовалась чтением или правописанием. Несмотря на то что я усердно потрудилась, чтобы окончить лицей, и получила отличные оценки, моя травмированная психика не могла выдержать мысль о дополнительных трех или четырех годах в лекционной аудитории университета, проведенных за изучением малопонятных академических предметов.

Время в Аушвице, а затем на Украине вселило в меня беспокойство. Амстердам теперь казался маленьким серым городом, где все знали о делах каждого и темп жизни был чрезвычайно медленным. «Я не хочу здесь оставаться, – писала я бабушке с дедушкой. – Это самая отвратительная страна в мире».

Мне очень стыдно перечитывать эти слова. Нидерланды сейчас очень близки моему сердцу, и, как можно видеть в предыдущих главах, мы были очень счастливы там до оккупации. Но в те годы, после войны, все казалось мрачным. Как и многие люди, я пережила опыт, который не позволял мне вернуться к прежней жизни. Мне нужно было выйти в мир и начать жить по-новому – но я понятия не имела, что это влечет за собой.

Мама вспоминала в своем послании ко мне: «Какую профессию нужно было выбрать? Я убедилась, что у тебя есть художественные способности, но в то же время ты технически мыслишь. Поэтому я подумала, что профессия фотографа – хороший выбор, и ты согласилась».

Это была хорошая идея, и первоначальное предложение исходило от Отто. Он был заядлым фотографом-любителем до войны и имел обширную коллекцию семейных фотографий, сделанных фотоаппаратом Leica. Теперь, когда он знал, что Эдит, Марго и Анна погибли, он забросил свое хобби и не пользовался камерой.

В нашей семье я всегда была «практичной», а Хайнц был «творческим», но Отто увидел, что я по-своему талантлива. Он не только предложил мне профессию, но и помог организовать

стажировку в студии Херенграхт – и отдал свою драгоценную камеру Leica для работы. Этот фотоаппарат – часть истории, и я дорожу ею.

Во время последнего учебного года я совмещала дневную работу в студии с занятиями в лицее. Студия в основном делала слайды с изображением произведений искусства и архитектурных памятников. Мой рабочий день по большей части проходил в темной комнате, но я обнаружила, что мне нравится сочетание художественного видения, необходимого для поиска и кадрирования снимка, смешанного с научными знаниями о свете, диафрагме и технике проявления фотографии.

Что еще более важно, я была полностью занята. Свободные часы между школой и сном были мне ненавистны; я никогда не могла погрузиться в чтение книги, и общение редко отвлекало меня от сознания потери папы и Хайнца. Время от времени, помнится, я получала удовольствие от посещения бара в нынешнем районе Красных фонарей в Амстердаме; там я наблюдала за тем, как американские моряки учили местных девушек танцевать свинг и джайв. Это было нечто особенное!

Еще один случай развеселил меня. Мама пригласила израильского солдата из еврейской бригады домой на пятничный ужин, но молодой человек не пришелся ей по вкусу, так как грубо положил ноги на журнальный столик и спросил, что же подадут из еды. Это разрушило мамины надежды на будущего зятя; но был еще один юноша, который, по ее мнению, мог бы соответствовать требованиям.

Хенк был сыном знакомой семьи из синагоги, и его очаровательная улыбка и веселый нрав покорили меня. Хенк пригласил меня на несколько свиданий, и наши отношения переросли в нечто более серьезное.

Однако, как мне ни нравилось проводить время с Хенком, это удовольствие длилось только до того момента, как я поднимала взгляд и ожидала увидеть выходящего из-за угла папу или вспоминала какой-нибудь разговор с моим братом. Мысли об этом были непереносимыми, и поэтому я предпочитала заполнять свои дни изнурительными, трудоемкими занятиями.

После окончания лицея я пошла работать в студию на полный рабочий день. Мне нравились мои коллеги, особенно мой кокетливый босс Яп, который сажал меня на колено, чтобы продемонстрировать фотографические приемы, и катал на своем мотоцикле. Но этого все равно было недостаточно. Я оставалась угрюмой и плохо вела себя с мамой, и на фотографии, где я сижу у канала в обеденный перерыв, у меня совершенно несчастный вид. Амстердам, казалось, душил меня воспоминаниями: чтобы

оставить прошлое позади и строить новое будущее, нужно было предпринять что-то более радикальное.

Отто и мама понимали это. Отто поспрашивал и нашел другую студию, где я могла бы работать в течение года. Речь шла о городе, который я уже немного знала – настолько огромном, разросшемся и безликом, что прежняя Ева Герингер могла заблудиться там, и я попробовала начать двигаться дальше. По направлению к Лондону.

18
Испытание

Годы, проведенные в Амстердаме после войны, были отмечены не только ежедневной работой по восстановлению нашей жизни, но и еще одним важным событием: судом над теми людьми, которые выдали нас нацистам.

Во время войны в Амстердаме было крайне много информаторов, и многие семьи так и не узнали, кто именно их предал. В некоторых случаях это могли быть даже несколько человек.

Были официальные «Охотники на евреев» из организации под названием «Колонна Хеннайке» (следственное подразделение Бюро по еврейским делам, названное в честь ведущего следователя – безжалостного кудрявого молодого человека, по имени Вим Хеннайке, бывшего владельца нелицензионного такси). «Охотники на евреев», как правило, представляли собой плохо образованных молодых людей, которые присоединились к голландской нацистской партии НСБ. Они часто хвастались, что жили «на широкую ногу», получая премии в размере семи с половиной голландских гульденов (50 фунтов на сегодняшние деньги) за каждого арестованного еврея.

Кроме того были и гражданские лица, которых колонна Хеннайке вербовала себе в информаторы и щедро платила за каждого еврея, которого они сдали. Некоторые люди предавали даже членов своей семьи, как, например, одна женщина, сдавшая свою невестку из-за спора на радио. Одна еврейская женщина сообщила о восьмидесяти других семьях, но все же была сама арестована и отправлена в концентрационный лагерь, где погибла. Конечно, были и нацистские идеологи, преданные делу Гитлера, и легионы обычных информаторов и стукачей, имевших свои мотивы, и иногда таким мотивом оказывалась простая злобность.

Во время нацистской оккупации Амстердам изобиловал тысячами людей, готовых на все, лишь бы сдать евреев – и к концу 1940-х годов они лицом к лицу предстали перед правосудием.

В отличие от Отто, который никогда точно не знал, кто предал его семью, мы знали имена людей, чьи действия привели к нашему аресту.

Это была Герада Кэтти-Вальда – женщина, которая шантажировала моего отца ради денег. Она потребовала, чтобы

папа увеличил плату с 400 до 700 голландских гульденов в месяц – астрономическая сумма, которая эквивалентна 5000 нынешних евро. Она запустила в движение всю череду событий, которые привели к тому, что моему отцу и Хайнцу пришлось переехать в другое место, и в итоге они погибли.

После нашего ареста гестапо нагрянуло в дом к Кэтти-Вальда. Для обеспечения собственной безопасности она раскрыла им местонахождение еще одной семьи, скрывавшей четырех евреев. Эта семья и люди, которых они прятали, были арестованы и депортированы. Все они погибли.

Герада Кэтти-Вальда предстала перед судом в 1947 году и была приговорена к семи месяцам заключения в лагере для интернированных. Позже она сменила имя и исчезла.

Кроме того была группа людей, сознательно сговорившихся сдать нас в руки нацистов. «Добрую» голландскую медсестру, которая встретила моего отца и Хайнца на вокзале и привела их в дом, где их арестовали, звали Мип Брамс. Она была подругой голландского участника Сопротивления по имени Ианий Хан, и предполагалось, что она помогает ему и Сопротивлению в целом защищать евреев. По мере хода войны Хан стал подозревать, что его девушка на самом деле выполняет роль двойного агента нацистов: слишком много еврейских семей, которых он ей поручал, исчезали без следа или были пойманы. Когда Мип стало известно о его подозрениях, она сдала Хана гестапо, и его казнили. Позже было подсчитано, что Брамс сдала 200 еврейских семей, включая нашу. Она действовала в составе большой группы информаторов под контролем голландского полицейского и жестокого антисемита, по имени Питер Шап. Две женщины, работавшие с Шапом, были еврейками: Анс Ван Дейк и Бранка Симонс.

Анс Ван Дейк печально прославилась в Нидерландах как единственная женщина, получившая смертельный приговор за свою роль в оккупации, и была казнена в январе 1948 года. Ван Дейк была тридцатисемилетней продавщицей, которая избежала депортации в 1943 году, согласившись доносить на других евреев – и она с энтузиазмом выполняла свою задачу, сдав более 100 человек.

Бранка Симонс, тоже еврейка, была женщиной, которая встретила моего отца и Хайнца в их новом месте укрытия и кормила их прекрасным обедом, пока ждала гестапо. Работая с Питером Шапом, Симонс организовала предполагаемую конспиративную квартиру на улице Керкстрат, где она якобы жила со своим мужем – другим членом группы, мелким преступником Вимом Хаутхьюисом. Вместе они приветствовали

десятки ничего не подозревавших, отчаявшихся еврейских семей в своем «доме», который на самом деле был ужасной ловушкой. Симонс также получила смертный приговор за свою деятельность, но позже его заменили на тюремное заключение.

Наиболее ярко я помню суд над Мип Брамс, потому что маму вызвали для дачи показаний.

Голландское правительство, пока находилось в изгнании, разработало систему привлечения коллаборационистов к ответственности. В соответствии со специальным законом о правосудии в Нидерландах должен был быть создан ряд трибуналов, в том числе специальные суды по наиболее серьезным делам. В недавно освобожденной Голландии департамент политических расследований, находившийся под контролем прокуратуры, рассмотрел сотни тысяч дел.

Чтобы дать читателю некоторое представление об ошеломляющем количестве людей, находившихся под следствием, скажу, что было составлено в общей сложности 450 000 дел. Почти половина из них была направлена прокурору, и 50 000 человек предстали перед трибуналами, а 16 000 человек предстали перед специальными судами.

Мип Брамс уже судили за сотрудничество с нацистами, но дело рухнуло из-за трудностей с предоставлением доказательств. В мае 1948 года мы услышали, что ее должны судить во второй раз.

– Я тоже должна быть там, – сказал я маме. – Я хочу посмотреть на нее своими глазами!

– Я знаю, Эви, – ответила мама, – но они не пускают детей и молодежь в суд. Может быть, они считают, что это может оказать слишком травмирующее и губительное воздействие.

Я не могла в это поверить.

– Губительное?! Она отправила нас в Аушвиц. Если бы не она, папа и Хайнц все еще были бы живы!

Мама пыталась успокоить меня, но не было возможности обойти правила суда – она должна была идти одна.

День настал. Мип Брамс, как позже рассказывала мне мама, сидела на скамье подсудимых, с холодным и сдержанным выражением лица. Ее руки были аккуратно сложены; на ее спокойном лице не проявлялись никакие эмоции, когда мама давала показания о том, как Брамс предала нашу семью – невинных незнакомцев, которые просто хотели жить своей жизнью. Мама смотрела на нее с отчаянием матери и жены, потерявшей почти все, а Брамс выглядела абсолютно бесчувственной. Она не раскаивалась.

– Мне просто хотелось залезть на скамью подсудимых и

выцарапать ей глаза! – рассказывала мама, рыдая от глубокой горечи и тоски, что я редко раньше видела. – Она даже не пожалела о том, что сделала!

Брамс была не только хладнокровна, но и хитра: у нее в рукаве был припрятан козырь. Во время войны она спасла жизнь одной еврейской женщине, которая потом стала очень знаменитой. Паула Линдберг-Саломон – известная оперная контральто из Берлина, сбежавшая из транзитного лагеря Вестерборк вместе со своим мужем в 1943 году и скрывавшаяся в Южной Голландии до конца войны.

Линдберг свидетельствовала об огромной благодарности, которую она испытывала к Брамсам, с чьей помощью укрылась от нацистов и выжила. Суд длился долго, но в апреле 1949 года приговор был вынесен. Брамс признали виновной, но приговорили только к шести годам тюрьмы.

Мы были возмущены.

– Как можно отсидеть в тюрьме всего шесть лет за организацию убийства 200 человек?! – кричала я.

– Я тоже не могу в это поверить, Эви. Через несколько лет она выйдет и снова будет вести нормальную жизнь, а мы потеряли папу и Хайнца навсегда.

И всему виной была Мип Брамс.

Позже я обнаружила, что мягкие приговоры часто были особенностью процессов над нацистскими коллаборационистами. Все что угодно могло повлиять на снисхождение к обвиняемому: свидетельство еврея, которому он каким-то образом помог, просьба жены или матери… Хотя было вынесено 140 смертных приговоров, 100 из них впоследствии заменили пожизненным заключением, поскольку голландское правительство опасалось, что слишком большое количество казней плохо повлияет на моральное состояние общества. Средний срок тюремного заключения, отбываемого «охотником за евреями», составлял десять лет, но некоторые из них составляли всего лишь двенадцать месяцев.

Мне хотелось бы верить в то, что подобные люди, в частности Мип Брамс, сталкиваются с истинной справедливостью после смерти, но мой лагерный опыт лишил меня всякой веры в божественную силу и загробную жизнь.

Справедливость должна существовать в этом мире – иначе ее вообще нет.

19
Лондон

Той весной в Лондоне было особенно прохладно и сыро, но я приехала с небольшой искрой надежды на то, что начинается новый этап моей жизни. Казалось, вся страна чувствовала то же самое. Это было в мае 1951 года, и Англия решила сбросить оковы послевоенной жесткой экономии запуском Великобританского фестиваля.

Более восьми с половиной миллионов человек съехались к Южному берегу в Лондоне, чтобы увидеть зал Королевского фестиваля. Рядом с ним взлетала в облака 300-футовая сигарообразная башня из алюминия и стали, под названием «Скайлон», тем самым провозглашая уверенное движение к современным вкусам. Великобритания готова двигаться вперед и восстанавливаться, и есть планы по новым городам, новым видам жилья и инвестированию в Национальную службу здравоохранения, которая была основана тремя годами ранее.

Кроме того, население, пострадавшее от войны, стремилось к веселой жизни, и миллионы людей наслаждались ярмаркой в парке Баттерсея, катались на миниатюрной железной дороге и гуляли в винном саду, устроенном на европейский манер. Будущее казалось многообещающим – возможно, даже привлекательным. Мама со слезами на глазах провожала меня на Центральном вокзале Амстердама и обещала приехать, но мое собственное чувство грусти смешивалось с предвкушением.

– Следи за собой, – напутствовала мама, – и пиши мне как можно чаще, рассказывай обо всем, чем занимаешься.

– Буду писать, – пообещала я.

– А я приеду к тебе, и мы вместе сможем поехать к бабушке Хелен и ко всем нашим в Дарвен.

Мы поцеловались, обнялись, и я запрыгнула в поезд. По правде говоря, мне хотелось вырваться на свободу, и с типичной молодежной легкомысленностью я полагала, что мама поймет меня.

С Хенком мы уже попрощались. Он мне очень нравился, но я не знала, почему я с такой легкостью отправилась в это путешествие без него. Он просил меня выйти за него замуж, и я сказала, что подумаю. Каким-то образом я чувствовала странную отрешенность от своих чувств ко всему этому.

Отто нашел мне работу на год, а мой знакомый по Амстердаму Сэм нашел пансион, где я могла остановиться.

Сначала я села на поезд, который шел из Амстердама до голландского порта Хук, а затем на корабль до Англии. После я пересела на поезд до станции Ливерпуль-Стрит, где меня ждал Сэм, чтобы отвезти меня в мое новое жилище.

Мое первоначальное впечатление от второго визита в город было далеко не благоприятным: территория вокруг станции выглядела разбомбленной пустошью, и даже узкие улицы и здания, которые сохранились, выглядели бедно и грязно.

Сэм объяснил, что я буду жить на северо-западе Лондона, недалеко от тысяч других немецкоговорящих евреев (самый известный среди них – Зигмунд Фрейд), которые обитали в районах Голдерс Грин и Хампстед.

В связи с крошечной зарплатой, получаемой от нового работодателя, мне, к сожалению, не довелось жить среди них. Мы сели на метро и вышли на станции Уиллесден-Грин, направляясь к крайним рядам домов в районе Криклвуд и торговому пассажу, который показался мне весьма своеобразной версией английской мечты. Все теснилось в одном месте: сводчатые окна, крошечные сады и кусты роз. Часто в зданиях были дыры, и толпы оборванных смеющихся детей вылезали из кучи обломков, любезно предоставленной суровыми бомбардировками, что местные жители называли «городским планированием господина Гитлера».

Моя хозяйка, госпожа Хирш, открыла дверь дома № 91 на улице Чичел, когда я постучала, и, как единственный жилец, была немедленно заключена в ее сердечные теплые объятия. Криклвуд – это ирландский район рабочего класса, но миссис Хирш была чешской еврейкой, и я была уверена, что ко мне будут хорошо относиться.

Даже после тех условий, с которыми я недавно столкнулась, жизнь в английском пансионате стала для меня шоком. Конечно, это было бесконечно лучше, чем выгоревшие деревни и разрушенные дома, которые я видела в Восточной Европе, но это было далеко и от роскоши нашего старого дома в Вене, и даже от удобства нашей небольшой квартиры в Мерведеплейн.

Дом был темный, узкий, насквозь холодный, и согреться можно было только сидя так близко к газовой плите, что она почти опаливала брови.

В ванной комнате находилось странное приспособление с отверстием для монет, установленное на стене и предназначенное для нагрева воды. Я глядела на этот агрегат, как на опасное чудовище, к которому нужно подходить с крайней осторожностью. После того как я поспешно скормила ему столько мелких монет, сколько вместилось в мои ладони, я отпрянула

назад, чтобы меня не ошпарило свирепыми шипящими брызгами кипящей воды, которые хлынули во все стороны. Через несколько мгновений вода снова остывала.

Ночью мы закрывали двери спален и дрожали, лежа в плотных фланелевых пижамах и ночных рубашках, завернутые в простыни и настолько замерзшие, что это было похоже на погружение в холодное море. Ветер со свистом просачивался сквозь оконные щели. Я погружалась в сон под шум надземных трамвайных линий, в то время как трамвай приезжал на конечную станцию в конце улицы и с грохотом разворачивался.

Мне нравилась эта странная новая страна, но меня удивило, что у себя на континенте мы считали Англию центром модернизации.

– Что это такое?! – завизжала я однажды вечером, показывая пальцем на свою тарелку.

Миссис Хирш сделала шаг назад и посмотрела на меня.

– Что вы имеете в виду?

– Этим кормят ослов! – выпалила я, поднимая огромную жирную морковку с моей тарелки и поднося ее к носу хозяйки.

Я никогда не умела держать свои опрометчивые суждения при себе. В Австрии я ела только тонко нарезанную морковь. Даже в Амстердаме голландцы подавали ее в виде пюре. Но здесь я столкнулась с пугающим чудовищем, которое должна была жевать на ужин. У него даже была зеленая ботва – смотрелось весело.

– Это очень полезно, – сказала миссис Хирш, глядя сквозь сощуренные глаза. – Витамины нужны вам, чтобы восстановиться.

Я часто не понимала, как много миссис Хирш заботилась обо мне. Еда была нормирована в Великобритании до 1954 года, но моя хозяйка часто делала мне приятное и припасала упакованный ланч с картофельным салатом или сосисками. В данном случае она явно купила и оставила эту морковку только для меня, не рассчитывая на других жителей.

Я все еще была одержима едой после недавнего голодания в Аушвице и изо всех сил пыталась привыкнуть к британской кухне. Я заметила, что, когда мои коллеги и соседи хотели полакомиться, они покупали мешок жирных чипсов и маринованный лук, а затем охали, как будто это было верхом удовольствия.

Я, наоборот, радовалась продуктовым посылкам из Амстердама, словно они содержали нечто чудесное, и с жадностью набрасывалась на них.

В одной из тех первых продуктовых посылок был хороший голландский шоколад – очень редкое удовольствие в Лондоне

1950-х годов – и он привлек внимание молодого квартиранта, который жил в другой стороне коридора, в комнате на чердаке. Однажды вечером он постучал в мою дверь и представился. Его звали Цви Шлосс, он был из Германии. В ту ночь мы обсуждали премудрости использования водонагревателя в ванной, и когда он увидел мою посылку с едой, его глаза загорелись при виде шоколадного батончика.

Вскоре я уже чувствовала себя очень спокойно с Цви; он получал степень магистра в Лондонской школе экономики и обладал острым умом и сдержанным чувством юмора. Мы не были высокими, но мне нравилось его подтянутое телосложение, красивое лицо и темные волосы, выстриженные на висках. Внешне он имел некоторое сходство с моим отцом, и поэтому я стремилась к общению с ним.

В Лондоне семейные связи были лишь воспоминаниями, а не повседневной реальностью, с которой я сталкивалась на каждом углу. Проходя в одиночестве по городу, я чувствовала успокоение, а не страх быть молодой незнакомкой – единицей среди тысяч незнакомцев, у каждого из которых была своя история.

Каждое утро я спускалась на станцию метро Вилесден Грин и ехала в город. Я знала, что некоторые люди ненавидят тесно набитые вагоны и длинные клаустрофобные туннели, но меня успокаивали ритмичные движения поезда, темнота, запах пота, одеколона, дождя и сигаретного дыма. Большинство людей в толпе были вежливы, но совершенно не мечтали вступить в разговор или встретиться с кем-либо взглядом.

Я стала работать в студии «Вобурн», в Блумсбери. Она располагалась на первом этаже и в подвале одного из зданий на улице Тависток, и мы создавали огромные гравюры путем проецирования крупных изображений на стену. Работа была довольно сложной и трудоемкой, но изучение нового всецело поглотило меня. Я все еще работала в темной комнате, но теперь могла немного расширить свои горизонты и даже получать некоторые дополнительные задания (хотя, как правило, мне доверяли просто держать светоотражатели).

Однажды мой босс, мистер Пек, попросил меня поехать с ним на съемки в аэропорт Хитроу. К тому моменту Хитроу использовался как гражданский аэропорт всего пять лет, и только начались работы по строительству первых соответствующих терминалов. Путь занял довольно много времени. Мы выехали из Лондона в сельский район и, наконец, остановились на асфальтовой дороге, рядом с новым пассажирским самолетом – Де Хевилленд-106 «Комета».

Я залезла на борт самолета вслед за мистером Пеком, и мы

провели весь день, фотографируя моделей, одетых как эффектные стюардессы, которые делали вид, что раздают вкусные блюда. Теперь, когда я летаю по всему миру, с сотнями других людей в тесном экономическом классе, я улыбаюсь при воспоминании, как волновалась, очутившись в пленительном мире авиаперелетов – и немного ностальгирую по более расслабленному отношению к безопасности.

В то время я была болезненно замкнутой и тихой, со знанием английского на уровне школьной программы, но подружилась с некоторыми коллегами. Мы делились удовольствиями молодых и бедных людей, живущих в большом городе, например, каждый день покупали одну газету и по очереди читали ее. Я не активно вращалась в обществе, но, как и мои друзья по работе, познакомилась с некоторыми людьми в пансионате, и один из них, ирландец, пригласил меня на собачьи бега. Мне также понравился один пожилой человек, который был кошерным мясником: от него очень вкусно пахло сосисками. Я даже начала встречаться с молодыми людьми.

Еще стоял вопрос о моем неуверенном обещании выйти замуж за Хенка после возвращения в Амстердам, но я также стала часто видеться с Сэмом. Он работал автомехаником, но хотел стать раввином, и, как ни странно, он был даже более застенчивым, чем я, и заикался. Мы часто ходили на публичные беседы и мероприятия в Дом собраний квакеров на улице Юстон, и однажды после того, как лектор закончил свою речь, я почувствовала, что Сэм готовиться задать вопрос. Его плечи напряглись, и лицо стало красным от усилия – но он всегда заставлял себя встать и спросить о чем-то, независимо от того, сколько времени ему требовалось для произнесения слов. Меня восхищали его старания, но я съеживалась при мысли о том, что было бы, если мне пришлось пройти через это самой.

Поскольку Сэм мне так помог и нашел жилье у миссис Хирш, он, вероятно, по вполне понятным причинам, полагал, что у нас растет взаимная привязанность. Но, как бы мне ни нравились Сэм и Хенк из Амстердама, был еще один молодой человек, игравший значимую роль в моей жизни. Когда мы подружились, Цви начал сопровождать меня на различные мероприятия. Мы часто ходили на Великобританский фестиваль вместе и на пикник в парк Баттерсея с остальными постояльцами, где я заметила, с некоторой ревностью и раздражением, что Цви крайне увлекся другой женщиной – грудастой немкой со светлыми волосами, которая была гораздо более бойкой, чем я, но уже замужней.

Однажды вечером мы пошли смотреть спектакль в маленький концертный зал, на другом конце улицы, а потом, когда не

смогли найти дорогу обратно в густом смоге, запаниковали. Цви почти задыхался. В другой раз мы гуляли по парку Хэмпстед-Хит, откуда открывался великолепный вид на Лондон и на собор Святого Павла, и говорили о всевозможных вещах – но никогда о войне.

Меня впечатлило приглашение Цви пойти на теннисный корт, хотя его ужасная игра показала, что спорт не был его коньком. Несмотря на все усилия своего кавалера, я все еще не была уверена, привлекаю ли Цви я или же моя шоколадная кондитерская, но у меня были и другие поклонники, с которыми я встречалась и которые удерживали меня от какой бы то ни было глубокой эмоциональной привязанности – и я думала, что именно такое положение дел меня устраивает.

20
История Цви

Когда я была маленькой девочкой и росла в Вене, а затем путешествовала с семьей по Европе в поисках безопасного места жительства, Цви также переживал тревожное детство за немецкой границей, в Баварии.

Его отец Мейер родился в баварской деревне, в семье еврейских фермеров и предпринимателей. Затем Первая мировая война унесла Мейера далеко от дома, и вернулся он деморализованным солдатом и ослабленным человеком, страдавшим от ревматизма и серьезной болезни сердца.

Вместо того чтобы вернуться в свою деревню, отец Цви переехал в город Ингольштадт, к северу от Мюнхена, и основал бизнес по продаже местного хмеля, используемого для производства пива.

К моменту рождения Цви, к 1925 году, его отец был состоявшимся бизнесменом и семьянином. Его первая жена умерла, родив сводного брата Цви Шломо, а мать Цви, которая происходила из семьи богатых виноторговцев из Вюртемберга, стала его второй женой.

С самого детства Цви обожали. Когда немецкие дети впервые идут в школу, им дают огромный украшенный бумажный конус, наполненный сладостями. Родители Цви заказали художнику портрет сына с этим конусом и повесили картину на стене в гостиной. Но вскоре дела семьи пошли плохо. Экономические потрясения Германии в 1920-х годах поставили предпринимательство в тяжелое положение, и споры стали постоянным фоном семейной жизни. В конце концов отец Цви начал торговать одеждой и тканью для костюмов, а позже пытался продавать страхование жизни и даже сигары.

Бабушка и дедушка Цви переехали к ним в дом, чтобы помочь сэкономить. Его дед был уважаемым местным врачом, который часто принимал пациентов бесплатно, если – как это случается у многих – они переживали трудные времена. Вскоре он стал официальным врачом местной социал-демократической партии.

Именно дед Цви заинтересовал его изучением языков, и этот интерес сохранился на всю оставшуюся жизнь. По вечерам дед звал Цви и его брата Шломо к своему письменному столу, и они читали истории Редьярда Киплинга. Шломо учил английские слова, а Цви вставлял случайные комментарии.

Но несмотря на эти яркие моменты, семья Шлосс еле сводила

концы с концами. У них было мало друзей в Ингольштадте, а антисемитизм набирал обороты.

«У меня не было ни одного друга в местной школе. Мальчики кричали в мою сторону: “Еврей! Еврей!” – рассказывал мне Цви позже. – В то время в городе было около сорока еврейских семей, но в моем классе не было ни одного ребенка из них, и поэтому я чувствовал себя полностью изолированным. Однажды мальчишки гнались за мной, пока я не добежал до самого верха крутой каменной лестницы. Я поскользнулся наверху и скатился вниз, очень сильно повредив спину и ребра. На улицах Ингольштадта мы чувствовали, как люди отворачиваются от нас, больше не разговаривают и даже не смотрят нам в глаза».

Через год после прихода к власти нацистов, в 1934 году, отца Цви арестовали «в интересах его собственной безопасности». Он был перевезен в близлежащий лагерь в Дахау, где в то время находились в основном коммунисты, противники Гитлера и уголовники, а также евреи. О Дахау говорили как о рабочем лагере, но тысячи людей были несправедливо заключены туда, и немногие вернулись живыми.

«Семейная жизнь стала еще тяжелее. Редко нам разрешалось писать отцу письма на заранее подготовленных открытках с небольшим местом для рукописных посланий. Он отвечал нам таким же образом. Это была единственная форма контакта с ним».

Можно представить себе мысли и чувства Цви, когда он однажды выглянул из окна и увидел автомобиль с открытым верхом, который медленно пробирался сквозь кричавшую толпу и вез не кого иного, как Адольфа Гитлера.

Ингольштадт стал нацистским оплотом, и Гитлер навещал там своего друга – местного партийного босса. «Казалось, что все в городе смотрели на Гитлера, свастика висела на каждом здании, и люди были почти в истерике от восторга».

Цви рассказывал мне о переизбытке чувств, которые он испытывал, когда вспоминал этот инцидент позже, оглядываясь назад. «Люди иногда говорили мне: “Если бы вы только могли бросить бомбу прямо к нему в машину…” Но я был всего лишь ребенком, и в любом случае, никто из нас не мог представить, что произойдет дальше».

Цви трижды видел Гитлера в Ингольштадте. «Он показался мне ничем не примечательным. Трудно было поверить, что настолько ординарный человек мог организовать массовые убийства, геноцид еврейского народа».

Однажды Цви открыл входную дверь и увидел человека, которого так ждал: своего отца. Возвращение Мейера было

совершенно неожиданным, и он резко изменился. Теперь он выглядел худым и нервным и не мог находиться в комнате с закрытой дверью. После двух долгих лет отец Цви был освобожден из Дахау, но при условии, что семья покинет Германию в течение двух месяцев. Мейер сразу же начал пытаться получить визы, чтобы все они могли бежать в другую страну.

Это казалось невыполнимой задачей. К 1936 году большинство стран отказывались принимать безденежных еврейских беженцев, и Мейеры безрезультатно пытались выехать. Наконец, когда приближался крайний срок и они начали паниковать, кто-то сказал им, что британское консульство в Мюнхене сохранило несколько виз в Палестину на случай чрезвычайных ситуаций. Они обратились – и, к счастью, их просьбу удовлетворили.

«Я уехал из Германии с братом и родителями, сначала на поезде до Мюнхена, а затем из Австрии до итальянского порта Триест», – вспоминал Цви.

В Триесте они сели на итальянский корабль и направились через Хайфу в Палестину, находившуюся тогда под британским протекторатом. Цви было одиннадцать лет.

«До прихода к власти нацистов мы были добропорядочными гражданами и предпринимателями, но сошли с этого корабля бедными иммигрантами, с отцом, физически и эмоционально травмированным человеком после его опыта в Дахау. Эта Новая Земля, в которой мы оказались, была совершенно чужда нам своими запахами, солнечным светом, обстановкой, языком и людьми, но она должна была стать фундаментом для остальной части моей жизни. И мы были свободны».

Уставшая и довольно настороженная, семья Шлосс отмахнулась от своих устоявшихся немецких привычек и начала новую жизнь в этой грязной и местами нищей стране, где, по немецким меркам, везде царил беспорядок.

Жизнь была тяжелой. В Германии отец Цви управлял собственным бизнесом, а теперь его деятельность сводилась к тому, что он возил вверх и вниз по холмам городка тяжелую ручную тележку, нагруженную бочками с популярным местным напитком. Для состояния его здоровья это было самым неподходящим занятием, но все же он не мог видеть, как его семья голодает.

Отец Цви оплатил обучение сына в небольшой частной школе, где он мог бы начать изучать иврит и попытаться привыкнуть к новой стране.

«Мне больше не приходилось убегать от банд немецких парней, толкавших меня с криками “еврей”, но в Хайфе мне

приходилось уворачиваться и петлять по жарким улицам, всегда осознавая напряженность и вражду между еврейской общиной и притесняющими ее арабами из Старого квартала. Я помню, как британские госслужащие разгуливали в форме цвета хаки, в шортах до колен и в пробковых шлемах».

Однако вскоре семейная жизнь изменилась бесповоротно. В 1938 году бабушка и дедушка Цви приехали из Германии на его бар-мицву, и хотя ситуация при Гитлере становилась невыносимой, они решили вернуться обратно. «Это казалось поразительным решением, – говорил Цви, – но они были пожилыми, не имели другого дома и прожили всю свою жизнь, ассоциируя себя с немцами. Они надеялись, что их страна скоро одумается и избавится от нацистов».

Как оказалось, их надежды были более чем неуместными. Дед Цви не смог вынести жизни в нацистской Баварии и унижения из-за того, что его лишили профессионального статуса уважаемого врача, и он, судя по всему, покончил жизнь самоубийством. Затем, когда началась война, бабушку Цви депортировали в концентрационный лагерь в Латвии. Она так и не вернулась оттуда.

В Хайфе тоже произошли большие изменения. Здоровье отца Цви ухудшилось из-за тяжелой работы, и он умер от сердечной недостаточности. Цви отчаянно хотел продолжать учебу, но знал, что ему придется бросить школу и пойти работать. «Мне казалось, что лучшее место для заработка – это банк, так что я начал работать там в возрасте тринадцати лет обычным курьером».

Перед смертью отец Цви нашел ему место в банке под названием «Фейхтвангер», принадлежавшем немецкому еврею. Цви продолжал учиться по вечерам в течение многих лет, пока не сдал экзамены.

В то же время он стал втягиваться в сионизм. Война в Европе вызвала беспорядки в Палестине. Нацисты и их союзники стремились захватить Ближний Восток и получить доступ как к нефти, так и к дельте Нила. Итальянские самолеты регулярно бомбили Хайфу, взрывая резервуары для хранения нефтепродуктов и нефтеперерабатывающий завод, отчего в небо взмывали огромные огненные шары.

«Мы боялись, что нацисты захватят власть, но мы также были очень недовольны британским правительством», – рассказывает Цви.

В британской «Белой книге» 1939 года предлагалось создать независимую Палестину, управляемую арабами и евреями. Представительство должно было быть пропорционально их численности. В документе были установлены ограничения на

еврейскую иммиграцию и на права евреев покупать арабские земли.

В течение следующих пяти лет количество еврейских иммигрантов достигло предела в 75 000. Обычная ежегодная норма равнялась 10 000 человек и дополнительная квота – 25 000 человек – для беженцев, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. После 1944 года дальнейшая иммиграция зависела от разрешения арабского большинства.

В конце войны появились первые сообщения о Холокосте. Цви вспоминает о реакции своей семьи: «Мы все чувствовали себя полностью опустошенными ужасной катастрофой, постигшей еврейский народ. До нас доходили слухи о том, что происходит в Европе, но они были почти невероятными. Мы думали, что все не может быть настолько плохо. Мы жили в отрицании.

Потом мы стали видеть, как к берегу причаливали лодки с еврейскими беженцами. Англичане их тут же окружали, арестовывали и возвращали обратно на судно, а потом увозили в лагеря для переселенцев на Кипре. Это было возмутительно и казалось практически невероятным».

В 1945 году Цви присоединился к подпольной еврейской военной организации «Хагана». Его отряд встречался на тренировках по вечерам на хайфском мукомольном заводе. «Я был готов бороться за независимое еврейское государство, за свой народ».

В ноябре того же года ООН проголосовала за принятие плана раздела, который предлагал британцам уйти из Палестины и создать два отдельных государства: арабское и еврейское. Напряженность между общинами достигла лихорадочного уровня. Многие представители обеих сторон не согласились с предложенным планом и будущими границами.

30 декабря 1947 года группа арабских ополченцев ворвалась на завод и убила тридцать девять еврейских рабочих. «Несмотря на то что меня учили стрелять и даже бросать гранаты, я в страхе ходил по улицам, – говорит Цви. – Однажды в старом квартале Хайфы я услышал, как позади меня гудит машина. Я повернулся как раз вовремя и увидел араба: он выхватил пистолет и целился в мою голову. Я быстро увернулся и едва избежал выстрела».

15 мая 1948 года, когда было основано Государство Израиль, Цви сразу же вступил в ряды Армии обороны Израиля, преемника Хаганы, где он служил в течение двух лет сначала в качестве казначея, а затем в качестве цензора в армейском разведывательном подразделении.

Голова у Цви всегда работала лучше, чем мускулы – и армейская жизнь была не для него.

«Помню, как однажды у меня случился ужасный приступ дизентерии, и я остановился в деревне друзов, чтобы справить нужду в кормушке для скота, а местные девушки стояли и глазели. Прекрасное впечатление и для меня, и для них!»

В нерабочее время Цви сидел в своей пыльной армейской палатке, читал и учился, а когда его армейская служба закончилась, он вернулся на свою должность в банке.

«Я понял, что если захочу продвинуться по карьерной лестнице, мне придется ненадолго уехать из Израиля и получить больше опыта за границей», – рассказывает он. Банк помог ему найти работу в Лондоне, и он приехал в Англию в 1950 году, в старом немецком зимнем пальто, в котором был похож на персонажа из романа XIX века.

Я хорошо помню это пальто: оно было отвратительным, но Цви вроде бы любил его. Даже в первые дни наших отношений я с нетерпением ждала того дня, когда смогу избавиться от этой вещи! В то время Цви не понимал, что ему нужно будет купить новое пальто. Европейские зимы представляли для него лишь временное неудобство, потому что он был полностью поглощен идеей возвращения в Израиль и возобновления работы в области финансов. Если бы он не познакомился в пансионе со мной, полной загадочных взглядов и обладающей приличным запасом хорошего голландского шоколада, он, конечно, вернулся бы.

Вместо этого мы встретились, и наши жизни изменились навсегда – и к лучшему.

21
Свадьба

Я выходила замуж в прекрасный летний день в Амстердаме. На моем горизонте было только одно пятно – моя свекровь. Фрау Шлосс не одобряла мою кандидатуру с того момента, как узнала о моем существовании. Она была сражена горем, что я заберу ее любимого сына, ее любимого Цви. Он сделал мне предложение несколько месяцев назад, когда мы шли по Хампстед-хит.

«Ева, я люблю тебя и считаю, что ты замечательная девушка, – внезапно выпалил он довольно нервно. – Хочешь выйти за меня замуж?»

Если бы это происходило в романе, я бы сразу согласилась, но меня сдерживали две вещи. Мне очень нравился Цви, но я все еще была не очень уверена в своих чувствах – и не знала, за кого хочу выйти замуж. Прошло всего несколько лет с тех пор, как я потеряла отца и брата, и хотя мне удалось переехать в Лондон и восстановить обычную жизнь, я не испытывала глубокой привязанности ни к кому.

Я ответила Цви, что очень рада его предложению, но мне нужно подумать несколько недель и попытаться понять, чего именно я хочу. Мне нужно было посоветоваться с одним человеком.

– Как ты считаешь, за кого мне выйти замуж? – спросила я маму, когда она приехала в Лондон.

В задумчивости она нахмурила брови. Цви представлялся разумным выбором, но был и Хенк в Амстердаме и наша «полупомолвка».

– Думаю, за Цви, – ответила мама. – Он не только хороший человек, но довольно умный и интересный парень. Для тебя очень важно иметь мужа, с которым будет интересно. Хенк – тоже милый мальчик, но, думаю, что Цви – правильный выбор.

Я согласилась с тем, что Цви был умным и загадочным (с таким экзотическим прошлым в Палестине), но на моем пути стояло еще одно обстоятельство – сама мама. Я никогда не говорила ей об этом, но после всего, через что мы прошли, я не собиралась оставлять ее и переезжать в другую страну насовсем. Так что мой ответ был отрицательным.

– Большое тебе спасибо, – сказала я Цви, так как в те дни мы очень вежливо обращались друг с другом, – но я не могу выйти за тебя. Моя мать – вдова, и я хочу быть рядом с ней в Амстердаме.

Не вдаваясь в дальнейшие размышления и не испытывая

особых страданий, я вернулась к работе на студии «Вобурн» и продолжила свою обычную жизнь в пансионате миссис Хирш. Цви, казалось, принял мое решение довольно спокойно, хотя сейчас он говорит, что всегда был уверен, что победит меня, потому что я просто не могла противостоять ему. В то время я верила, что ничто не изменит мое мнение, но, конечно, ошибалась.

– Ну, Ева, теперь у меня есть для тебя новости.

Мы говорили с Отто Франком, и он явно нервничал.

Отто приехал в Лондон по делам, и я с нетерпением ждала встречи с ним. Он встречался с моей матерью каждый день в Амстердаме, и она уже рассказала ему о моем отказе Цви. Теперь Отто решил мне что-то сказать.

– Возможно, ты заметила, что мы с твоей мамой стали ближе… Мы влюбились друг в друга, и как только ты наладишь свою семейную жизнь, мы тоже поженимся.

Я была совершенно ошеломлена этими словами. Их глубокие чувства друг к другу были очевидны для всех в Амстердаме в последнее время, но я никогда не думала, что между ними существовало нечто большее, чем просто дружеская поддержка. Многие другие дамы испытывали симпатию к Отто, но он был глубоко привязан к моей матери – и оказалось, что их отношения переросли во что-то большее, чем просто общение и взаимопонимание: это действительно был роман.

Пока я обустраивала свою лондонскую жизнь, Отто писал длинные письма моей матери из своих путешествий по Соединенным Штатам, где содействовал распространению «Дневника» Анны Франк. На этих плотно заполненных страницах он рассказывал ей все, включая то, что он ел и сколько это стоило (он думал, что обед за 99 центов – это довольно дорого). Затем он обещал рассказать ей еще больше подробностей при встрече и планировал переехать к ней после своего возвращения. Вернувшись в Амстердам, моя мама каждый день добиралась до работы на трамвае, а Отто очень трогательно ехал рядом на велосипеде. На каждой остановке мама выходила, и они целовались.

Я была потрясена, но счастлива, что моей матери не придется провести остаток своей жизни в одиночестве. Мои собственные чувства были куда более сложными, но я действительно нежно относилась к Отто и знала, что было бы эгоистично открыто выражать свою обиду за отца.

Одно прояснилось: теперь я была свободна и могла строить свою собственную жизнь и, при желании, принять предложение Цви. Я немного подумала и решила, что дам Цви согласие на его

предложение руки и сердца, но при условии, что он сначала спросит разрешения у моей матери. «Она приедет на следующей неделе, и ты сможешь поговорить с ней», – сказала я.

Мама приехала, и на следующий день мы втроем прогуливались по парку Хампстед – хит, где наша семья любила постоянно что-то обсуждать.

Цви выглядел очень напряженным и нервно сообщил маме о своем намерении жениться на мне. Мама дала согласие – но с одним условием. Она просила не увозить меня в Израиль. После всего, через что мы прошли, она не могла находиться так далеко от своего единственного ребенка и, что было вполне вероятно, не видеться со мной в течение долгих лет.

Цви, очевидно, крайне потрясла ее просьба. Я знала, что он очень гордился Израилем и испытывал огромную преданность ему, к тому же считал себя обязанным оказывать помощь в укреплении новой нации. Хотя ему нравилось учиться в Лондоне, как и мне, он никогда не рассматривал этот город в качестве варианта для постоянного места жительства. И конечно, его мать, как и моя, не хотела бы жить за тысячи миль от своего единственного ребенка. Женитьба влекла за собой гораздо большие жертвы, чем он предполагал. Я наблюдала, как он изменился в лице после маминой просьбы, но, сделав большой глоток, согласился.

– Интересно, сколько сейчас времени? – внезапно спросила мама. Мы слишком увлеклись разговором и забыли, что маме нужно успеть на поезд.

Ни у кого из нас не было часов, поэтому Цви побежал к толпе людей и спросил, который час. Я с ужасом наблюдала за ним.

– Посмотри только, как он бегает! – сказала я маме. – У него такое плоскостопие, что он похож на Чарли Чаплина.

Думаю, что мама ответила что-то утешительное, но все же мои чувства относительно замужества были крайне противоречивы, и я не была уверена в том, правильно ли я поступила, приняв предложение.

Мы проводили маму на поезд, и после этого я сказала Цви: «Знаешь, я все еще не уверена, хочу ли выходить за тебя замуж. Я думала, ты спортивный, но – увы. Мне хотелось, чтобы мы вместе катались на лыжах и лазали по горам».

Эти пункты кажутся довольно тривиальными, особенно сейчас, когда я знаю о тех взлетах и падениях, которые влечет за собой долгий брак. Я просто пыталась объяснить то, что у меня было четкое представление о своем будущем муже, и я не знала, может ли Цви стать этим человеком. Это было сродни прыжку в темноту.

Мы разговаривали еще два часа, и Цви страстно утверждал, что мне нужно учиться принимать рискованные решения, и обещал, что он сможет измениться и стать именно тем, кого я бы хотела видеть рядом с собой. Конечно, тогда я была слишком наивна и не понимала, что люди редко когда меняются.

Он переубедил меня, и с чувством волнения и некоторой тревоги с моей стороны, мы назначили дату свадьбы за несколько месяцев вперед. Мы планировали пожениться в Амстердаме. Тем временем, как и планировалось, я должна была закончить работать в студии «Вобурн» и поехать с Цви в Дарвен, чтобы познакомить его со своей семьей.

Я ничего не знала о том, что, несмотря на ее поддержку, мама в письме моей тете советовалась с ней относительно того, подходим ли мы с Цви друг другу или нет, и выражала свое беспокойство по поводу свадьбы.

«Пока она еще не вышла замуж, я не могу в это поверить… Отчаяние придет, когда ее увезут в другую страну. Но я должна подавить свои чувства, и если я пожертвую ими, то надеюсь, что, по крайней мере, она будет очень счастлива…»

Блаженно не подозревая о маминых переживаниях, я была счастлива. В приподнятом настроении я поехала обратно в Голландию, чтобы начать собирать приданое.

19 июля 1952 года мы с Цви поженились в Королевском дворце Амстердама. На свадьбе были моя мама, бабушка, Отто, несколько друзей и госпожа Шлосс.

Мать Цви приехала из Израиля на церемонию и остановилась у нас в Мерведеплейн, пока мы ждали приезда Цви. Он уже объяснил мне, что его мать плохо восприняла эту новость и что она считает его женитьбу ужасной ошибкой. Моя бабушка тоже остановилась у нас в квартире, и после того, как они с мамой легли спать, я подкралась к госпоже Шлосс, чтобы пожелать ей спокойной ночи.

– Наконец-то ты пришла поговорить со мной! – сказала она, и в глазах ее сверкнула нелюбовь ко мне. Она начала перечислять множество причин, по которым я не должна разделять ее с любимым сыном. Это был ужасно неловкий момент. Я хорошо знала, что, соглашаясь на просьбу моей мамы, Цви тем самым ранил свою семью, но при этом я не могла не чувствовать, что его мать ведет себя бесчувственно.

В день свадьбы мои мама и бабушка сияли от радости со слезами счастья на глазах, а моя свекровь горько плакала, утираясь платком. Она наблюдала за церемонией с таким выражением лица, будто страдала от сильного расстройства желудка.

К сожалению, она приготовила нам еще один сюрприз.

– Смотри! – сказала она, раскрывая свой паспорт. – Я получила визу в Швейцарию и поеду вместе с вами в медовый месяц. Я уже собрала вещи!

Глубоко вдохнув, я отвела Цви в другую комнату и сказала: «Твоя мать не поедет с нами в медовый месяц! И о том, что она не едет, сообщишь ей ты!»

Бедный Цви… После уединенного и очень неприятного разговора с матерью он вернулся, и мы сфотографировались все вместе. После первой брачной ночи на голландском побережье мы отправились на поезде в Швейцарию.

С детства горы были для меня волшебством, и мне не терпелось разделить это удовольствие с моим новоявленным мужем.

В первое утро нашей поездки я решила ограничиться ближайшим кресельным подъемником, чувствуя себя экстатически счастливой, наслаждаясь свежим воздухом и альпийскими пейзажами. Когда подъемник стал двигаться все выше и выше, а земля осталась далеко внизу, я посмотрела на Цви и удивилась, потому что он крепко вцепился в поручень. Его глаза были закрыты, и на лбу выступил пот.

– Что случилось? – спросила я.

– Я не могу смотреть вниз, – ответил мой муж. – Когда мы приедем?

Вскоре мы доехали, и я спрыгнула с подъемника, озадаченная тем, что Цви так боялся высоты. Впереди была извилистая горная тропа, которая вела все выше и выше, а мне всегда так нравилось подниматься в горы. Я шла вперед, чувствуя жаркие солнечные лучи на лице, и остановилась, чтобы полюбоваться на альпийские цветы, которые мы с семьей раньше всегда собирали. Рядом со мной из-за горы открывался великолепный вид на долину. Я чувствовала себя в своей стихии. Но в какой-то момент я поняла, что слышу только скрип своих ботинок на тропинке и оглянулась назад. Куда же делся Цви?

«Ева… Ева…» – донеслись до меня его окрики. Когда я вернулась, то увидела, что он обхватил руками огромную скалу. Выглядел он так, будто слился с ней всеми фибрами своего существа, и дрожал. Он протянул мне руку.

«Я не могу идти дальше. Я не могу идти вперед и не могу вернуться. Помоги мне!»

Я сконфуженно взяла его за руку и медленно повела вниз по горной тропе.

Позже с Цви произошел еще один инцидент: он поел жирной тушеной баранины, и всю ночь его сильно тошнило.

– Ужасно себя чувствую, – стонал он, сжимая живот, а я лежала в темноте в ту жаркую летнюю ночь, размышляя об этом странном человеке, за которого вышла замуж.

В отличие от современных пар, которые перед тем, как пожениться, долго живут вместе, мы не очень хорошо знали друг друга, и наши отношения до женитьбы были абсолютно платоническими. (Цви думал, что дети рождаются из пупка женщины.) Брак стал для нас путем настоящих, а иногда и удручающих открытий. Я думала, что Цви такой же, как мой папа, потому что они были немного похожи, и предполагала, что все мужчины такие же активные и энергичные. А то, что Цви спортивный, я подумала потому, что однажды через окно в спальне видела, как он чистил пару походных ботинок – серьезное основание для такого вывода! Теперь же мне пришло в голову, что, скорее всего, Цви совсем не похож на моего отца.

22
Непрерывная цепь

Следующий брак в нашей семье состоялся через год: мама вышла замуж за Отто. Они расписались по-тихому, и мама рассказала нам об этом только после того, как все свершилось. Я сразу поняла почему: они поженились 10 ноября 1953 года, за день до дня рождения моего отца, и мама понимала, как это меня расстроит.

Какое-то время Отто с мамой жили в Мерведеплейн, но обоих преследовали воспоминания, поэтому они решили переехать в Швейцарию, чтобы начать свою семейную жизнь с чистого листа и быть поближе к оставшейся семье Отто. Несмотря на его полную готовность к тому, чтобы дневник Анны был опубликован и получил заслуженное признание, война и потеря семьи оказали ужасное воздействие на его эмоциональное и психическое состояние. Он часто плакал, страдал от ужасных припадков и глубокой депрессии. Правда заключалась в том, что как бы сильно Отто не любил Амстердам, он не мог больше там жить.

Я слишком хорошо понимала чувства Отто: война и ее последствия серьезно сказались и на моей психике.

После медового месяца мы с Цви переехали в две арендованные комнаты в доме неподалеку от улицы Энсон, но никто из нас не проникся симпатией к новому жилью. Нашей хозяйкой была вдова с двумя незамужними дочерьми, которые владели известным еврейским гастрономическим магазином под названием «Гринс». Дома всегда было грязно и мрачно. Мы ютились в маленькой спальне и гостиной, где стояла плита, но нам приходилось мыть тарелки, кастрюли и сковородки в общей ванной, в которой всегда был жирный слой грязи на раковине от других постояльцев.

Я закончила работать на студии «Вобурн», когда вышла замуж, потому что истек срок контракта, но постоянное нахождение дома без дела угнетало меня, и Цви согласился с тем, что мне нужно подать заявку на новую работу и пойти на курсы, чтобы заполнить дневное время.

Я отправила несколько десятков заявлений на работу, а тем временем поступила в местный политехнический колледж, чтобы обучиться ткацкому делу и изготовлению перчаток. Мой первый день обернулся катастрофой. К концу занятий мне очень захотелось в туалет, но я стеснялась спросить у кого-нибудь, где он находится. Трудно понять, насколько может вредить

застенчивость, если от нее не страдаешь, но из-за травмирующего лагерного опыта и потери отца с братом я практически разучилась говорить с людьми. Я просто не могла вынести мысли о том, что мне нужно спросить кого-нибудь про дамскую уборную, поэтому я вся сжалась и побежала к автобусной остановке. Бежать было не долго, но мне показалось, что прошла вечность, пока автобус не приехал и не начал медленно двигаться. Наконец-то он доехал до моей остановки, я спрыгнула и понеслась по улице Энсон, чувствуя агонию при каждом шаге. Я добрался до нашего дома как раз вовремя, но, к моему ужасу, приехали угольщики с доставкой, а тогда уголь хранился в ванной.

– Прости, голубушка, – сказал угольщик, преграждая мне путь рукой. – Мы здесь заняты, тебе придется подождать.

Ждать? Я не могла больше ждать ни секунды. Я села на невысокую садовую ограду и, как ни старалась, не смогла больше терпеть. Я обмочила одежду, и когда угольщики ушли, побежала наверх в мокрой юбке, чтобы привести себя в порядок.

В тот вечер я рассказала Цви о случившемся, и, при всем его сочувствии, я видела, что он был несколько удивлен своей женой, которая вела себя настолько застенчиво на публике, но наедине с ним, как правило, довольно откровенно. Вернувшись из лагеря, я поклялась, что никогда больше не стану жертвой, но почти десять лет спустя вот какой я оказалась, по крайней мере, на публике – загнанной в свою скорлупу, общительной когда-то девушкой.

Вскоре после этого инцидента мне предложили двухнедельный испытательный срок в фотостудии «Виктория». Он прошел удачно, и мне предложили работу на постоянной основе, но я поняла, что мне там не нравится и я не захотела оставаться. Казалось бы, решение было очевидным – я могла бы сказать: «Нет, спасибо, эта работа не для меня». Я могла сказать им, что мои личные обстоятельства изменились. Я могла соврать и отказаться. Но я не смогла сделать ни того ни другого; мне не хватало решимости признаться в том, что я не хочу работать в этой компании. После долгих мучений я попросила Цви позвонить в офис и сказать, что его отправляют на работу в Манчестер и мы уезжаем из Лондона. Это было неправдой и слишком сложным обманом для такой незначительной проблемы.

В ткацком деле и в изготовлении перчаток я тоже не достигла больших высот. Мне удалось сделать одну-единственную перчатку и соткать один фиолетово-розовый шарф, который я отправила своей теще в Израиль. В своей непреклонной манере она написала: «Больше всего в этом шарфе мне не нравится его цвет…»

«Я больше никогда ничего не сделаю для твоей матери», –

возмущенно сказала я Цви, хотя, честно говоря, она, кажется, была права.

К тому времени Цви успешно работал в компании биржевых маклеров «Штраус Тернбулл», и мы искали себе подходящий дом. Как только появилась возможность, мы купили небольшую квартиру на первом этаже в доме на улице Олив и даже занялись обустройством нашего первого сада, посадив яблоню, которую мы взяли с собой при переезде в наш следующий дом, где она до сих пор прекрасно плодоносит.

Со стороны жизнь выглядела идеально: мы были молоды и прокладывали себе дорогу в этом мире, но на самом деле я все еще боролась с эмоциональными и физическими последствиями Аушвица.

Через довольно короткий промежуток времени с момента нашего заселения в квартиру на улице Олив у меня вдруг обнаружилась температура. Она была не особо высокой, но сколько бы я ни отдыхала, не спадала. Я практически постоянно чувствовала себя плохо. В конце концов врач отправил меня на дополнительные обследования, и они показали рубцы в легких и туберкулез костей. Это была ужасная новость, так как в то время от туберкулеза лечились месяцами и даже годами.

Меня отправили в знаменитую Королевскую национальную ортопедическую больницу в Станморе, и я провела там три недели. За это время мне сделали рентген и другие обследования, и однажды утром у моей кровати появился врач и сказал: «У вас нет туберкулеза, миссис Шлосс, вы можете выписываться». Я с радостью покинула эту холодную и сумрачную больницу, казавшуюся очень примитивной по сравнению с другими европейскими медучреждениями, которые я видела, но врач также сказал мне, что рубцы в легких говорят о серьезном заболевании, перенесенном ранее – вероятно, когда я находилась в лагере.

На этом мои проблемы со здоровьем не закончились. Вскоре после возвращения из лагеря я осознала, что Аушвиц несет ответственность за еще более глубокие последствия.

Однажды дождливым лондонским днем я решила пойти на лекцию по геологии в Музей естествознания. Когда я вышла из музея, меня пробрала дрожь от сырой ненастной погоды, и я решила выпить чашечку чая в кафе напротив. Я села, заказала чай и заметила, что на меня смотрит пожилой мужчина за соседним столиком. Он наклонился и прокашлялся, и я подумала, что он собирается что-то сказать. Но вместо того чтобы завести со мной беседу, он попросил разрешения рассмотреть мою ладонь. Я понимала, насколько это глупо, но мне было любопытно, и я

немного опешила. Я перевернула руку, и он начал водить пальцем по моей ладони.

– О-о, да, – сказал он, пока мы оба всматривались в линии на моей руке. – Эта линия показывает, что у вас будет очень долгая жизнь.

Это определенно было хорошей новостью.

Затем он остановился.

– Подождите, я не могу разобрать…

Он нахмурился и всмотрелся пристальнее.

– А эта линия должна показывать, будут у вас дети или нет, но это нелегко проследить – я не берусь сказать, будет ли у вас семья или нет.

До этого момента я никогда не задумывалась о том, что у меня может не быть детей. Я в ужасе отдернула руку. Вдруг вспомнились слова папы о непрерывной семейной цепи, и я внезапно поняла, что если бы мы с Цви не могли иметь детей, это было бы невыносимо.

Я бросилась домой в слезах и хлопнула входной дверью. Цви сидел в гостиной.

– Забудь о том, что нам надо получше обустроиться, – выпалила я. – Мы должны сделать ребенка прямо сейчас.

– Хорошо, – смущенно ответил муж, – но я думал, что ты хочешь подождать, пока у нас не появится жилье попросторнее?

– Нет, мы должны начать попытки немедленно!

Но шло время, и стало казаться, что предсказание хироманта может сбыться. Мы пытались в течение года, но беременность не наступала.

В конце концов мы записались на прием в больницу Элизабет Гарретт Андерсон на улице Юстон, и когда сидели в приемной, возможность того, что у нас никогда не будет детей, лежала между нами тяжелым грузом. Доктор подтвердил мои худшие опасения. Аушвиц оказал негативное влияние на функционирование моего организма и на мой гормональный фон. Я начала курс лечения и ждала, ждала – но все равно ребенка так и не было.

Я погрузилась в уныние, и поэтому осенью 1955 года Цви предложил съездить вместе с моей мамой и Отто в отпуск, в Норвегию, чтобы отвлечься. В те дни Норвегия не была международным туристическим направлением, и мы чудесно отдохнули: наслаждались красотой фьордов и водопадов, безуспешно пытались объясняться на английском языке, ели оленину и катались на местных автобусах. Даже со всеми моими проблемами я не могла не расслабиться и не наслаждаться, и когда вернулась в Лондон, то обнаружила, что у меня пропали

месячные. Наконец-то я забеременела.

Несмотря на тот ужасный жизненный опыт, который был у меня за спиной, я все еще была на редкость невежественна в вопросах беременности и родов.

Первые несколько месяцев меня ужасно тошнило и при малейшем запахе пищи рвало. Однажды вечером я готовила тушеное мясо для Цви, но как только я сняла крышку с кастрюли и запах ударил мне в нос, меня вырвало прямо на пол рядом со столом.

Цви начал кричать:

– Что ты делаешь?! Ты чуть не испортила мой ужин!

Меня так взбесили эти слова, что я подняла тяжелую крышку от кастрюли и с треском обрушила ее на голову мужу, почти нокаутировав его. Несмотря на то что в обществе я мучилась от застенчивости, с Цви я никогда не была такой – я тоже умела проявить характер.

Через долгих девять месяцев меня увезли в лондонский родильный дом, и я почти не знала, как же на самом деле мой ребенок появится на свет.

Мама и Цви ехали со мной в машине скорой помощи, но, в стиле того времени, их развернули назад в дверях больницы. В те дни роды все еще были чем-то, через что женщина проходила в одиночку, и я с ужасом оглянулась на мать с мужем.

– Приходите завтра, – быстро сказала им медсестра, уводя меня за локоть стальной хваткой.

Мама очень расстроилась и схватила Цви за руку.

– Она похожа на овцу, которую ведут на бойню.

Меня поспешно отвели в комнату и сказали лечь и ждать. Я сделала, что велели, и стала гадать, что произойдет дальше. Вскоре меня охватила страшная боль, и я издала пронзительный крик.

Дверь в мою комнату открылась, и медсестра сказала: «Успокойся, тебе еще несколько часов ждать», – и снова быстро закрыла дверь.

Пока ночь медленно тянулась, я снова визжала и сжимала свой живот, с убеждением, что это самое ужасное, через что может пройти человек, и я была идиоткой, так сильно желая этого. Но как только мой ребенок появился на свет, я передумала. Сначала моя дочь выглядела не лучшим образом, и у нее оказалась желтуха, но как только я прижала ее маленькое тельце к себе, я поняла, что именно этого момента так ждала.

– Мне кажется, я готова родить второго ребенка прямо сейчас, – заявила я медсестре, которая, должно быть, подумала, что я брежу.

Мы решили назвать дочь Кэролайн Энн, и за несколько следующих месяцев она превратилась в прекрасного малыша, с блестящими живыми глазками и темными волосами. Цви сказал, что Кэролайн в корне изменила меня. Это было правдой: я не чувствовала ничего, кроме радости от появления на свет этого нового маленького человечка. Есть что-то в новорожденном ребенке, символизирующее весь мировой оптимизм – не важно, насколько мрачным было прошлое.

Началась новая глава в моей жизни, и вскоре меня поглотили задачи, стоящие перед молодой матерью. Мы почти сразу сообразили, что в нашей квартире нам будет тесновато втроем, и нашли прекрасный большой дом в лондонском пригороде Эджвар. Дом нуждался в довольно серьезном ремонте, так как был реквизирован армией во время войны, но Отто помог нам взять кредит для первоначального взноса, и мы переехали и начали приводить жилище в порядок.

Все мои опасения по поводу замужества оказались беспочвенными. Цви стал не только надежным и любящим мужем, но и хорошим отцом; он обожал свою новорожденную дочь, часами играл с ней и менял ей подгузники. Он даже готовил каждое утро завтрак для нашего постояльца, пока я могла спокойно покормить Кэролайн грудью. Слава богу, я приняла его предложение руки и сердца, и теперь не представляю, как бы я жила без него.

В то время Эджвар был больше похож на заросшую деревьями английскую деревню, нежели на лондонский пригород, и хотя мне нравилось его умиротворяющее спокойствие, я все же чувствовала себя там одиноко. Днем у нас дома царили тишина и безлюдье, а на улицах обычно было бесшумно и пустынно. Цви предложил мне снова начать работать фотографом, но неуверенность в себе не позволяла мне привлекать клиентов.

Когда Отто с мамой приехали погостить, я рассказала ей о своей идее, и она взяла все в свои руки. В то время женщины оставляли своих детей на улице в детских колясках на лужайке перед домом, чтобы те дышали свежим воздухом, и моя мать ходила по квартирам каждый раз, когда замечала детскую коляску, спрашивая молодых матерей, не хотят ли они сфотографировать своего ребенка. Вскоре у меня появились первые заказы, и я начала многообещающий бизнес, фотографируя младенцев и детей дошкольного возраста, проявляя фотографии в чулане, который я превратила в темную комнату. Я действительно была хорошим фотографом, с большим профессиональным опытом, но мне все равно не хватало уверенности в собственных силах.

Катастрофа произошла в тот момент, когда я занялась свадебной фотографией. Я очень обрадовалась заказу на съемку свадьбы местного учителя и отработала весь день, прилагая все усилия, чтобы сделать отличные фотографии. В 1950-х годах свадьба была самым важным событием в жизни молодой пары, и поэтому невозможно описать мой ужас, когда я, наконец, пришла в свой чулан проявлять пленку и обнаружила, что не сделала ни одного кадра. Пленка оказалась совершенно пустой.

Мысли вихрем кружились у меня в голове, я буквально дрожала от нервного напряжения и не спала всю ночь, но не могла придумать никакого решения. Через три недели новобрачная позвонила мне, чтобы узнать, когда я привезу их фотографии.

«Даже не знаю, как вам сказать… – я запнулась, потом глубоко вздохнула и произнесла: – Мне жаль, но произошла ужасная неполадка, и ни одна из фотографий не вышла…»

Я крепко держала телефон в руке, ожидая взрыва эмоций, но в ответ была смертельная тишина. Прошло несколько секунд, и я подумала, не ослышалась ли она. В конце концов, напряженным голосом она вежливо произнесла: «О боже, как жаль… Но если ничего нельзя сделать, то так тому и быть».

Позже, все еще находясь в состоянии шока, я села рядом с Цви и сказала: «Можешь себе представить, что это случилось бы на еврейской свадьбе?» Мы оба подняли брови, вообразив тот взрыв эмоций, который, несомненно, произошел бы, а затем шквал криков и воплей. Английский менталитет казался нам необычным, если не приятным, и они, конечно, умели держать свои чувства при себе.

Мне нравились англичане их причудливым своеобразием, хорошими манерами и терпением и той довольно сдержанной, но глубоко укоренившейся неприязнью к власти и к любому принуждению. (В этом они представляли полную противоположность немцам.) Но все же английская сдержанность была для меня загадкой.

До тех пор, пока я оставалась болезненно стеснительной, было очевидно, что ни одна английская женщина не подбежит ко мне и сама не предложит дружбу. К тому времени я уже родила свою вторую дочь Джеки и проводила много часов в одиночестве, отведя детей в парк или к местному озеру. Во время этих прогулок я регулярно видела одну даму и надеялась, что она заговорит со мной. Я долго собиралась с силами и, как ни готовилась заранее, всегда теряла самообладание в самый последний момент, так и не заговорив с ней.

Однажды я пригласила няню, чтобы поехать в город, и когда

вышла из дома, то увидела, что моя соседка тоже уходит куда-то. Я проследила за ней до автобусной остановки, придумывая, как начну разговор, но как только я увидела грохочущий вдалеке автобус, меня охватил страх. Я встала в очередь позади нее. Автобус подъехал, дверь открылась, и моя потенциальная подруга зашла внутрь. Мне нужно было заговорить с ней в ту самую минуту или же никогда, но мне не хватило смелости, чтобы зайти в автобус. Вместо этого я спряталась за дерево и дождалась, пока автобус не уехал. Ситуация была безнадежной.

К счастью, у меня появился один хороший друг. Вскоре после рождения Кэролайн я познакомилась с женщиной по имени Анита, у которой тоже был ребенок, и наша дружба длится по сей день. Мы провели много часов вместе, сидя на берегу озера в Эджваре, катая коляски и рассказывая друг другу о своей жизни и детях. Мы были близки, но я, конечно, не ожидала, что Анита будет сопровождать меня и на новом этапе моей жизни – в Швейцарии. Тем не менее она все-таки оказалась рядом.

Цви предложили новую работу в Израильском банке в Цюрихе. Для него это было хорошим повышением, но я не хотела переезжать и снова начинать жизнь в другой стране. Он обещал, что мы сдадим наш дом в аренду и вернемся через пару лет, и, в конце концов, я согласилась. Мне было грустно расставаться с Эджваром и возвращаться на континент (даже несмотря на то что открывалась соблазнительная возможность кататься на лыжах по выходным).

Еще меня утешало то, что я снова буду рядом с мамой и Отто, хотя я знала, что они полностью поглощены работой над «Дневником» Анны Франк.

23
Отто и Фрици

Однажды я спросила маму, как она может быть так счастлива с Отто и влюблена в него, помня счастливые годы с моим отцом? Мне не хотелось, чтобы моя мать провела свою жизнь в одиночестве, но, когда я размышляла об этом, то полагала, что невозможно возместить счастье нашей семьи и что никто не может занять место папы, который был такой доминирующей личностью.

Мама объяснила мне, что это два совершенно разных мужчины и каждый из них имеет значение в определенном этапе ее жизни.

– Эви, когда я была молодой женщиной, твой отец стал для меня идеальным мужем, – сказала она. – Он был энергичным и вдохновляющим, всегда принимал все решения за нас. Я никогда не знала, что произойдет на следующий день, и жизнь казалась большим приключением. Но с Отто у нас другие отношения: в них больше равноправия. Мы все обсуждаем, делимся всем друг с другом, вместе принимаем решения. Твой отец был подходящим мужем для меня во времена молодости, а Отто подходит мне теперь, когда я стала старше.

И тихо она добавила:

– Кроме того, мы оба так много перестрадали и прекрасно понимаем друг друга.

Ее объяснение имело смысл, но мне все равно было немного больно видеть, как сильно мама и Отто любили друг друга. Никто никогда не мог занять место отца в моем сердце, но я должна сказать, что Отто стал прекрасным отчимом и любящим дедушкой для моих детей. Он носил их фотографии с собой в бумажнике и часто показывал их людям и радовался тому, что они вытворяли.

У нас с Цви появились на свет три дочери: Кэролайн, Джеки и Сильвия. Третья девочка родилась уже в Швейцарии. Каждый год мама с Отто забирали одну из них на время, чтобы побольше пообщаться. Мы всегда проводили семейные праздники и Рождество вместе.

Я была фанатичной лыжницей и не могла дождаться, когда поеду в Альпы на время зимних каникул, но даже мне иногда нравилось поваляться в постели, поэтому я не очень радушно приветствовала маму и Отто, врывавшихся в нашу спальню на рассвете. Отто барабанил тросточкой по кровати и весело кричал:

«Пора вставать! Подъем!»

Отто оставался истинным немцем в своих манерах и темпераменте и никогда не любил, чтобы кто-то валялся в постели.

«Сразу видно, что он служил в немецкой армии», – стонал Цви, имея в виду участие Отто в Первой мировой войне. (Еще он ненавидел беспорядок; когда он останавливался в нашем лондонском доме, после того, как мы приезжали из Швейцарии, то надевал спецодежду и убирал гараж или приводил в порядок сад.)

Летом Отто и мама ездили с нами отдыхать на побережье: сначала в Корнуолл, а в последующие годы в Тоскану. Отто строил смешные рожицы и занимался с девочками гимнастикой на песке, а мы все плавали в море.

Женитьба на маме открыла ему возможность новой жизни, как он однажды объяснил молодой женщине, которая писала ему о том, каким он ей представлялся в связи с военным и лагерным опытом.

«Все, что вы знаете обо мне, произошло двадцать шесть лет назад, и, хотя этот период был важной частью моей жизни и оставил незалечиваемые раны в моей душе, я продолжаю жить… Думайте обо мне не только как об отце Анны, каким вы знаете меня по книге и спектаклю, но и как о человеке, наслаждающемся новой семейной жизнью и любящем своих внуков».

Он, конечно, получал удовольствие от семейной жизни и обожал Кэролайн, Джеки и Сильвию: учил их кататься на коньках в Швейцарии, организовывал новогодние игры и подарки для всех детей на курорте, а как-то раз купил нашим девочкам велосипед на отдыхе в Италии, чтобы бегать за ними по пыльным дорогам, пока они учились ездить.

Моя дочь Джеки вспоминает, как она забегала в их комнату в Эджваре, прыгала к ними в постель, обнимала их и слушала, как Отто рассказывал истории. «Он придумывал замечательные рассказы, и мне всегда не терпелось услышать следующую часть».

Тем не менее его вышеприведенные замечания кажутся мне лишь частью более сложной истины. За нашей новой жизнью всегда следовали призраки погибших родственников, и успех «Дневника» Анны Франк означал, что Анна, в частности, играла важную, а иногда и всепоглощающую роль.

Отто и мама практически каждую минуту бодрствования в течение более тридцати лет занимались вопросами, связанными с публикацией или постановкой «Дневника», а затем руководством Домом-музеем Анны Франк в Амстердаме и Фондом Анны Франк в Швейцарии, а также отвечали на бесконечное количество писем

со всего мира.

Поначалу в маленькой мансардной квартире в доме сестры Отто в Базеле, а затем в их собственном доме в Бирфсдене Отто и моя мать каждый день садились и обсуждали, как ответить на каждое письмо. «Дневник» Анны Франк нашел отклик в сердцах многих, особенно молодых, людей, и Отто стремился ответить каждому из них.

Он шагал взад-вперед по их кабинету, читая письмо от семнадцатилетней девочки из Калифорнии, которая написала, что родители не понимают ее.

– Как думаешь, что ответить ей? – спрашивал он маму. Она сидела за печатной машинкой и придавала подобным ответам более женственное звучание.

В 1963 году Отто и группе сторонников удалось спасти дом №263 на улице Принсенграхт от сноса. Они выкупили здание и создали Дом-музей Анны Франк в Амстердаме. Отто принимал активное участие в управлении организацией, даже контролировал работу различных сотрудников. С мамой он приезжал в Нидерланды не реже одного раза в месяц, чтобы все отслеживать.

Затем появились различные дела, связанные с публикацией «Дневника» во многих странах, и велась непрерывная борьба за права на пьесу с американским писателем по имени Мейер Левин. Все это повлияло на хрупкие нервы Отто.

Мейер Левин познакомился с Отто вскоре после прочтения раннего издания «Дневника» и написал версию пьесы, которая понравилась Отто. Это был серьезный и правдивый рассказ о дневнике, в котором подчеркивалось еврейское происхождение Анны, но театральные продюсеры опасались, что зрители сочтут его слишком грустным и мрачным. Мейер Левин не смог найти успешного театрального продюсера, который поставил бы его версию пьесы, а другой вариант (гораздо более легкий и с менее заостренной еврейской темой) был заказан Фрэнсису Гудричу и Альберту Хакетту, которые написали пьесу под названием «Худой человек, отец невесты и семь невест для семи братьев».

Первоначально дружеские отношения Отто с Мейером Левином испортились, и Левин судился с Отто в течение нескольких лет. Дело втянуло всех, с кем либо Мейер, либо Отто имели дело, даже Элеонору Рузвельт. Полемика переросла в кровавое побоище. Левин писал гневные обвинения в газеты тех стран, куда приезжал Отто.

В январе 1960 года Левин писал ему: «Ваше поведение навсегда останется примером страшного зла и отцовского предательства слов дочери».

События, связанные с пьесой, разрушили жизнь Мейера Левина и сломили его. После его смерти дочь Левина написала, что ее отец «утратил свои моральные устои» в споре с Отто, но я немного сочувствовала Мейеру Левину, несмотря на то через что он заставил пройти Отто. Его версия пьесы была намного лучше, и я думала, что его обвинения не беспочвенны, что ее постановке помешал заговор Хакетта и Лиллиан Хеллман. В целом этот случай представлял собой яркий пример того, как наследие Анны Франк вызывает у людей глубокие чувства и даже безумие – и на мою жизнь оно повлияло тоже, особенно после того, как я начала рассказывать о своем собственном опыте.

Помимо крайне неприятной череды судебных баталий с Мейером Левином, Отто также принимал участие в судах против антисемитов и отрицателей Холокоста, которые оспаривали правдивость дневника, утверждая, что это подделка, написанная либо Отто, либо Мейером Левином.

В 1959 году в Германии Отто и два издательских дома подали в суд на Лотара Стило и Генриха Буддеберга, утверждавших, что дневник – подделка. В Базель направили трех экспертов для изучения рукописи, которая, как они заявили, является подлинной. Дело продолжалось до октября 1961 года, когда адвокаты Стило объявили, что он передумал, поскольку не было «никаких оснований утверждать, что дневник фальшивый».

Однако на протяжении многих лет Отто неоднократно был вынужден защищать произведение своей дочери в суде, включая известное разбирательство с отрицателем Холокоста Робертом Фориссоном, начатое в 1976 году. В итоге издателю Фориссона, Хайнцу Роту из Франкфурта, запретили публиковать брошюры с заявлениями о поддельности дневника Анны.

Эти затяжные судебные баталии измучили Отто, и обычно они сопровождались ростом антисемитской ненависти и личными нападками. Последний случай имел дальнейшие непредвиденные последствия, когда Отто поставили в известность о том, что из Германии прибудет еще одна группа экспертов для изучения всех имеющихся у него материалов относительно Анны.

Отто, который уже старел и был довольно болен в то время, воспринял эти слова буквально и дал одному из своих лучших друзей, Кору Суйку, несколько дополнительных неопубликованных страниц из дневника. Мне кажется, Отто воспринимал их как очень конфиденциальные, и думал, что, отдав их Суйку, он мог честно признаться немецким властям в полной передаче всех материалов, при этом сохранив их в тайне.

Я не думаю, что он был намерен отдать эти записи Суйку насовсем. Отто отслеживал каждую мельчайшую деталь

публикации дневника и любил держать все под строгим контролем. Я считаю, что он не хотел увидеть эти страницы опубликованными, даже если бы доходы от продаж «Дневника» в США могли финансировать благотворительную деятельность.

В этих пяти листах были размышления Анны о браке ее родителей, а также слова о том, что Отто, по ее убеждению, никогда по-настоящему не любил свою мать. В них также содержались ее собственные замечания по поводу секса и высказывания о том, что Отто считал несправедливым порочить образ всех немцев из-за нацистов. В целом я считаю, что включение этих отрывков не изменили ничего существенного в дневнике, и мы с мамой горько пожалели о том, что они были опубликованы, вызвав последовавший фурор.

Успех «Дневника» принес в нашу жизнь много замечательных людей и событий. Отто с мамой любили путешествовать по миру и встречаться с читателями, которых так тронул опыт Анны. Многие из них были обычными мальчиками и девочками, но встречались и известные мировые деятели, в том числе Джон Ф. Кеннеди, впоследствии многообещающий сенатор США, который помог организовать благотворительную постановку пьесы в Нью-Йорке. Позже, будучи президентом, он попросил министра труда возложить венок к дому Анны в Амстердаме.

Есть также прекрасная фотография, где Отто и мама стоят с Одри Хепберн, которая пробовалась на роль Анны в фильме. Детство Одри Хепберн прошло в Голландии во время Второй мировой войны, она своими глазами видела депортацию евреев, что ее глубоко затронуло, но в конце концов она не решилась играть Анну, сказав, что это стало бы слишком угнетающим опытом для нее. «Дневник» Анны всегда много значил для Одри, и спустя годы она приняла участие в музыкальном представлении в театре Барбикан в Лондоне, читая отрывки из книги. Я встретила ее за кулисами, и мы обе разрыдались. Я обняла ее и сказала: «Вы вернули Анну к жизни».

«Дневник» Анны Франк налагал огромное чувство ответственности на Отто и мою мать. Они полностью посвятили себя тому, чтобы наследие Анны было защищено и распространялось надлежащим образом. Они жили скромно, никогда не ездили на такси и питались обычной едой.

«Деньги, которые мы получаем, это деньги Анны», – говорил Отто, и он действительно имел твердое намерение, чтобы никто никогда не бросался на ветер деньгами, полученными от продаж книги. Иногда мне казалось, что он зашел в этом своем стремлении слишком далеко. Когда мы шли ужинать с почитателями Анны Франк, Отто платил за них, но за Цви и меня

– никогда. Но Отто был уверен, что прав.

Однако Отто признал свою несправедливость в одном вопросе. До публикации «Дневника» в своей записной книжке и переписке он часто рассказывает об обеих дочерях, не делая различий между Анной и Марго. Возможно, он оказывал одной из них больше внимания, как это делают многие родители, но никаких доказательств этого нет. Он часто пишет о Марго, ее интересах и характере. Однако после успеха «Дневника» его мысли обратились почти исключительно к Анне – и он редко упоминал Марго или свою первую жену Эдит.

«Дневник» и наследие Анны стали его жизнью, и, хотя все любили с ним общаться, он мало интересовался людьми, которые не были заинтересованы в Анне Франк. В нашем собственном доме он часто использовал Анну в качестве примера, когда беседовал с моими детьми, говоря: «Анна не поступила бы так…», если они делали что-то неправильно или он думал, что они могли бы вести себя по-другому. Я могу понять, как сильно он хотел сохранить Анну в живых и убедиться в том, что Кэролайн, Джеки и Сильвия знали о ней все, но иногда их это нервировало. Иногда он даже называл одну из девочек «Анной».

Наша младшая дочь Сильвия всегда просила меня спать вместе с ней в одной кровати, когда мы приезжали в квартиру мамы и Отто, потому что она чувствовала там присутствие «жуткого» призрака.

«За несколько недель до приезда я начинала испытывать страх, что мне придется жить в этой квартире, – говорит она. – Там было как в музее, и я даже называла Базель “городом-призраком”».

Что касается девочек, Отто стал им дедушкой, но иногда им хотелось, чтобы он уделял внимание исключительно им.

– Он учил нас кататься на коньках и велосипеде, – рассказывает Сильвия, – но я чувствовала, что между нами есть барьер. Мы всегда знали, что каким-то образом заняли второе место в жизни Отто с бабушкой – после Анны Франк. Может быть, именно я возвела этот барьер, но я чувствовала, что мы всегда должны были в глазах Отто соответствовать Анне.

Будучи взрослой, я понимала, насколько мы выиграли от того, что Отто появился в нашей жизни. Он помог мне во многих отношениях, когда я чувствовала себя потерянной в этом мире, мягко направив меня в нужное русло. Я часто думала: наверняка Отто придает значение тому, что я выжила, а его собственные дочери погибли, но могу сказать честно, что он никогда не показывал этого за все время нашего знакомства. Он относился ко мне со всей заботой и вниманием, будто я была его плотью и

кровью.

Если я иногда сердилась на кого-то, то на маму, а не на Отто. Когда Отто помог нам с кредитом для покупки дома в Эджваре, он попросил разрешения использовать нашу гостиную как спальню и кабинет, когда они будут приезжать Лондон. Они проводили с нами три месяца в году, и я с нетерпением ждала их приезда, планируя отправиться с мамой по магазинам или пообедать. Но меня раздражало, когда эти планы откладывались или отменялись из-за того, что мама с Отто решали продолжить отвечать на письма или решать какой-либо другой вопрос, связанный с дневником. Я планировала обед и поход по магазинам, а затем с тревогой слушала утреннее тиканье часов, пока Отто с мамой обсуждали сначала одно письмо, затем другое.

– Ты готова? – спрашивала я, видя, что время нашего совместного обеда приближается.

– Еще одно письмо, – отвечала она. – Мы еще успеем добраться до магазинов.

Время проходило, обед откладывался, и я снова их перебивала. «Нам уже действительно пора», – говорила я.

Но мама бросала взгляд через стол на Отто, и он беспомощно указывал на кучу неотвеченных писем – и еще одна поездка отменялась.

Мама всегда ставила свои отношения с Отто на первое место, и иногда мне хотелось требовать от нее больше внимания. В 1968 году, к моему большому удивлению, я обнаружила, что беременна четвертым ребенком, но беременность была трудной с самого начала. Я страдала от колита и пошла к врачу, который провел ужасно болезненное внутреннее обследование.

Тем же вечером случился выкидыш, и меня увезли в больницу, а моя подруга Анита приходила присматривать за детьми. Цви уехал в Израиль по делам на несколько недель, но мама с Отто должны были скоро приехать из Дании. Я пролежала в больнице несколько дней, чувствуя усталость и волнение за девочек. В этот момент мне очень хотелось, чтобы мама была рядом.

– Мама, пожалуйста, приезжай ко мне, – просила я ее по трескучей телефонной связи с Данией. – Я хочу, чтобы ты приехала, ты мне нужна.

– Это очень сложно, – отвечала она. – Ты знаешь, что мы должны пробыть здесь еще несколько дней, у них все запланировано… И что бы делал Отто тут без меня…

Она приехала через три дня после окончания визита в Данию, и тогда мне очень хотелось, чтобы мама поставила меня на первое место.

Несмотря на мое негодование по поводу этого инцидента, мы замечательно провели время вместе. Мы всегда вместе отмечали мой день рождения, день рождения Отто (12 мая) и день рождения мужа тети Отто, Сильвии. Дети писали и разыгрывали сценки, сыпля шутками под аккомпанемент низкого, хриплого маминого смеха.

Отто оставался в замечательном здравии до своего девяностолетия, но к 1980 году появились признаки какой-то болезни. «Я не болен, – говорил он окружающим, – я просто устал».

Он не знал: несколько месяцев назад врач сказал маме, что у него серьезный случай рака и долго он не проживет.

Я гостила у них весной и летом 1980 года и видела, как быстро ухудшалось состояние Отто. Он все еще наслаждался компанией людей, но теперь хотел принимать только одного человека за раз и становился очень слабым. Он выглядел почти высохшим, с кожей, приобретшей страшный серый оттенок. Он боролся, но последние несколько недель не мог встать с кровати, и мама носила его по квартире. Друзья уговаривали отправить его в больницу – но она не хотела об этом слышать, настаивая на том, что будет ухаживать за ним дома. Когда конец был близок, легкие Отто начали заполняться водой, и ему уже нужна была медицинская помощь.

Он умер 20 августа. Мама находилась около его постели.

Отто Франк стал отчасти отцом для многих людей, которые прочли «Дневник», и был великим гуманистом, распространявшим подлинные идеи терпимости и понимания. Поток соболезнований последовал за его смертью, и Фонд Анны Франк в Голландии даже обсуждал заказ самолета для перевозки многочисленных скорбящих, которые хотели присутствовать на похоронах.

Отто кремировали, что не соответствовало еврейским обычаям, но было выполнено по его желанию. На поминках мама включила запись речи Отто для одного интервью. Его спокойный голос эхом разносился по их маленькому дому, как некий потусторонний призрак, который уже знал, какую роль он сыграет в истории.

Во время последнего визита Отто в Нидерланды в честь дня рождения Анны, 12 июня, королева Беатрикс вручила ему высшую награду страны – Орден Оранских-Нассау. Это было достойной данью уважения всем его общественным начинаниям, но друзья и семья оплакивали Отто как простого человека. Мы с Цви и наши дети ужасно скучали по нему, а жизнь моей матери действительно потеряла смысл без него. «Моя жизнь

закончилась, – говорила она, глядя на его портрет, висевший в их гостиной. – Отто, почему ты покинул меня?»

Ему удалось не только сохранить наследие прошлого, но и жить настоящим. «Я никогда не иду по уже пройденному пути», – сказал он одной молодой поклоннице Анны Франк, бодрым шагом проводив ее до трамвайной остановки, и ушел, не оглядываясь назад.

24
Новые начинания

Нет лучшего момента в жизни, чем пятидесятилетний возраст, чтобы задуматься о прожитой жизни. Даже если эта знаменательная дата не влечет за собой значительных изменений, нельзя не оглянуться назад, на себя в прошлом, и не оценить, каким ты стал к настоящему времени. 11 мая 1979 года мне исполнилось пятьдесят, и когда вся семья собралась за праздничным столом, мама встала и прочла речь.

В полном нежности и очень трогательном рассказе она коснулась моего детства, пропустив наш военный опыт (воспоминания о нем не оживили бы праздник), и абзаца два, которые я уже цитировала, посвятила моей жизни в послевоенном Амстердаме. Затем она размышляла о том, что я вышла замуж за Цви, вырастила трех дочерей, жила в Швейцарии и Англии и теперь руководила собственным антикварным магазином.

Одна из моих величайших радостей, рождение внуков, была еще впереди, но, как правильно резюмировала мама, я уже прожила полную жизнь. Я обрела то, к чему стремились женщины моего поколения: мой брак оказался очень счастливым и выдержал испытание временем (в отличие от многих других, которые распадались на моих глазах), мои дочери выросли здоровыми и умными, у нас был приличный доход и прекрасный дом, и я нашла свое место в мире и выбрала профессию: сначала фотографа, затем специалиста по антиквариату.

Тем не менее следы Холокоста, травмы Аушвица, потеря папы с Хайнцем подспудно переплетались со всей моей жизнью. Они довлели надо мной в обществе, низводя меня до состояния лишь собственной тени; они гнались за мной в ужасных ночных кошмарах. Они даже стояли между нами с мамой – мы прошли через все это вместе, но никогда не могли говорить об этом или утешать друг друга. Это стало частью моего существа, и я начала задаваться вопросом: могу ли я измениться?

Проживание в Швейцарии в течение шести лет заставило меня понять, как сильно я не люблю авторитаризм и правила любого рода. Мы переехали туда в 1958 году, чтобы Цви мог работать в израильском банке «Леуми», и нашли хороший дом в маленькой деревне Пфаффхаузен за Цюрихом. Дети могли бегать под открытым небом, кататься на санках каждый день и на лыжах по выходным и в целом наслаждаться тем, что можно назвать идиллическим периодом взросления.

Но несмотря на красивые пейзажи, я обнаружила, что моя жизнь была далека от идиллии. Строгая бюрократия, которая управляла всеми аспектами общественной жизни, и ограниченность ума самих людей, терзали меня. Хотя мы были немецкоговорящей семьей, тяготели все-таки к американцам-эмигрантам, жившим в нашей деревне, а швейцарских друзей у нас оказалось мало.

Правила и строгая регламентация жизни вызывали во мне мятеж. Я парковалась по своему усмотрению в старом квартале Цюриха и злила тем самым полицейского, игнорируя его приказы переставить машину. Что он мог мне сделать? Я уже была в концентрационном лагере. Когда Джеки оставили лежать в больнице на неоправданно долгий срок из-за того, что она отказалась есть единственную еду, которую там давали – кукурузную кашу, я съела ее сама и забрала дочь домой. (В знаменитой детской больнице в Цюрихе допускалось только одно посещение два раза в неделю. Там было более чисто, чем в больницах Англии, но гораздо менее гуманно.)

К всеобщему ужасу, я задержала отправление поезда, вырвав сигнальный флажок из руки проводника, и не возвращала его, пока Цви с чемоданами в руках не вскарабкался по ступенькам на платформу и мы готовы были ехать.

Хотя я никогда ничего не крала намеренно, я спокойно реагировала, если мои маленькие дети брали и съедали кусок сыра с полки, когда мы ходили по магазину. Лишение нас нацистами каждой копейки и всего нашего имущества и борьба за возвращение убытков десятилетия спустя привели к тому, что я стала несколько по-иному относиться к «святости» частной собственности.

Я бы не стала рекомендовать всем остальным людям смотреть на вещи так же – особенно если вы хотите избежать неприятностей! Но я была такой, и даже сегодня субъективные искусственные правила очень мало значат для меня. Ведь согласно подобным же «правилам» нас заставляли пришивать желтые звезды к своим пальто и отправляли в грузовиках для скота на верную смерть. Где были «правила», говорившие о сострадании, человечности и налагавшие запрет на убийство, когда мы так нуждались в них?

Так я думала и чувствовала, но к моменту наступления моего пятидесятилетия лет эти размышления были похоронены глубоко во мне, не высказаны.

Когда мы вернулись в наш дом в Эджваре, я поняла, что в нем было много напоминаний о прошлом, но они, так или иначе, никогда не обсуждались. Картины папы и Хайнца висели на

стенах комнаты, в которой мама с Отто часто останавливались и где Отто даже рассказывал об Анне маленьким группам детей. У нас троих на руках остались наши лагерные номера. Но я никогда не рассказывала о Холокосте, и ни одна из моих дочерей никогда не спрашивала меня об этом.

Однажды меня глубоко потряс случай, когда я отвезла одну из дочек к врачу, и он увидел лагерный номер на моей руке и выпалил:

– Могу я задать вам вопрос личного характера? Вы нормальная?

– Что вы имеете в виду?.. – ответила я вопросом на вопрос, внезапно пораженная чувством беспокойства и желанием прикрыть руку.

– Я имею в виду, как вы можете быть нормальным человеком после всего, через что прошли?

Я вышла из операционной в оцепенении. Может, я была ненормальной. Как я могла определить, что представляли собой нормальные люди? Я не сошла с ума, как некоторые пережившие Холокост, но я чувствовала потерянность, будто бы какой-то провод внутри меня оторвался и никак не мог подсоединиться обратно. Единственный способ объяснить это – сказать, что я была не собой.

Цви также пережил свои травмы, с которыми ему пришлось смириться. Он был таким умным и трудолюбивым человеком, учился и прошел путь от бедного беженца до успешного банкира, но так и не утратил чувства беспокойства и неуверенности в себе, идущие из детства. Одним из проявлений этого была его ненависть к крошкам. В Эджваре эта мания настолько сильно проявлялась, что наш пылесос всегда был включен, и Цви почти каждый раз прерывал обед и заставлял девочек поднимать свои тарелки с обеденного стола, чтобы он мог пропылесосить оставшиеся крошки.

Моим детям было нелегко расти в доме с такой невысказанной печалью и тревогой, и я думаю, что это по-разному повлияло на них. Моя средняя дочь Джеки говорит, что мое прошлое являлось своего рода табуированной темой, но она мало думала об этом; знала лишь, что мои отец и брат были убиты на войне (что было распространено во многих семьях нашего поколения).

Она считала нашу семью теплой, любящей и счастливой, но другая моя дочь сказала, что я в некотором смысле не была с ними рядом. Мне было очень больно это слышать, потому что я всегда старалась делать все с ними вместе: отводила их в школу, учила водить (возможно, этого не надо было делать: Джеки

однажды бросила машину посреди перекрестка и побежала домой в слезах), поддерживала Кэролайн в ее стремлении основать фан-клуб «Джексон пять» и путешествовала по всей Европе, чтобы, если они вдруг сломают ногу, катаясь на лыжах, я была бы рядом с ними.

Мои дети были самыми важными людьми в моей жизни, я их очень любила и старалась сделать их жизнь максимально счастливой – хотя была достаточно строгой и хотела подготовить их к жизни, которая не всегда может легко складываться. Я знала, что люди, пережившие Холокост, часто баловали своих детей безграничной любовью и вниманием и иногда проявляли чрезмерную осторожность. В Израиле мы знали одну женщину, которая даже залезала на дерево вслед за сыном, чтобы покормить его бананом.

Цви проводил много времени на работе в банке, и я действительно была связующим элементом семьи, но, возможно, это правда, что на уровне эмоций часть меня отсутствовала. Оглядываясь назад, я вижу, что отсутствовала сама для себя. К счастью, в те годы мне помогало присутствие мамы, Отто и бабушки Хелен (она умерла в 1963 году). У нас также работали несколько помощниц по хозяйству, наиболее успешной из которых была молодая швейцарская девушка по имени Элизабет Равазио, приехавшая в наш дом в возрасте восемнадцати лет и прожившая с нами много лет. Сегодня она наша соседка, близкий друг и коллега. Я убедилась в том, что Элизабет талантлива почти во всем, чем бы ни занималась: будь то воспитание детей, художественное оформление или продажа антикварных вещей в моем магазине.

Мой интерес к антиквариату стал еще одним событием, в котором Отто сыграл большую роль. У его сестры Лени был прекрасный антикварный магазин в Базеле, и она попросила меня помочь найти вещи для продажи. Она сводила меня в хранилища с серебром в Лондоне и, по мере роста моего интереса, научила меня вести собственный бизнес.

Магазин «Антиквариат Эджвара» открыл свои двери в 1972 году, и мы с Элизабет создали огромную команду. У меня всегда хорошо получалось ремонтировать вещи, и я дополнительно взяла курс занятий по реставрации дерева и фарфора. Наше дело продвигалось все более успешно и организованно, и я стала единственным дилером антиквариата в Эджваре. Мы продавали в основном другим дилерам, и в то время как Элизабет работала с клиентами, я отправлялась в путь и отыскивала в графствах вокруг Лондона разные старинные интересные предметы, которые были выкинуты за ненадобностью. Я гордилась тем, что могла

отремонтировать деревянный письменный стол, добыть двадцать часов времен наших дедушек или разобрать грязный дом в поисках спрятанного драгоценного камня. Однажды я раскопала набор ценных викторианских фарфоровых кукол, завернутых в старые полотенца и спрятанных в углу. Время от времени появлялся какой-нибудь дилер и скупал все вещи в магазине, и нам приходилось все начинать с нуля.

Я была хорошим фотографом, но антиквариат превратился в мою страсть, и я стала неплохо разбираться и соображать в этом деле. Магазин процветал много лет, и, поскольку бизнес менялся, мы стали участвовать и в ярмарках антиквариата. Моей самой выгодной покупкой стала голландская плитка «Джейкоб Израель», которую я нашла в лавке подержанных вещей на улице Харроу. Я заплатила за нее девять фунтов, и на следующий день мне позвонил профессор из Оксфорда, который тоже положил на нее глаз. Он предлагал мне сто, двести – даже две тысячи фунтов за нее, но она мне понравилась, и я решила оставить ее себе.

Я построила идеальную карьеру. Мне всегда нравилось играть в азартные игры, и я думаю, что унаследовала папино чутье для ведения своего дела. Конечно, у меня всегда находились идеи, и я проявляла такую же активность, как в свое время мама и бабушка Хелен, когда они начинали свой бизнес в Амстердаме и Дарвене после войны. Они тоже когда-то были тихими молодыми женщинами, находившимися всецело во власти других людей в семье, но как только им пришлось выйти в люди и показать, чего они стоят, они больше не оглядывались назад. Я уверена, что ни у кого из них не было ни времени, ни желания задаться вопросом о феминизме, но, боже мой, они действительно стали двумя сильными, предприимчивыми дамами!

К началу 1980-х годов я превратилась в успешную женщину, руководившую собственным бизнесом и очень гордившуюся своими симпатичными и состоявшимися дочерьми, каждая из которых проявила свои таланты. Однако внутри я все еще была тем же травмированным подростком, освобожденным из Аушвица в 1945 году. К тому времени Цви стал менеджером банка «Леуми» в Лондоне, и мы часто развлекались, устраивая шумные вечеринки и фуршеты. Меня мучил вопрос: если бы кто-нибудь из этих людей вдруг понял, какой напуганной и неуверенной чувствовала я себя внутри, улыбаясь и весело болтая при этом? В глубине души я пыталась найти ответ: смогу ли я когда-нибудь противостоять своим страхам и примириться с прошлым? Когда я переступила порог пятидесяти лет, я понятия не имела о том, что начинается новый этап в моей жизни и что меня ждут

масштабные перемены.

25
Одним весенним днем

День, который изменил мою жизнь, мог бы и не наступить. В 1985 году Дом-музей Анны Франк в Амстердаме организовал три чрезвычайно успешных выставки о жизни и наследии Анны: в Нью-Йорке, Франкфурте и Амстердаме. Двое молодых сотрудников, Ян Эрик Дубельман и историк Дьенке Хондиос, работавшие под руководством Кора Суйка, были в восторге от идеи дальнейшего распространения выставки, но попечительский совет Дома-музея не обладал такой уверенностью. Выставка была дорогой, и через сорок лет после освобождения от нацистской власти они чувствовали, что к этой теме может быть «недостаточный интерес».

К счастью, Ян Эрик и Дьенке страстно увлеклись идеей. Материалы выставки уже перевели на английский язык для визита в Америку, и в Амстердаме была сделана двуязычная версия, так что Великобритания казалась очевидным пунктом следующего посещения. Без достаточного количества средств, но с полной решимостью, Ян Эрик прибыл в Лондон и создал временный музей в Ислингтоне. Как фанатик, разъезжая по Лондону на велосипеде своей возлюбленной, он начал распространять информацию, присоединяясь к местным советам, контролируемым Лейбористской партией, которые, по его мнению, могли поддержать идею выставки.

«Я быстро узнал, что к проведению выставки имеется более чем достаточный интерес», – рассказывает Ян Эрик. Вскоре он составил список около десяти советов по всей Великобритании, которые хотели бы провести выставку, начиная с Совета Большого Лондона.

Маленькая и неказистая карточка с приглашением на открытие упала в мой почтовый ящик в доме № 49 на улице Дорсет. Я считала организацию выставки отличной идеей: «Дневник» Анны Франк продавался миллионными тиражами в некоторых странах, и создавались клубы имени Анны Франк, библиотеки, улицы назывались ее именем, а в 1960-х годах появилась даже деревня Анны Франк для переселенцев, недалеко от города Вуппераль в Германии. Однако в некоторых других странах «Дневник» продавался менее успешно, в том числе в Великобритании, и я чувствовала, что люди все еще не хотят слышать о Холокосте. Я же считала, что уроки Холокоста по-прежнему имели большое значение: в середине 80-х годов

бушевали холодная война, апартеид и конфликты между Центральной Америкой и Северной Ирландией. Похоже, настало время продолжить дискуссию о терпимости и взаимопонимании.

Тем не менее утром 12 февраля 1986 года я проснулась, не подозревая, что этот день станет поворотным моментом в моей жизни. Цви принес мне чашку чая в постель, как обычно, а потом ушел на работу. Я надела халат, спустилась вниз, включила радио и насыпала хлопьев в тарелки для мамы и себя. Вскоре она тоже пришла на кухню, и мы сели и начали болтать о том, что наденем сегодня. Я находилась в блаженном незнании того, что в тот вечер вернусь в Эджвар глубоко потрясенной – и изменившейся в корне.

Я помню очень мало о своей речи на первой выставке Анны Франк: только шок от того, что Кен Ливингстон поднял меня и провел к небольшой сцене, а затем я посмотрела в толпу и увидела маму, Джеки и Кэролайн, которые пришли со своими многочисленными друзьями и наблюдали за мной с нервным ожиданием. Следующий час размыт в моей памяти, но после того, как я закончила говорить, все близкие собрались вокруг меня. Мама горячо хлопала меня по плечу и говорила: «Молодец, молодец!» Незнакомые люди подошли, поблагодарили меня и что-то сказали в ответ на мое выступление, а я отвечала им в пьянящем оцепенении от облегчения и прилива адреналина, даже не осознавая, что говорю.

У меня было ощущение, что я шла по краю пропасти, балансируя между моей нынешней жизнью и прошлой. Внезапно нахлынули воспоминания о папе и Хайнце, нашей жизни в Амстердаме, ужасном пути на поезде в Аушвиц и о прощании на перроне. Я вспомнила холод и грязь Биркенау, обморожение пальцев на ногах и голод. Меня сковал ужас при появлении картины из прошлого: маму уводят на верную смерть в газовую камеру. Я старалась не допускать мыслей об этих событиях в течение многих лет, я отталкивала их от себя – как надеялась – навсегда. Теперь я позволила своей истории выйти наружу и не могла остановить поток воспоминаний, даже если бы захотела.

«Сегодня был удивительный день», – сказала я Цви позже. Мы улеглись в постель, измученные, в доме наконец-то все стихло. «Я была в ужасе, когда они попросили меня сказать несколько слов, я даже не знаю, откуда пришли мысли. Люди стали задавать мне вопросы – я никогда не думала, что кому-то это интересно. А теперь мне придется выступать с речью снова и снова; выставка проходит по всей стране, и они хотят, чтобы я присутствовала».

Я лежала в своей кровати, окруженная знакомыми предметами: старинным комодом, который я любила, серыми

занавесками с маленькими розочками, светящимися от утреннего солнечного света, – но теперь все выглядело по-другому. Рассказ о своем лагерном опыте испугал, взволновал и опустошил меня. Я не могла себе представить, что придется снова рассказывать об этом. Что бы я говорила?

– Я помогу тебе, – сказал Цви. – Мы выясним, что именно ты хочешь сказать, и я напечатаю это на листе.

Именно так мы и поступили. Так же, как мама помогала Отто отвечать на письма, Цви вытащил нашу старую печатную машинку и начал фиксировать мои слова.

– Но они же не передают никаких чувств! – протестовала я, размахивая черновиком перед лицом мужа. – Это просто сухие факты. Как же не сказать о том, что я была напугана и одинока? Что мы были убиты горем, когда прощались?

– Я человек фактов! – ответил Цви, пожимая плечами. Конечно, он не был виноват в том, что не смог передать глубину или диапазон эмоций, которые я испытывала, тем более что я сама их детально не анализировала. Я постаралась добавить чуть больше чувства в набранный текст и ждала предстоящих выставок с большим опасением.

Мы перевозили выставку по разным городам, но два открытия мне особенно запомнились. Город Лидс я хорошо знала, так как Сильвия там училась. В то время, в годы правления Тэтчер, высокий уровень безработицы и забастовки шахтеров сильно повлияли на жизнь графства Йоркшир, и город выглядел не лучшим образом.

Я остановилась в доме одного из членов местного организационного комитета. Его жилье напомнило мне северные двухквартирные дома, в каком жили мои бабушка, дедушка, тетя и дядя в Дарвене; сырая прохлада английской весны просачивалась там через стену в спальне.

На мероприятие пришло много евреев, но также и простых местных рабочих. Тогда Холокост обсуждался не так широко, как сегодня, и это был очень эмоциональный день для всех нас.

Я также помню посещение Абердина, монолитного каменного города, в котором я никогда не бывала раньше и где иногда трудно понимала, о чем меня спрашивают, из-за резкого провинциального акцента. Несмотря на холодный северный климат, жители Абердина искренне поддержали наше мероприятие, и мне особенно запомнилась одна молодая девушка, которая специально к этому случаю сочинила музыку и стихотворение. Она читала его очень трогательно, и потом мы поддерживали с ней связь и много лет писали друг другу.

Путешествуя по Великобритании, я приобрела много новых

друзей. Я никогда не сталкивалась с антисемитизмом в этой стране (хотя знаю, что он существует так же, как и в других местах), но меня сильно ранили слова о «кровожадных иностранцах», которые раньше направлялись в сторону кого-либо с другим цветом кожи или акцентом. Теперь я почувствовала, что действительно связана с британским народом, который так хотел узнать о Холокосте. Меня тронуло, что они очень искренне откликнулись на мои переживания.

Конечно, многие из пришедших были евреями, но по мере того как слава выставки росла, всевозможные объединения, включая женские, армейские и церковные организации, просили меня поговорить с ними.

Даже используя печатные речи Цви, я воспринимала первые выступления как пытку – и, возможно, для аудитории это являлось тем же. Мне всегда было трудно читать с листа бумаги, и мой рассказ звучал слишком стилизованно и был далек от моей личной истории. Я не могла говорить свободно, смотреть людям в глаза и расслабиться, зная, что моя история будет разворачиваться у всех на глазах такой, какой она была. Я поняла, что если буду продолжать говорить, то должна найти свою собственную интонацию – и поэтому постепенно начала использовать слова Цви меньше, а собственные слова больше.

В те дни не только сами публичные выступления казались мне непростым испытанием – трудно было возрождать сами события в памяти. После моей речи люди задавали всевозможные вопросы, и я пыталась обдумать их и ответить на каждый должным образом. Были как личные вопросы, так и морально-философские. Жалею ли я, что родилась еврейкой? Неужели я все еще верю в Бога? Могу ли я когда-нибудь простить нацистов и Германию? Охранники в Аушвице насиловали женщин-заключенных? Как мне удалось пережить это испытание, не сойдя с ума?

Каждую ночь я лежала в постели, мучимая бессонницей из-за всех этих вопросов и моих воспоминаний о прошлом.

Однажды вечером, пока мы с Цви ужинали с друзьями, передо мной открылся новый путь.

– А мы так ничего и не знаем о твоем прошлом, – сказала моя подруга Анита. – Пожалуйста, расскажи нам.

Нерешительно я начала рассказывать в более доверительной манере о том, что пережила, и Цви с Анитой и ее мужем точно остолбенели. Закончив, я глотнула воды, и Анита сказала: «Ева, ты должна записать все это».

В то время было только несколько книг, написанных людьми, которые пережили Холокост, и я никогда не думала, что моя

история окажется среди них. Кто-нибудь действительно верит в то, что я могу сказать что-то стоящее? Я подошла к известному лондонскому литературному агенту, Эндрю Нюрнбергу, и после того, как я рассказала ему обо всем вкратце, он заверил меня, что мы сможем найти издателя для моей книги.

Я знала, что будет достаточно трудно подробно излагать все мучительные воспоминания, и к тому же я не была писательницей, поэтому обратилась к матери одного из школьных друзей Джеки – учительнице по имени Эвелин Кент. Я не была уверена, заинтересуется ли она идеей помочь мне написать книгу, но как только я спросила ее, довольно неуверенно, она сказала: «Ева, я много лет ждала этой просьбы».

Так мы и приступили к делу. Эвелин впервые купила компьютер, и каждый вечер, около восьми часов, я приходила к ней домой и рассказывала – а она печатала и печатала. Мы работали до изнеможения, засиживаясь до полуночи, а затем я исчезала за дверью, в холодной черной ночи, испытывая странный восторг от разговора о вещах, которые я так долго держала запертыми внутри себя. Это было и ужасно, и восхитительно, и грустно.

Через два года мы, наконец, закончили рукопись «Истории Евы», и Эндрю Нюрнберг заключил контракт с издателем в Великобритании – У. Х. Алленом. Книга представляла собой суровый, незавуалированный рассказ о моем пребывании в Аушвице, и я не знала, как люди отреагируют на него. Желали они знать, каково это, когда на тебя выливают ведро с фекалиями, или когда ты просыпаешься в своей койке рядом с трупом?

Будучи свидетелем затяжных конфликтов Отто сначала с Мейером Левиным, а затем с отрицателями Холокоста и даже с людьми, которые утверждали, что он сам написал дневник, я знала, что занять более значительную позицию в «мире Анны Франк» будет трудно. Конечно, я знала Анну задолго до того, как мы удалились в убежище, а намного позже Отто стал моим отчимом, что сделало меня сводной сестрой Анны, но несмотря на это, я ожидала нападок людей, утверждавших, что я хочу примазаться к славе Анны Франк.

Отто часто (очень несправедливо) обвиняли в получении прибыли от гибели его дочери. Я понимала, насколько это неправильно и что это не имело никакого отношения к его мотивациям, но злые языки говорили о нем самые мерзкие и отвратительные вещи. Это заставило меня еще чаще задаваться вопросом, есть ли у людей хотя бы элементарные понятия о порядочности.

Как я и боялась, вскоре про меня стали говорить то же самое. Одна женщина утверждала, что я вовсе не знала Анну, потому что неправильно описала цвет ее кошки. Друзья Отто и он сам, когда был жив, доказали, что я знала Анну и что опровержение этого факта – полная чушь, но я призналась, что цвет кошки действительно перепутала. В процессе написания книги я призналась Эвелин в том, что не могу вспомнить точный окрас. У нее самой дома жила большая полосатая кошка, и Эвелин спросила: «Ну, может, полосатая?» Я пожала плечами и допустила, что, может, и полосатая. Позже мы узнали, что кошка была черная. Из-за подобных деталей биографии Анны Франк люди часто враждовали.

Несмотря на такого рода претензии, опубликованная книга «История Евы» имела огромный успех, и меня на спортивной машине по стране возил молодой человек из издательства. Средства массовой информации особенно заинтересовались нашим с мамой лагерным прошлым, и мы вместе появились в эфире утренней телевизионной передачи с ведущей Селиной Скотт (тогда большой знаменитостью). Я также выступала в передаче «Женский час» на радио BBC, давала интервью многочисленным местным газетам и надписывала купленные экземпляры книги в магазинах по всей Великобритании.

Чтение моих мемуаров стало болезненным процессом для членов моей семьи. Я обговаривала с мамой каждую деталь в процессе написания, и она очень гордилась последней историей – даже сама участвовала в написании двух глав о том, как ее отобрали для отравления в газовой камере Аушвица, и о том, как отстала от поезда. Мы заново проживали все вместе. Цви был очень тронут, и иногда его поражали некоторые детали, раскрывавшие доныне скрытую сторону личности его жены.

Думаю, что труднее всего знакомство с книгой далось моим детям, ведь они читали о моем прошлом, которое я никогда не обсуждала с ними. Одна из дочерей сказала мне, что не хочет читать «Историю Евы», но позже я увидела открытую книжку на ее тумбочке. Ей не хотелось показывать, что она знает обо всех моих злоключениях.

Для меня книга стала подходящим способом излить болезненные воспоминания, и, было трудным и эмоционально затратным процессом. Некоторые мрачные детали жизни в Аушвице сильно врезались в мою память, но теперь я обнаружила, что могу их отпустить. Они никогда не исчезли полностью, но стали казаться менее яркими. Они остались в прошлом. Однако чувство горя из-за потери отца и брата не ослабло никогда. Оно осталось со мной на всю жизнь.

После написания «Истории Евы» я поняла, что хочу поведать миру о Хайнце. «Все помнят Анну, – говорила мама, – но Хайнц тоже был талантливым мальчиком – и его жизнь прервалась. Об этом как будто никто не помнит». Потребовалось немало времени, чтобы эта надежда осуществилась, но много лет спустя после публикации своих мемуаров я начала писать книгу для молодых людей под названием «Обещание» совместно с моей подругой Барбарой Пауэрс. Эта книга состояла рассказов о Хайнце и дополнялась его стихами и картинами. Драматургу из Огайо и театральному режиссеру Джеку Баллантайну книга так понравилась, что он решил написать пьесу под названием «Свет во тьме», вдохновленную этой историей.

Теперь, когда я стала больше рассказывать и писать, интерес к антикварному бизнесу начал пропадать. Мне хотелось, чтобы мое новое занятие приобрело большое значение, а не осталось лишь способом эмоционально освободиться.

Должна сказать, что на этом пути меня постигли неприятности. После того как американский вариант моей книги вышел в издательстве «Св. Мартина», некие люди из Санкт-Петербурга, штат Флорида, пригласили меня поговорить с ними. Это было мое первое выступление в Америке, и я невероятно волновалась.

Я прилетела с Элизабет Равазио, и мы с нетерпением ожидали в нашем отеле, что же произойдет дальше. Я предполагала, что кто-то приедет, расскажет мне о том, как будет проходить вечер и успокоит меня, но никто не появился. В конце концов кто-то приехал и оставил нам записку с указанием времени, когда нас пригласят, но в ней ничего не говорилось о самом вечере. Прошло два дня, и мое беспокойство росло. В день выступления мы приехали на место, и ведущий сказал нам, что я «неожиданный гость», и направил меня к какому-то шкафу, где пришлось ждать, пока меня не позвали.

Я успокаивала себя, представляя, что небольшая группа дружелюбных людей ждет по ту сторону двери. Затем ведущий вернулся и проводил меня в аудиторию, наполненную сотнями людей, с нетерпением ожидавших рассказа некой леди из Англии.

Мой разум полностью опустел, и в горле пересохло. Я глубоко вдохнула и поспешила кратко изложить свою историю. Очень кратко. Потом у меня кончились слова. Я посмотрела на часы. Хотя казалось, что прошло много времени, я проговорила только десять минут!

– Ну, вот и все. Спасибо вам большое, – подытожила я и ушла, оставив безмолвствующих зрителей в одиночестве.

После этого случая я, по советам близких, попыталась

отмечать основные пункты своей предполагаемой речи, но это не сработало, так как когда я начинала говорить, то уже не могла вспомнить, что связывает эти пункты и как их соединить друг с другом в логическую цепочку.

Единственным вариантом оставались медленные попытки собирать мой рассказ воедино, с небольшими заминками – и научиться доверять аудитории, чтобы понять, что в данный момент мы объединены общим делом. Теперь я никогда не записываю заранее текст своих выступлений, поэтому никогда в точности не могу их повторить, и я обнаружила, что так мне легче вести рассказ. Я могу поведать публике о том, как меняются мои размышления о прошлом, и в один момент я поняла, что действительно устанавливаю мысленную связь с этими людьми, разговаривая с ними почти как с друзьями, и объясняя им, что именно значат для меня прожитые события.

Рассказывая о своей жизни, я выступала против предрассудков и призывала к терпимости, но мне также хотелось вместе с другими людьми создать нечто большее, чем просто разрозненные воспоминания переживших нацизм.

Одной из областей, в которой я могла бы использовать свой опыт, был Фонд Анны Франк в Великобритании. Проведение временной выставки, перевезенной из Амстердама, оказалось дорогостоящим и сложным делом, а тогда она была крайне востребована. Ян Эрик собрал небольшую группу энтузиастов в Великобритании, чтобы запустить выставку, но сначала мы не могли найти нужных людей, которые помогли бы расширить нашу работу. В апреле 1989 года мы посетили выставку в Борнмуте, и там я познакомилась с тремя людьми, которые на долгие годы стали стержнем Фонда Анны Франк.

Би Клаг, мой знакомый, стал Почетным Президентом Жизни. Раввин Давид Сотендорп (сын раввина из синагоги, которую посещали мама с Отто в Амстердаме) взял на себя роль учредителя. Он также познакомил нас с восторженной молодой женщиной по имени Джиллиан Волнс, которая согласилась быть нашим первым секретарем, а затем стала основателем и исполнительным директором. Джиллиан приступила к управлению фондом с огромной энергией и преданностью, и она доныне занимает свой пост. Вместе мы видели, как работа Фонда Анны Франк распространяется по всей стране, от соборов до тюрем, охватывая миллионы людей.

Учреждение фонда в Великобритании и поездки по стране с выступлениями дали мне цель в жизни и чувство удовлетворения. Вряд ли я могла желать большего, но вот-вот должен был проявиться новый, совершенно неожиданный аспект моей

биографии: спектакль о моей жизни.

26
Спектакль

Этот спектакль ставит вопросы. Некоторые из них, кажется, невозможно озвучить. По общему признанию, на многие из них нет ответа. Тем не менее это не умаляет важности задавать вопросы.

Джеймс Стилл, автор книги «А потом они пришли за мной: вспоминая мир Анны Франк»

Очень волнительно наблюдать за актрисой, изображающей тебя на сцене: похожа ли она на тебя внешне, по манере говорить, воплощает ли она какие-то характерные черты твоей личности? Удастся ли вам наладить взаимопонимание? Может, она покажет такую сторону твоей личности, о которой ты сама не подозревала? Или она покажется совсем незнакомой? Просто женщиной на сцене, играющей роль персонажа, которого ты не узнаешь…

Несмотря на свою давнюю приверженность идее о постановке спектакля, а затем и фильма «Дневник Анны Франк», Отто ни разу не смотрел ни того ни другого. Он не мог смириться с мыслью, что актрисы будут произносить слова, которые он когда-то слышал от Анны и Марго; они будут притворяться детьми, которых он никогда больше не увидит. Когда меня пригласили участвовать в новой постановке о друзьях Анны Франк и наследии Холокоста, я пыталась предугадать, не вызовет ли это предприятие у меня такую же реакцию.

Руководитель театра Джордж-стрит в Нью-Брансуике, Нью-Джерси, Сьюзан Кернер увидела, что постановка «Дневника» Анны Франк в 1994 году оказала на молодую публику сильное воздействие. Ей стало интересно, возможно ли в рамках новой театральной постановки рассмотреть Холокост в более широком контексте. Вместе с Кристен Голден и Стивеном Мозелем из Нью-Джерси она организовала проект, и они поручили известному драматургу Джеймсу Стиллу начать работать над ним.

Сьюзан спросила, не возражаю ли я против рассказа о своей

семье в пьесе, а также о друге Анны – Эде Зилверберге (который присутствует на страницах дневника как «Хелло Зилберберг»). Она также спросила Барбару Ледерман, сестру Сюзанны Ледерман, но она не захотела участвовать.

Обдумав это предложение и обсудив его с мамой и Цви, я решила, что это очень интересный и стоящий проект. «Многие молодые люди, которых я встречаю на выставке, действительно мало знают о Холокосте, – объясняла я Цви. – Может быть, такая пьеса поможет им понять больше и даже даст им ощущение связи с тем временем. Ведь хотя им кажется, что это древняя история, мы-то знаем, что это было не так давно.

Вскоре после того как я согласилась принять участие, Джеймс Стилл прилетел в Лондон, и мы встречались, долго обсуждая прошлое и мою биографию. Он объяснил, что это будет необычная пьеса. Хотя актеры и актрисы будут играть персонажей из 1940-х годов, сцены также будут включать в себя отрывки из реальных интервью, взятых у Эда и меня.

Джеймс работал над сценарием в течение двух лет, отправляя мне черновики для замечаний. В какой-то момент он сказал, что у него есть семь часов материала, который нужно сжать до одного часа. Он также должен был переработать сценарий, связанный с нашими снятыми интервью. Джеймсу хотелось, чтобы мы читали не с листа, а отвечали на вопросы максимально естественно. Конечно, нам всегда удавалось ответить таким образом, что мы заставали его врасплох, и поэтому ему постоянно приходилось переписывать сценарий. Наконец, в 1996 году сценарий и пьеса были готовы, и все мы остались довольны. Спектакль «А потом они пришли за мной: вспоминая мир Анны Франк» впервые поставили в Индианском репертуарном театре в октябре 1996 года, а затем, в ноябре 1996 года, состоялась премьера в театре Джордж-стрит в Нью-Брансуике.

Сьюзан Кернер попросила меня прилететь на финальную репетицию, и мы с с Цви приехали в Нью-Джерси накануне, с тревогой думая о том, как будет выглядеть постановка.

Кроме нас, там были Эд Зилверберг, Сьюзан и Джеймс, а также оператор, который записывал репетицию. Мы сели молча, и на сцене появились актеры. Казалось, в течение целого часа мы коллективно задерживали дыхание, когда возвращались мыслями к ужасному напряжению и драме тех дней. Мое сердце громко забилось, когда я услышала слова, которые когда-то произносили папа и Хайнц. Ни один из персонажей не был похож на нас в реальной жизни – это был слепой кастинг, в котором на роль Анны Франк была выбрана актриса корейского происхождения, а на роль папы – афроамериканский актер. Никто не предупредил

меня об этом, и поначалу я очень удивилась. Тем не менее он прекрасно работал, фиксируя внимание на важном послании человечеству, так что после нескольких мгновений я забыла об этническом происхождении актеров и была полностью поглощена игрой и сюжетом.

Мне было ужасно трудно видеть некоторые сцены, взятые из истории моей собственной семьи, и если бы Джеймс Стилл не разбавил их напряженность более легкими моментами – и фрагментами с Эдом – мне, возможно, было бы невыносимо на это смотреть.

Когда пьеса закончилась, я вздохнула с облегчением, оттого что Джеймс и Сьюзан создали такую красивую, идеально сбалансированную театральную постановку. Я плакала, и когда оглянулась, увидела, что Цви, Джеймс, Сьюзан и Эд тоже плакали. Даже оператор рыдал. Тогда я осознала всю силу театрального искусства. Оно непредсказуемо, оно может потерпеть неудачу; но только театр может объединять людей для того, чтобы поделиться живым опытом.

После успешной попытки в Индиане я вернулась в Нью-Брансуик с Элизабет Равазио для шестинедельного запуска пьесы. Я была благодарна за участие в такой успешной постановке и встречалась и разговаривала со многими американцами, которые открывали мне свои сердца.

В течение нескольких последующих лет я много путешествовала по США, принимая участие во многих различных постановках пьесы «А потом они пришли за мной». Спектакль был поставлен в таких интересных местах, как Кеннеди-центр в Вашингтоне, округ Колумбия, но больше всего меня тронули люди, которых я встречала в маленьких городах, церквях и школьных гимназиях по всей стране.

В Атланте, в Ансамблевом театре Джорджии, этот спектакль шел на протяжении многих лет. Я часто приезжала туда: получала награду в Сенате штата и принимала участие в региональном туре по Джорджии.

Я никогда не забуду, как поднималась по ступенькам в Сенате штата перед своим выступлением. Трубачи возвестили о моем прибытии, и я вошла в переполненный зал, где сотни политиков ждали моей речи. У меня в руке был печатный вариант, но как только я увидела всех собравшихся, я поняла, что не могу его зачитать. Я отложила лист в сторону, посмотрела им в глаза и сказала, что буду говорить искренне, от души, о своих переживаниях. Позже Элизабет Равазио, которая сопровождала меня в поездке, сказала: «Ева, это была твоя лучшая речь – тебе всегда нужно так говорить». И мои печатные речи, наконец,

остались в прошлом.

На юге многие белые люди говорили о своем сожалении по поводу поражения в Гражданской войне и о своей ненависти к «янки».

– Но это было так давно, – отвечала я смущенно. – Наверняка еще до появления ваших бабушек и дедушек на свет.

Они отвечали, что все равно не могли простить. Я также встречалась со многими афроамериканцами на юге, которые рассказывали мне о том, как много они перестрадали и как глубоко разделяют мои заявления о дискриминации и предрассудках.

Суть спектакля, казалось, затронула каждого, кого коснулась война или дискриминация. Однажды после выступления ко мне подошел ветеран Вьетнамской войны и рассказал мне об ужасах, которые он видел и которые не мог забыть.

Я ответила ему, что со временем подобные воспоминания исчезают. Я также встречалась с семьями, усыновившими вьетнамских и камбоджийских детей, которых привезли в Америку в качестве беженцев после этой войны. Они помогли детям обрести новые, любящие семьи.

За время своего путешествия я поняла, какую важную роль играют драматические постановки в американских средних школах. Даже в сельских школах были большие театры, способные ставить профессиональные спектакли. Я приходила в некоторые из этих школ и рассказывала подросткам о Холокосте, а они, в свою очередь, изо всех сил пытались вникнуть в суть моих слов.

«Вам разрешили взять с собой кошку или собаку?» – спросил один мальчик, а девочка подняла руку и задала свой вопрос: «Что вы делали по воскресеньям?»

Мне приходилось тщательно объяснять им, что концентрационный лагерь никоим образом не был похож на летние лагеря, в которые они ездят. Я говорила о том, что, по сути дела, не должна была вернуться из Аушвица.

За время пребывания в Америке я пообщалась с людьми разной расовой принадлежности и разного жизненного опыта: я контактировала и с небольшими приходскими группами в Техасе, и с крупной благотворительной организацией, собиравшей средства для Даллasского детского театра в знаменитом нефтяном клубе, и с коренными американцами в Оклахоме, которые сказали мне, что, по их мнению, их соплеменники тоже столкнулись с дискриминацией и геноцидом.

В Бостоне спектакль был поставлен одновременно с бродвейским представлением новой, горячо ожидаемой версии

«Дневника Анны Франк» Венди Кассельман. Многим больше понравился спектакль «А потом они пришли за мной». Джудит Кляйн написала в бостонском «Еврейском журнале»: «Суровая реальность пьесы поразила меня, как никакая другая постановка “Дневника Анны Франк”. Это было потрясающее действо, заставившее меня и окружающих людей плакать».

Одну молодую смертельно больную девушку привезли в театр на спектакль, что было ее последним желанием, и родные сказали, что благодаря представлению последние две недели ее жизни прошли более терпимо.

Один раз молодая немка встала и заплакала. Она сказала, что ее дед был нацистом, а его брат участвовал в Сопротивлении. Дед застрелил своего брата – и семья никогда не смирилась с этим. Она уехала из Германии, чтобы сбежать от прошлого своей семьи, и до того вечера ни с кем об этом не говорила.

Я была в восторге, когда мы поставили спектакль в Детском театре Ардена в Филадельфии, а Национальный музей свободы попросил дополнить спектакль выставкой картин Хайнца. Мы дали представление и в других городах Далласа и Калифорнии. Я с комом в горле смотрела на картины Хайнца на выставке спустя пятьдесят лет. Я рада, что люди позволяют мне смотреть на них спокойно в одиночку, потому что я вряд ли смогла бы обсуждать их с кем-либо. Я думала: «Видишь, Хайнц, я не забыла тебя. Ты боялся, что не оставишь следа в мире – но ты все еще с нами. Это твой дебют».

В Сан-Франциско спектакль «А потом они пришли за мной» уже много лет успешно идет в Новом театре консерватории, и он всегда получал огромную поддержку от гей-сообщества. Естественно, геи преследовались нацистами, и до сих пор они подвергаются сильной дискриминации. Мы часто останавливались в доме одного из режиссеров, Эндрю, где он жил со своим партнером Джеймсом. Должна сказать, что это самый красивый и стильный дом, который я когда-либо видела! Я влюбилась в толерантную жизнерадостность Сан-Франциско и однажды отправила Цви в книжный магазин, чтобы полюбоваться гей-парадом и «Праздником разнокожих» без его ворчания.

В городе Хейли, штат Айдахо, в 2001 году мы проводили показ пьесы в течение двух недель с помощью голливудской знаменитости – Деми Мур. Деми и Брюс Уиллис стали заметными персонами в жизни Хейли после того, как купили большое ранчо поблизости. Они также выкупили и восстановили Театр свободы, создав постоянную театральную труппу под названием «Компания дураков». Мы гостили в доме Деми, который Брюс Уиллис специально построил для ее коллекции кукол. Дом выглядел как

традиционное американское сооружение XIX века, и это было восхитительно – за исключением довольно смутившей нас статуи обнаженной Деми в натуральную величину, держащей беременный живот, так же, как на знаменитой фотографии для обложки журнала «Ярмарка тщеславия».

Мы встречались с Деми и с ее тремя дочерьми почти каждый день, и она принимала активное участие в организации спектаклей и помогала с костюмами. В перерывах мы говорили о моих переживаниях и ее тяжелом детстве. Она мне очень нравилась, но наше общение было слегка омрачено небольшим конфликтом на вечеринке после спектакля. Деми и Брюс (которые к тому времени развелись, и у обоих были новые возлюбленные) устроили щедрый вечер для нас в своем доме, и я привела подругу, которая жила в Айдахо. Я предупредила ее, что в доме строго-настрого запрещено фотографировать, но она проигнорировала это замечание и начала щелкать. Вскоре Деми узнала о происходящем и стала требовать, чтобы моя подруга отдала пленку.

Было крайне неловко. Меня огорчило то, что Деми расстроилась и почувствовала, что мы злоупотребили ее доверием, тем более что я высоко оценила ее усилия в проведении спектакля. Но нам удалось решить конфликт, и мы расстались добрыми друзьями.

Однажды ночью, во время нашего пребывания в Айдахо, мы поехали в город Бойсе, где я должна была выступить в Египетском театре. Когда я приехала, то была поражена, увидев свое имя, украшенное огнями, с надписью «История Евы Шлосс». Я ужасно нервничала, входя в зал с более чем 800 людьми. Пока мы ждали, собралось еще больше людей: они стояли в проходах и на пожарной лестнице, пока, наконец, не приехали полиция и пожарная служба, чтобы убедиться, что вечер проходит благополучно.

Меня тронуло и удивило, что люди ковбойского штата западной части США интересовались темой Холокоста. Когда в Бойсе местные жители стали собирать деньги на строительство Мемориального парка прав человека имени Анны Франк, я с радостью посадила там дерево, по примеру Мип Гис.

Поездки со спектаклем «А затем они пришли за мной: вспоминая мир Анны Франк» стали для меня настоящим подарком. Я встретила так много новых людей, и их трогательные рассказы заставили меня задуматься о себе. В частности, это позволило мне наладить диалог с молодым поколением. Совсем недавно я работала с мусульманином из Великобритании – борцом с нетерпимостью, Ником Кэримом, который поставил

пьесу в школах Великобритании и даже Китая.

Везде, где я ни путешествовала, я встречала молодых людей, желавших погрузиться в проблематику и эмоции пьесы, и это часто оказывало довольно глубокое влияние на их мировоззрение. Особенно ярко это проявлялось в тех странах, где люди сталкивались с деспотичным правлением или где они так и не смирились с собственным опытом Холокоста.

Дженни Куланк стала первым британским продюсером спектакля. Она была художественным руководителем Театра Классворкс в Кембридже. Ее очень интересовал спектакль «А потом они пришли за мной» с тех пор, как она увидела его первую постановку в Театре Гейтхаус в Лондоне, организованную Сьюзан Кернер. Мы вместе работали над некоторыми фантастическими спектаклями с молодежью в Великобритании, а весной 2000 года нам позвонили из Дома-музея Анны Франк в Амстердаме: они получили финансирование от Европейского союза и хотели узнать, можем ли мы поставить пьесу в Латвии для улучшения отношений между этническими латышами и русскими.

После освобождения от советской оккупации в 1991 году Латвия начала весьма робко обсуждать свою роль в Холокосте. Нацисты вторглись в Латвию и оккупировали ее на четыре года – с 1941 по 1945 год, немедленно убив почти всех латвийских евреев. Кроме того, десятки тысяч евреев из Германии и Австрии были привезены в Латвию для уничтожения, включая бабушку Цви. Нацистские «эскадроны смерти», бродившие по странам Балтии, отличались особой жестокостью. На самом деле, некоторые солдаты СС были настолько эмоционально травмированы совершавшимися убийствами, что высшие нацистские лидеры вдохновились идеей внедрения газа в качестве метода убийства, где наименьшим образом задействуется человеческая сила. Но антисемитизм в Латвии процветал, и многие латвийцы активно поддерживали геноцид.

Сорок пять лет спустя в странах Балтии только-только началось обсуждение Холокоста. Международный Департамент Дома-музея Анны Франк решил, что Латвия – подходящее место для их программы, поддерживающей дискуссии о Холокосте там, где он никогда широко не обсуждался.

Это было тяжело. Сначала молодые актеры – шесть латвийских девочек и шесть русских мальчиков – едва знали о том, что такое Холокост. Для Дженни это стало особенно острым моментом: некоторые члены ее семьи эмигрировали в Великобританию из латвийско-еврейской общины.

«Я показала им фотографию моей бабушки-латышки, и они

просто не могли понять: откуда у этой англичанки латышские родственники? В Советском Союзе они были изолированы и не имели никакого представления о мире».

Молодые люди провели несколько недель в деревенском доме с Дженни, готовясь к постановке. «Сначала я не была уверена, смогут ли они вникнуть в суть пьесы или погрузиться в репетиционный процесс. Я попросила их вести дневник, как Анна, и они все это выполнили».

Я должна была вылететь и присоединиться к ним, но в середине репетиционного процесса Дженни позвонила и спросила, могу ли я поговорить с молодыми актерами по телефону. Я думала, что у нас вряд ли окажется что сказать друг другу, но все они выстроились в очередь для разговора со мной, и каждый из них задавал вопросы, делился историями и пытался узнать обо мне больше.

В августе, когда я вылетала в Латвию, Дженни заявила о своей уверенности в том, что спектакль станет одним из самых значимых в ее творческой биографии. Латвия по-прежнему оставалась страной, не желавшей посмотреть в лицо своему прошлому и тому, что случилось с евреями. Каждый из молодых людей, задействованных в спектакле, был глубоко тронут открывшейся им правдой.

Мы приехали в Рижский еврейский центр на премьеру, на которой присутствовал президент страны. Вечер начался с того, что русские и латвийские родители подарили друг другу букеты цветов – довольно значимый жест в стране, где это этническое разделение очень сильно.

Драматург Джеймс Стилл тоже приехал, и мы все смотрели спектакль, не понимая ни слова на чужом языке, но чувствуя глубокую связь с тем, что происходило на сцене. В конце я беседовала с аудиторией, как и всегда, испытывая обычное чувство удивления от того, как общение людей может влиять на сердца и умы.

Я знала, что некоторые пожилые люди были лично знакомы с людьми, убивавшими евреев, или, возможно, даже сами участвовали в убийстве евреев. Больше всего меня поразила встреча с одним мальчиком в группе, который не смог заставить себя признаться мне в том, что он тоже еврей. Клеймо все еще сильно давило на него. Я надеюсь, что он услышал мои слова о гордости быть еврейкой и почувствовал мою поддержку.

После премьеры в Риге мы с Дженни отправились в юго-восточный город Даугавпилс, где спектакль был показан на огромной заброшенной фабрике, когда-то занимавшейся производством русских сигарет. Я помню, что в то время был

высокий уровень безработицы, и общество страдало от многих проблем. Затем я простилась с молодыми актерами и пожелала им всего наилучшего. Спектакль продолжал гастролировать по Латвии весь год, каждые выходные давая представление в разных городах.

Перед отъездом из Латвии я вспомнила свое старое увлечение и посетила несколько антикварных магазинов в Риге. В одном из них я нашла прекрасно сохранившуюся фарфоровую тарелку с Олимпийских игр 1936 года в Берлине, когда у власти был Гитлер. Держа холодный фарфор в руке, я болтала с продавцом-немцем – и вспомнила всю атмосферу ненависти и тот беспорядок, которые поглотили Европу тогда. Я представила себе свою семью: они все еще дома, в нашей квартире в Вене, и не подозревают о том, что готовит им будущее.

Я заплатила за тарелку и ушла с мыслями о том, как далеко продвинулся мир за несколько коротких десятков лет – и как все-таки далеко нам еще нужно идти.

Дженни организовала еще один незабываемый показ спектакля «А потом они пришли за мной» в Северной Ирландии в 1999 году, собрав вместе на просмотр детей католиков и протестантов, что было очень необычно. Они сидели отдельно, своими группками, но даже их нахождение в одной комнате было большим шагом вперед.

Куда бы мы ни приезжали, представление шло перед заполненным до отказа залом и часто трогало людей до слез. Только один человек не понял пьесу – моя мама.

Я вернулась с первого просмотра в Нью-Брансуике с записанным на пленку спектаклем. Уже дома, в Эджваре, я вставила кассету в видеомагнитофон и уселась поудобнее, приготовившись обсуждать представление с мамой. Но она почти сразу же она начала хмуриться.

– Но это не Хайнц, – сказала она. – А это вовсе не папа… Это не мы.

По мере продолжения записи она все больше волновалась и расстраивалась. На том этапе ее жизни она находилась в крайне потерянном состоянии и не могла понять моих слов о том, что это одновременно и наша, и не наша семья. С большой грустью я поняла, что, хотя мы с мамой рука об руку прошли долгий жизненный путь, старость разлучала нас, и уже скоро я пойду по жизни без нее.

27
Мама

Несомненно, то, что я начала выступать перед публикой, изменило мою жизнь, освободило меня и вернуло мое истинное «я» – но также это изменило взгляд других людей на мою личность. Особенно взгляд мамы.

Когда я выступала, она часто сидела в первом ряду или просто рядом, глядя на меня с выражением благоговения и обожания. Она очень гордилась мной и, наконец, оценила, что я тоже не была обделена талантом. Я отличалась не только «прагматизмом» и «ловкостью». Теперь она увидела, кто я на самом деле.

За исключением того бурного послевоенного времени в Амстердаме и моего негодования, что ее не оказалось рядом со мной после моего выкидыша, мы сохранили самые близкие отношения, но мама все еще расценивала меня как свою «маленькую Эви».

Когда у вас есть несколько детей, наблюдая за их взрослением, вы почти неизбежно называете кого-то «непослушным», кого-то «непоседливым». И довольно часто, будучи детьми, мы обретаем неприязнь или несогласие с ярлыками, данными нам нашими родителями.

В нашей семье Хайнц был «умным», а также восприимчивым и творчески одаренным. Я была спортивной маленькой девочкой-хулиганкой, мастером на все руки. Конечно, Хайнц обладал интеллектом, развитым воображением и артистизмом, но по мере того, как я становилась старше, я начинала понимать, что меня недооценивали.

Когда мы впервые после войны приехали к бабушке и дедушке в Дарвен, я услышала, как мама сказала бабушке Хелен: «Мне кажется, Ева в будущем станет портнихой – она очень рукастая». Я была в ужасе. В голове крутилась лишь одна мысль: «Я не хочу быть портнихой!» Позже мама согласилась с Отто и направила меня в сторону фотографии. Эта профессия приносила мне удовольствие, но я все еще ощетинивалась, когда слышала мамины слова обо мне как о «не очень интеллектуально развитой».

Первые несколько лет после смерти Отто я переживала из-за маминой потерянности и подавленности, но постепенно она начала восстанавливаться. Она проводила с нами больше времени, но хотела сохранить свой дом в Швейцарии. Отто купил

для нее одноэтажный домик прямо за углом от нашего дома в Эджваре, но маме не хотелось там жить.

Она вернулась домой в Швейцарию, у нее там было много друзей. Днем она ходила на беседы и мероприятия, организованные Университетом третьего возраста, а также ездила в Италию.

Она продолжала принимать активное участие в работе Дома-музея Анны Франк в Амстердаме и Фонда Анны Франк в Швейцарии, который контролировал соблюдение авторских прав на «Дневник». Иногда она не соглашалась с руководством швейцарского Фонда. Мама твердо придерживалась убеждений Отто о разумных расходах и хранила наследие Анны как нечто простое и осязаемое – в духе самого дневника. После смерти Отто мама все больше чувствовала, что в Совете попечителей ее не всегда ценят, и постепенно она оказалась не у дел.

Несмотря на это она вела активную переписку с сотнями людей, которые продолжали писать ей об Анне и Отто. Ей нужно было отвечать на поток писем, и мама выполняла это с той же заботой и вниманием, как делала и при жизни Отто.

Мама проявляла очень активный интерес не только ко всем нам, но и даже к людям, которых не очень хорошо знала. И если она не соглашалась с чьими-либо действиями, то обязательно говорила об этом!

«Если вам хотелось поговорить с кем-нибудь, кто тихо слушал бы и не высказывал своего мнения, тогда Фрици определенно бы вам не подошла в качестве собеседника», – говорил мой двоюродный брат Том.

Том тогда недавно развелся и жил в Швейцарии. Он проводил много времени с мамой в долгих беседах, выслушивая, по его словам, ее рассуждения о том, как ему следует распорядиться своей жизнью.

«Я задавался вопросом, какой путь мне выбрать, и хотя Фрици очень интересовалась искусством, она считала, что у меня должна быть профессия, которая хорошо оплачивается и дает хорошие перспективы».

В этом вся мама. Она столкнулась со слишком многими трудностями, поэтому была очень практичной, когда дело доходило до зарабатывания на жизнь и достижения максимального комфорта.

Она была откровенна, но также заботилась о людях – и тщательно расспрашивала их обо всем. Как ее дочь я иногда чувствовала, что она требовала слишком многого. Мама писала мне длинные письма, рассказывая обо всем, что делала, и желая знать, что происходит в моей жизни. У меня было три дочери, я

руководила антикварным магазином и постоянно разговаривала с мамой по телефону в перерывах между нашими частыми встречами.

Другими словами, у меня не было времени писать длинные письма – но попробуйте объяснить это маме. «Мне бы хотелось получать от тебя более длинные письма, – жаловалась она, заставляя меня чувствовать себя виноватой, как это может делать только мать, – и ты никогда не отвечаешь на все мои вопросы. Мне хочется, чтобы ты отвечала на каждый заданный вопрос, по порядку…»

Отто однажды написал, что мы с мамой очень близки. «Ева обсуждает с ней все: свой бизнес, свои интересы, свою личную и общественную жизнь. Мать хочет знать каждую деталь, спрашивая и давая советы, когда это необходимо. Только борьба с перепиской…»

Он описал, как мама с тревогой ждала письма, «заглядывая в почтовый ящик всякий раз, когда должен был приходить почтальон, и очень нервничая, пока, наконец, письмо не было доставлено».

В то время она беспокоилась о том, почему письмо из Лондона идет шесть дней, тогда как из Америки только три. «Так или иначе, когда письмо оказывалось в руке, весь гнев улетучивался».

Моя мать была одержима написанием писем, как показывают тома ее переписки. Я не жалею, что не отвечала на все ее вопросы (многие из них были, например, о том, что я ела на ужин), но я сожалею, что не поговорила с ней о некоторых важных событиях, общих для нас обеих.

Учитывая все, через что мы прошли, может показаться странным, что мы никогда не говорили об этом впоследствии. Думаю, сначала мы сосредоточились на том, чтобы пережить те первые мрачные послевоенные дни, восстанавливая нашу жизнь без особого энтузиазма.

Затем я переехала в Англию и вышла замуж, а мама вышла замуж за Отто – и после этого вроде бы не находилось достаточно времени. Я наблюдала за ней со стороны и видела, что она счастлива с Отто и довольна их союзом. Должно быть, она так же наблюдала и за мной. Никто из нас не делал глубинных подкопов и не говорил о той боли, которую мы все еще ощущали.

Вне всякого сомнения, самым большим потрясением в процессе написания этой книги стало известие о том, что у моего двоюродного брата Тома хранился большой архив писем моих родителей к моим бабушке и дедушке, как довоенных, так и послевоенных лет. Я никогда не читала этих писем, я даже не

знала об их существовании, но когда я сказала Тому, что пишу книгу, он постепенно начал отправлять их мне – сначала на электронную почту, а затем приносил лично в большой коробке для обуви.

Я буквально дрожала от эмоций, когда жизнь моих родителей воскресала у меня в руках. Человек верит, что всегда будет ясно помнить близких людей – но со временем в его голове остаются лишь воспоминания о воспоминаниях. Теперь родители снова оказались со мной и говорили своими голосами: иногда толстыми каракулями, иногда почти неразборчивым старым готическим немецким почерком, иногда словами, аккуратно напечатанными на самой тонкой блестящей бумаге. Я волновалась, плакала и иногда поражалась прочитанному: да, это так, они были такими на самом деле. Я просто забыла.

Я уже включала некоторые сведения из этих писем в книгу, но в целом они оспаривали мои предположения о нашей жизни. Я видела, например, как мы были счастливы в Амстердаме, даже после оккупации. Конечно, есть много вещей, которые мои родители не могли написать из-за цензуры, но даже учитывая это, создается четкое впечатление, что мы жили нормальной семейной жизнью. Только один раз мама упоминает нацистскую оккупацию, когда говорит, что мой отец хотел иметь больше детей, но «это было единственным», на что она не могла согласиться из-за нестабильной ситуации. Позже, после нашего возвращения из Аушвица в Амстердам, она часто писала бабушке Хелен о своей печали и утратах – о папе и ее маленьком Хайнце, о том, как она старается не плакать и держать себя мужественно при мне.

В одном грустном отступлении она пишет о поездке в амстердамскую синагогу с Отто и Хенком, моим бывшим кавалером, и о том, как ей хотелось, чтобы рядом с ней сидел ее собственный сын.

Читая эти письма, я чувствовала себя убитой горем: почему мы никогда не говорили о своих чувствах? Почему я не могла понять, как сильно страдает моя мать? Я всегда думала, что она не понимает степень моей опустошенности, но в своих письмах бабушке Хелен она говорит, что видит мое раздражение и злость на нее, но ей нужно попытаться заменить мне и отца, и брата и при этом оставаться матерью.

Как бы я хотела поговорить с мамой обо всем этом сейчас. Я не могу повернуть время вспять и поговорить с ней, но меня немного утешает тот факт, что, когда мы стали старше, ей особенно нравилось проводить время с моими детьми, а затем с моими внуками – ее правнуками. Они составляли огромную

радость ее жизни.

В 1980-х годах мы с Цви купили дачу рядом с городом-крепостью Мужен на юге Франции. Сначала мы влюбились в эти места после того, как поехали туда по рекомендации миссис Хирш – хозяйки пансиона на улице Чичель, где мы познакомились. Мы купили две комнаты, переделанные из куриного сарая, и со временем расширили пространство и достроили еще две комнаты. Это стало нашей базой отдыха, и мы проводили там летние месяцы.

Сейчас наша семья расширяется. В 1985 году Джеки родила нашу первую внучку – Лизу, красивую и умную, объект моего обожания. Недавно Лиза выходила замуж и попросила Цви подвести ее к жениху в церкви, и когда мы смотрели на то, как они появляются вместе и идут к алтарю, у всех из нас на глазах выступили слезы.

Через три года после рождения Лизы у нее появился брат. После трех дочерей и одной внучки мы были в восторге от появления в семье мальчика, и я выразила Джеки свою надежду на то, что она назовет его Эриком в честь моего отца.

– Вообще-то, я думала назвать его Робертом, – призналась она, к моему великому разочарованию.

Джеки, должно быть, видела, как я изменилась в лице. Я присутствовала на родах, и когда мальчик появился на свет, подержала его немного, и мы все смотрели на него.

«Ну, теперь, когда он с нами, я вижу, что на самом деле он совсем не похож на Роберта, – сказала она. – Мне кажется, он похож на Эрика».

Эрик был светловолосым маленьким мальчиком с жизнерадостным характером, который бегал вокруг, завоевывая сердце каждой женщины, с которой сталкивался. Теперь он красивый, светловолосый молодой человек – и у него снова много поклонниц.

Через несколько лет после его появления на свет, в 1992 году, у моей старшей дочери Кэролайн родился второй сын – Александр. Алекс высокий и умный, с приветливым и чутким нравом. Он изучает чистую математику в Оксфордском университете, и я уверена, что однажды он решит сложное уравнение и изменит мир!

Затем, в 1993 и 1996 годах, к нашей семье прибавились две дочери Сильвии – Софи и Элла. Они обе еще юны, но мы уже видим, что они унаследовали нашу любовь к искусству. Они иногда приезжают к нам в Лондон, чтобы погостить и натворить кучу дел в большом городе, о которых, вероятно, бабушке с дедушкой лучше не знать.

Когда дети были маленькими, мы проводили вместе каждое лето, плескались в бассейне в Мужене, катались на корабликах, поедали мороженое и играли на пляже. Наше утро начиналось с чашки чая в постели, и Цви заставлял нас есть морковку, поскольку он считал, что это полезно для десен. Затем я принимала участие во всех их играх, а Цви улыбался и махал нам. Иногда он сидел с одним из детей на коленях, читая «Файнэншл таймс» или «Экономист», а моя мама наблюдала за всем этим с шезлонга, наслаждаясь тем, что семья с ней рядом.

После обеда мы дремали в тени, а потом я кормила детей печеньем из моей знаменитой оранжевой коробки – но они часто жаловались, что печенья были черствыми и невкусными. (Это правда, что после Аушвица я ненавижу расточительное отношение к еде и никогда ничего не выбрасываю. Если вам однажды пришлось съесть кусочек сахара, поднятый с земли, вы не будете воротить нос от остатков.) А вечером я готовила рыбный суп на ужин.

Конечно, как и у всех семей, у нас были свои взлеты и падения, но я счастлива, что мама прожила достаточно долго и засвидетельствовала пророчество папы о «непрерывной цепи».

У мамы, по всей видимости, было железное здоровье. За исключением удаления матки в Амстердаме вскоре после окончания войны, она редко болела. Во время одной поездки в Мужен с ней случился неприятный инцидент: ее рука застряла в шезлонге.

Это было ужасно: она, не переставая, кричала от боли, но мы не могли вытащить руку. В конце концов, когда мы освободили маму и отвезли ее в больницу, то обнаружилось, что она сломала три пальца, но все еще настаивала на том, чтобы уехать самостоятельно и вернуться в Швейцарию, как и планировалось.

Некоторое время спустя она как-то раз шла по улице возле своего дома в Бирсфельдене и врезалась лицом в трамвай. Это была почти смертельная авария, но мама оказалась крепкой. Она выкарабкалась. Но этот случай заставил нас серьезно задуматься о ее будущем, и я предложила ей переехать к нам в Лондон.

Мама приехала на некоторое время, но не могла переселиться насовсем: она прожила в Швейцарии несколько десятков лет и скучала по своей квартире и друзьям.

«Я была так счастлива в этой квартире с Отто, – говорила она. – Когда я там, я чувствую, что он все еще со мной».

Мы договорились, что она вернется, но нашли для нее женщину-польку, которая стала ухаживать за ней. Так они прожили некоторое время, но потом мама сказала: «Почему я должна жить здесь с чужим человеком, когда вся моя семья в

Англии?» Она снова вернулась с намерением остаться с нами, но все еще не могла успокоиться и вернулась в Швейцарию еще раз.

В течение нескольких лет мама путешествовала туда и обратно, иногда живя с нами, иногда – в Швейцарии, а я летала и навещала ее каждые выходные.

В конце концов, я поняла, что у нее начались проблемы с памятью и она действительно не могла заботиться о себе.

В 1995 году мама навсегда переехала в Англию и жила с нами в Эджваре. Вскоре я начала много ездить по миру со спектаклем «А потом они пришли за мной», и Элизабет Равазио приезжала и оставалась с мамой на время моего отсутствия. В итоге Элизабет предложила, что было бы легче, если мама согласилась бы жить в ее доме, за углом.

Элизабет была преданным спутником и опекуном моей матери в ее последние годы. К тому времени мамина память ухудшалась, и она легко путалась в мыслях. Когда пришли взять у нее интервью об Отто, она, казалось, на протяжении нескольких часов рылась в памяти, но вспомнила только то, что «у него была очень маленькая голова».

Нам, знавшим, как сильно она любила Отто и как много они значили друг для друга, было больно слушать.

Некоторое время спустя, в один вечер, Элизабет с мамой решили пойти в кино на «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Я думаю, что образ старой леди, оглядывающейся на болезненные воспоминания о катастрофе и смерти, оказал слишком острое воздействие на маму. Она невероятно расстроилась, пришла в беспокойство и вернулась домой вся на нервах. Она много лет принимала снотворное и в ту ночь, как мне кажется, приняла слишком большую дозу. Когда позже она проснулась, чтобы сходить в туалет, то в состоянии замутненного сознания поскользнулась на поясе от своего халата, упала и сломала ногу. У нее случился ужасный открытый перелом: бедренная кость торчала через кожу, и врачам пришлось нести ее до машины скорой помощи с ужасной болью.

В больнице она немного пришла в себя, но потом от напряжения при падении у нее произошла серия мельчайших инсультов. Врачи сказали мне, что когда у пожилых людей случается инсульт, они часто не дают им еды и жидкости, чтобы позволить умереть. Я прекрасно понимала, что приближается конец маминой жизни, но была возмущена этим предложением.

– Ни в коем случае! – кричала я на них. – Моя мать выжила в лагере. Я не собираюсь морить ее голодом до смерти. Она умрет в нужное время.

Я не допустила бы, чтобы моя мать, пережившая Холокост,

была убита Национальной службой здравоохранения Англии. Я до сих пор не могу понять, как можно приближать людей к смерти голоданием, и меня никогда не убеждали заявления медиков о том, что пациенты не понимают, что с ними происходит. Я уверена, что просто это дешевле и удобнее для больниц.

Вопреки мнению врачей, мама достаточно хорошо восстановилась, и ее отправили в очень грязную местную реабилитационную больницу, где персонал, похоже, не обращал никакого внимания на своих пациентов. Мы с Элизабет решили, что не хотим, чтобы мама провела там остаток своей жизни – и увезли ее домой.

В течение нескольких месяцев мы заботились о ней, кормили и поднимали ее в инвалидном подъемнике, и, несмотря на явное угасание, она прожила последние дни в полном сознании, окруженная своей семьей. Хотя она едва могла говорить и лежала на кровати, свернувшись, как эмбрион, я помню, что у нее загорелись глаза, когда мы привели Эллу – ее младшую правнучку, и Элла подползла к маминой кровати, чтобы поприветствовать ее.

В 1998 году мама умерла в возрасте девяноста трех лет. Ее жизнь охватила все ужасы и историю XX века. Она родилась в большой благополучной семье, когда Габсбургская монархия управляла большей частью Европы, а затем пережила Первую мировую войну и Холокост. Обстоятельства ее жизни со временем менялись так, как мало кто из нас может себе представить, но она осталась очень доброй, вдумчивой и боевой женщиной. Прежде всего, она была нацелена на то, чтобы я продолжала жить счастливой и полной жизнью, и отдала этому все свои силы.

Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Я не смогла бы добиться многого без нее.

Через несколько месяцев после маминой смерти я отправилась с Элизабет в Японию, где всегда проявляли огромный интерес к личности Анны Франк. Я поговорила со многими людьми, которые интересовались дневником, и многие из них, как оказалось, уже видели выставку Анны Франк, где было представлено большое количество вещей семьи Франков, которые мы переправили по этому случаю. Я очень радовалась тому, что, поскольку мама являлась женой Отто, история моей семьи также была представлена на выставке – в частности некоторые картины Хайнца. Мы пробыли в Японии больше месяца, и когда я путешествовала по этой прекрасной стране, то часто думала о маме с Отто и о том, чего они пытались достичь в своей жизни. Никто из них не верил в загробную жизнь, но они оба были

настоящими гуманистами, посвятившими себя продвижению идей терпимости и сострадания. Я знаю, что им бы понравилась роза имени Анны Франк, выращенная в Японии. У нее хрупкие лепестки, которые перед тем, как свернуться и умереть, меняют цвет с розового на оранжевый.

28
Протягивая руку

«Из истории Анны Франк я узнал о том, что происходит, когда кого-то сдают…»

Возможно, каждый черпает что-то свое из историй о Холокосте. Человек, с которым я разговаривала, отбывал наказание в тюрьме Вормвуд Скрабс – одной из самых известных британских тюрем. Он принимал участие в двухнедельном проекте, организованном Фондом Анны Франк, и объяснял, что получил от него.

Фонд Анны Франк был впервые приглашен в тюрьмы в 2002 году тогдашним губернатором тюрьмы Рединг в попытках борьбы с расизмом и преступлениями на почве нетерпимости. В накаленных до предела закрытых общинах расовые и религиозные различия, а также гомофобия могут быстро выйти из-под контроля. С тех пор образовательную программу прошли более 22 000 заключенных, а в 2011 году выставка прошла в 14 тюрьмах и учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей.

Большая часть программы состоит из обучения групп заключенных, которые добровольно помогают на передвижной выставке Анны Франк – но эти мужчины и женщины также собираются вместе каждый день, чтобы поговорить о ненависти и нетерпимости и написать о своем собственном опыте. Очень мало делается для того, чтобы помочь людям в тюрьмах, и я с самого начала приняла активное участие в этой невообразимой и уникальной программе. Координатор проекта, Стив Гадд, обычно устраивает для меня встречи с группами людей, которым я рассказываю о собственном опыте. Я не могу выступать на каждой выставке, но, без сомнения, эта часть работы приносит наибольшее удовлетворение, и я получаю от этого столько же, сколько и публика.

Тяжело думать о тюрьмах, и большинство людей предпочитают этого не делать. За годы моих выступлений в различных учреждениях мне пришлось бросать вызов своим собственным предубеждениям о том, как мы должны относиться к людям, которые попадают в тюрьму.

Оказалось, что все-таки можно понять человека, который совершил ужасное преступление, при этом не прощая ему содеянного. Теперь я привыкла к звону ворот и ключей, к высоким стенам, что сопровождает посещение тюрем, но

поначалу я нервничала и боялась.

За высокими каменными стенами тюрьмы в Дареме находятся одни из самых опасных преступников Великобритании. Невозможно было не почувствовать, как сотни глаз наблюдали за мной из узких окон, когда тюремный надзиратель запирал тяжелые металлические ворота и проводил меня по двору в одну из частей здания.

В первый раз, когда я отправилась в Дарем, за три часа я проехала на поезде из Лондона на север, любуясь прекраснейшими пейзажами Англии. Когда мы подъехали к станции, передо мной открылся потрясающий вид на Даремский собор, но даже он не мог отвлечь меня от мысли о том, что я собираюсь встретиться с самыми опасными женщинами страны. Мне было интересно, что они подумают о моей истории и поймем ли мы друг друга.

Система безопасности была жесткой, и даже после стольких лет я чувствовала себя неловко, когда меня обыскивал охранник в форме. Конечно, я напоминала себе о том, что на этот раз они следили за тем, чтобы я не пронесла с собой запрещенные предметы, например ключи или наркотики, а не намеревались запереть меня в концентрационном лагере.

Джиллиан Уолнс, исполнительный директор Фонда Анны Франк, сомневалась, стоит ли просить меня съездить в тюрьму – что, если колючая проволока и охранники напомнили бы мне об Аушвице? Я заверила ее, что со мной все будет в порядке, но на самом деле только в момент прибытия поняла, что эти два опыта почти не имеют ничего общего. Мало того, что обстановка совсем другая, но и люди в тюрьме отбывают наказание за преступления, в то время как моя семья не сделала ничего плохого.

Охранник привел нас в большой, ярко освещенный спортзал, где сидели тренеры и группа женщин, одетых в повседневную одежду. По пути я увидела Розмари Уэст, которая отбывала пожизненное заключение за свое участие в некоторых самых известных серийных убийствах в стране. Я знала, что она совершала ужасные пытки и сами акты убийства, и, конечно, я была рада, что она отправилась в библиотеку и не пришла послушать меня. Что бы я стала делать, если столкнулась с кем-нибудь, осужденным за акты жестокого садизма?

Я нервно заняла свое место в спортзале и прослушала вступительную речь. В уме я перебрала несколько вариантов того, как начать разговор, но в итоге решила сразу перейти к делу.

«Некоторых из вас переполняет ненависть, – обратилась я к залу. – Я тоже испытывала чувство ненависти, и думаю, что у меня есть что вам сказать».

Я начала рассказывать им что-то о нашей семье и жизни в Вене.

«Мы были очень счастливой семьей, но это длилось недолго…» – и я дошла до рассказа о переезде в Амстердам и депортации в Аушвиц.

Сначала женщины явно скучали или проявляли слабый интерес – как бы оценивая, могу ли я сказать им что-то действительно стоящее. Теперь в спортзале воцарилась абсолютная тишина, и можно было услышать звук упавшей булавки.

«Я не знаю, как мне удалось выжить, – сказала я. – Я оглядываюсь назад и все еще удивляюсь этому. И я не знаю, *почему* я выжила. Мой брат был намного талантливее меня. Но осталась я…»

Я поняла, что в этом и заключалась суть моего послания к женщинам-заключенным: раз я выжила, то и они тоже могли выжить.

«Всегда есть надежда, – говорила я им, – даже когда жизнь рисуется в мрачных тонах. Вы должны иметь силу воли и стремление изменить свою жизнь и достичь того, чего желаете».

Затем я вспомнила о выставке Анны Франк и о том дне в 1986 году, когда Кен Ливингстон невольно направил меня по новому пути. «Эта выставка изменила мою жизнь, – подытожила я, – и надеюсь, что она изменит и вашу».

Я села, глотнула воды и стала ждать вопросов. На мгновение я задумалась, что будет, если никто ничего не спросит, но вдруг руки взлетели вверх, и вскоре эти женщины спрашивали меня обо всем, что касается моей жизни, моих убеждений и того, как я нашла в себе силы жить дальше.

– Хотели бы вы снова встретиться с кем-нибудь из нацистов для примирения?

– Нет, но никто никогда не просил меня об этом, – отвечала я.

– Верите ли вы в Бога? Вы посещали психотерапевта?

– Нет, но, думаю, это пошло бы мне на пользу, – призналась я.

– Вы считаете, что выставка приносит пользу?

– Да, – ответила я. – Благодаря ей вы видите, чем опасна дискриминация. Нужно иметь мужество во всеуслышание заявить о несправедливости. У вас действительно есть право голоса. Позже в жизни вы можете снова задуматься о совершении какого-либо поступка и сделать другой выбор.

Эти женщины больше не были для меня безымянными заключенными – они были личностями, каждая со своей

историей. Некоторые из них отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками. Многие стали жертвами издевательств и отсиживали срок за месть мужчинам, подвергавшим их насилию.

– Я убила своего любимого мужа, – рассказала одна добрая женщина, по имени Эвелин, которую я встретила в лондонской тюрьме. Я, конечно, остолбенела от такого прямого заявления, но ее тяжелая участь была широко распространенной ситуацией. Мы переписывались с Эвелин долгие годы.

Некоторые встреченные мною женщины были жертвами судебной ошибки. Когда я вернулась из Дарема, то получила письмо от женщины, которую осудили, а затем освободили по апелляции, в ходе одного получившего широкую огласку дела. Она написала мне очень трогательное двухстраничное письмо, в котором благодарила меня за выступление и говорила: «Я узнала от вас, что независимо от того, насколько тяжела жизнь, желание выжить может держать на плаву… Хотя я нахожусь в тюрьме, я надеюсь, что однажды меня освободят. Я держусь из-за того самого света в конце туннеля. Ваше выступление дало мне больше надежды и сил, чтобы держаться».

Каждая из встреченных мною женщин отзывалась на мой рассказ по-своему. Во время недавнего визита в тюрьму Даунвью в Суррее меня поддержала женщина-лесбиянка, когда я рассказывала о том, как нацисты преследовали гей-сообщество. Еще я получила сердечную и очень трогательную благодарность от ирландского путешественника после моего рассказа о пути в Аушвиц в поезде, полном цыган. Я знала, что одна из присутствующих женщин пережила геноцид в Руанде и потеряла членов своей семьи. Она сидела и слушала меня тихо, не задавая никаких вопросов – но я надеюсь, что она почувствовала мою солидарность с ней. Выступление в мужских тюрьмах – это другой опыт, но я считаю, что влияние выставки Анны Франк там столь же велико.

Во время моего визита в Уормвуд-Скрабс в декабре 2011 года один человек, по имени Марк, сказал мне: «Честно говоря, сначала мне не было интересно, но теперь я убедился в актуальности темы, потому что это очень похоже на рабство, через которое прошли черные люди».

Другой человек, по имени Пол, отбывавший наказание за ножевое ранение, но утверждавший, что невиновен, сказал: «Я много думал о своем собственном случае и о том, что произошло в моей жизни. Но после вашей речи все предстало передо мной в другом ракурсе».

В конце моего выступления заместитель губернатора Дэвид

Редхаус встал и сказал: «У нас разноцветная тюрьма». Более половины заключенных в тюрьме представляли афроамериканцы, а также были мусульмане и другие религиозные группы. Он предостерег нас от легкого пути «невежества по отношению к чужому образу жизни» и поисков козлов отпущения, особенно в трудные экономические времена.

Можно прочесть обо всем этом и подумать, что это хорошо. Но так ли это в действительности?

Всякий раз, когда я задаюсь вопросом об этом, я вспоминаю о заключенной Фейт, которая выполняла обязанности гида на выставке, а теперь работает в Фонде Анны Франк.

«Находясь в тюрьме, ты чувствуешь отчаяние, – говорила она. – Ты удивляешься, как можно продолжать жить дальше. Как можно будет восстановить свою жизнь на свободе? Ты размышляешь о том, что сделал в прошлом, и задаешься вопросом, что сможешь сделать в будущем – если получишь еще один шанс». Речь идет об ответственности, поясняла она. Об ответственности за свои моральные ценности, за сопереживание людям, отличным от тебя, и за проявление человечности.

Помимо работы в тюрьмах, я также общаюсь с совсем другими людьми – школьниками. В отличие от заключенных, их жизненный путь еще не определился, но я считаю, что, несмотря на огромную разницу в возрасте, мы часто можем найти общие проблемные вопросы для обсуждения.

Молодые люди, конечно, очень беспокоятся о том, чтобы быть другими и выделяться. Они понимают, насколько опасно насилие – и моя история подчеркивает, насколько тяжелыми могут быть последствия. Они борются с властью, борются со своими родителями и чувствуют, что жизнь черна и безнадежна, как думала когда-то и я.

Я адаптирую свою историю в соответствии с их жизненным опытом и возрастом. Я стараюсь избавить детей младшего возраста от ужасающих подробностей о жизни лагеря, но обычно именно они хотят знать все кровавые подробности.

«Но почему охранники не погибали после того, как травили газом людей в газовых камерах, а затем открывали двери? Куда девался газ?» – спросил один очень настойчивый восьмилетний мальчик.

В классах, где много учеников-мусульман, мне часто приходится объяснять многое из истории Холокоста, но они всегда слушают очень внимательно. Иногда они хотят поговорить о Ближнем Востоке и спрашивают меня: «Почему израильские солдаты убивают палестинских детей?» Я стараюсь ответить, приводя как можно больше информации и объяснить свою точку

зрения, которая заключается в том, что там идет война, и хотя убивать мирных жителей и детей неправильно, солдаты часто пытаются найти террористов, скрывающихся в обычных домах.

В крупных городских общеобразовательных школах я больше говорю о поисках своего жизненного предназначения, об умении преодолевать проблемы и достойно жить. Я выступаю в государственных, частных, религиозных и международных школах. Везде дети совершенно особенные и ведут себя по-разному, но во всех школах молодые люди открыты для диалога, для моего рассказа и моего послания им – и это дает мне надежду на будущее мира.

29
Возвращаясь назад

В Аушвице, куда я вернулась в январе 1995 года, было так же холодно, туманно и мрачно, как и раньше.

Мне несколько раз предлагали приехать туда еще раз, но я всегда отказывалась. Однажды голландская съемочная группа попросила меня сопровождать их, чтобы снять короткометражный фильм о моей биографии, еще до того, как лагерь был открыт для всеобщего посещения на большой международной церемонии в честь пятидесяти лет со дня освобождения. Моей первой реакцией было снова отказаться.

«Мы ожидали такого ответа – но, может, вы все-таки подумаете пару дней?» – спросили меня.

Я положила телефон и обсудила все с Цви. Я вспомнила, что мама никогда не хотела возвращаться, говоря, что, кроме ужасных воспоминаний, это посещение ничего не принесет.

Но я также знала и других выживших, кто возвращался и обретал чувство, как говорят в народе, «примирения».

Возможно, возвращение в Аушвиц и мне принесет чувство примирения. Возможно, если я увижу это место в реальности, а не только в ночных кошмарах, оно перестанет преследовать меня так сильно. Я согласилась поехать, и мы отправились в Польшу вместе с Цви.

Как только мы приблизились к главным воротам Биркенау, я почувствовала нарастающий ужас. Главные башни и железнодорожный путь все еще стояли на месте. Утро было холодное и серое, башни нависали над нами, и мы молча шли по глубокому снегу – в лагерь.

Почти с того момента, как мы приехали, Цви начал тихо плакать – это действительно оказало на него угнетающее впечатление. Я не плакала. Только одна мысль крутилась у меня в голове: «Все на самом деле было так плохо, как и осталось в моей памяти».

Забор по периметру все еще стоял, колючая проволока провисала в некоторых местах и больше не электрифицировалась. Лагерь представлял теперь собой открытое пространство, растянувшееся на мили вдаль. Он не выглядел так в 1944 году: тогда каждая зона была огорожена и патрулировалась охраной.

Несколько бараков сохранились, но большинство деревянных зданий исчезли, возможно, разрушились в годы упадка. Я показала Цви длинный центральный проход и деревянные нары с

обеих сторон, где мы спали.

Внутри было темно и сыро, как и раньше, и я рассказала Цви о крысе, которая однажды ночью грызла мою ногу.

Затем я пошла посмотреть туалетный блок и длинный ряд открытых отверстий. У меня скрутило живот при воспоминании о том, как я ненавидела сидеть над этими отверстиями под стук марширующих сапог Капо позади меня, и слегка рассмеялась, вспомнив папино предупреждение не садиться на туалет из-за микробов.

Мы шли по лагерю вдоль железной дороги, которая в итоге почти довела нас до газовых камер. Сзади остались разрушенные кирпичные здания, где находились газовые камеры и крематории. Нацисты взорвали их перед отъездом, надеясь скрыть свои преступления.

Все это показалось мне незнакомым: непосредственные места убийств всегда тщательно отгораживались от остальной части лагеря, хотя мы никогда не могли отрицать реальность дымоходов, сыпавших на нас пепел днем и ночью и наполнявших лагерь специфическим запахом.

Мы остановились на несколько минут, и я зачитала кое-что из своей книги «История Евы». Потом мы ушли.

Я не чувствовала ни освобождения, ни примирения. На меня давил груз всех этих людей: миллионы семей – бабушки, дедушки, родители, дети и младенцы, которые погибли на этом тихом польском поле. Их убивали день за днем, год за годом, в течение четырех лет – и мне даже не верилось в то, что они попали на небеса.

Когда-то они были людьми, с неповторимой жизнью, но многие из них ушли на смерть анонимно – мы даже не знаем их имен.

На выходе мы увидели, что в лагере ведутся ремонтные работы к мемориальной церемонии. В течение многих лет Аушвиц-Биркенау томился за железным занавесом, и мало кто посещал его. Сейчас его готовят под международный туристический объект. Возводились вывески, рассказывающие людям о местах зверств: газовая камера, барак для венгерских евреев, больница. Я была в ужасе и потеряла дар речи, когда мы дошли до недавно построенного кафетерия. Рабочие сидели за столами, смеялись, болтали и пили горячий шоколад. Цви поморщился, когда кто-то предложил ему перекусить.

– Нет, я не могу, – сказал он, с отвращением сжимая горло. – Думаю, меня стошнит!

Мне это показалось странным сном.

Позже я смотрела церемонию поминовения по телевизору и

услышала слова Эли Визеля: «Хотя мы знаем, что Бог милостив, Боже, пожалуйста, не прощай тех людей, которые создали это место».

Визель пережил Аушвиц и стал писателем и лауреатом Нобелевской премии, и я полностью согласилась с его следующим замечанием: «Вспомните ночное шествие детей, огромного количества детей, таких испуганных, таких тихих и таких красивых, – сказал он. – Если бы мы могли просто взглянуть хотя бы на одного из них, наше сердце разбилось бы вдребезги. Но это никоим образом не тронуло сердца убийц». Потом я видела, как мировые лидеры возлагают венки и делают замечания о том, что такое никогда не должно повториться.

«Но это случается снова, – сказала я Цви. – Подобное происходит сейчас в разных уголках мира».

Миллионы людей посещают Аушвиц каждый год, и многие из них проталкиваются через вход, а затем проходят по лагерю с аудиогидом. Я даже встречала людей (некоторые были евреями), неоднократно посещавших разные бывшие концентрационные лагеря, испытывая трепет от ужасного ощущения того, что они находятся посреди ужаса и смерти. У меня пробегают мурашки по коже при мысли об этом, хотя я считаю, что молодым людям подобные экскурсии полезны в рамках образовательной поездки.

Обувь, чемоданы и волосы жертв, которые выставлены в музее в Аушвице, могут храниться вечно, но в итоге все, построенное нацистами, будет изношено природой, а Аушвиц превратится в плоский, зловонный ландшафт, где летом летают мухи и солнце резко бьет в глаза, а зимой лежит снег глубиной с фут.

Кто знает, что люди будут помнить об этом месте через сто лет? Это всего лишь место. Если я хочу поделиться своим опытом и надеждами на будущее, я могу лучше сделать это в общении с людьми.

В течение многих лет я держалась подальше и от Австрии с Амстердамом, не желая вызывать воспоминания о счастливом прошлом с родителями и братом. Но в конце концов я вернулась туда, приехав в Вену с Цви и нашей дочерью Сильвией в конце 1970-х. Австрия осталась такой, какой я ее запомнила, и меня не могли не очаровать улыбчивые добродушные люди, разнообразная еда и напитки, а также солнечные дни, которые мы провели за городом. Мы ходили по Вене, и я отвезла Сильвию во дворец Шенбрунн, где я когда-то бегала и играла. Мне хотелось показать Цви и Сильвии дом, где мы с Хайнцем выросли, но моя память внезапно опустела – я просто не смогла вспомнить адрес.

Сколько я ни пыталась, я так и не вспомнила, хотя, конечно,

знала путь к Лаутензакгассе наизусть. Когда я вернулась домой, то сразу вспомнила точный адрес. Моя психика защищала меня, и я больше никогда не видела этот дом.

После той поездки мы приезжали в Австрию несколько раз и даже подумывали купить там квартиру для отдыха, но тепло моих детских воспоминаний никогда не сможет преодолеть глубокую тревогу и страх перед тем, что произошло.

Кажется, теперь я могу признаваться в том, что родилась в Австрии, но в течение многих лет я отрицала связь с моей родиной. Когда меня спрашивали, откуда я родом, я говорила, что из Голландии.

Место, с которым я чувствую самую глубокую связь, – это Амстердам. Я не очень часто приезжала туда при жизни Отто, но после его смерти, когда я стала играть более активную роль в Доме-музее Анны Франк, я снова начала навещать этот город. Приезд всегда вызывает бурю эмоций: на глазах всегда появляются слезы, когда я приземляюсь в аэропорту и думаю о том, как бы Хайнцу хотелось вернуться домой в Амстердам, но ему не представилось этой возможности. Этот город вызывает разные воспоминания, но я люблю своих голландских друзей и, если бы не моя семья в Лондоне, я прожила бы тут остаток жизни. Помимо работы в Доме-музее Анны Франк, мне также нравилось принимать участие в деятельности Голландского музея Сопротивления. Я пожертвовала для их постоянной экспозиции некоторые предметы, в том числе картины Хайнца, его паспорт и паспорт моего отца, а также советскую форму, которую я получила после освобождения из Аушвица.

Эта форма почти вернулась в Россию. В январе 2012 года я приехала в Москву, чтобы встретиться с солдатами, освободившими Аушвиц-Биркенау в 1945 году. На пресс-конференции я достала форму и рассказала о том, как солдаты отдали ее мне и как я носила ее на протяжении всей дороги через Украину в Марсель и обратно в Амстердам.

– Как это прекрасно! – сказал мне один российский организатор с блеском в глазах. – Мне кажется, это очень украсит выставку в Москве.

– Но я думаю, у вас достаточно старой советской формы, – ответила я. – Мне бы хотелось оставить эту себе.

Но, если говорить серьезно, я была очень рада, что смогла поблагодарить этих солдат лично.

Я помню их сильными молодыми людьми, высокими и похожими на медведей в их зимней форме. Теперь они седые, сгорбленные и пожилые люди, в очках, с гордостью демонстрирующие свои военные медали на пиджаках. Я спросила

их, каково им было обнаружить Аушвиц и ожидали ли они найти лагеря, в которых осталось мало выживших людей.

– Это было ужасно, – ответил мне один. – Мы были еще мальчиками. Мне недавно исполнилось восемнадцать. Мы находили и другие подобные места. Но мы уже видели столько кошмарных вещей…

По мере их продвижения по России и Польше они сталкивались со многими шокирующими зрелищами – и Аушвиц-Биркенау был лишь одним из многих.

Когда я уезжала из Москвы, я обдумывала сказанные этим старым солдатом слова. Был ли Холокост уникальным зверством или же одним среди многих? Из рассказов Отто, а также от Дома-музея и Фонда Анны Франк я узнала о многих случаях геноцида, убийств и дискриминации, и каждый из них представляется одинаково жутким для людей, которые пережили это.

Несмотря на это, я считаю, что устремленность нацистов к тому, чтобы стереть с лица земли всех евреев, и готовность многих простых людей позволить этому случиться, не имеют никакой исторической параллели. Но, конечно, я не воспринимаю это как историческое событие. Я могу рассказывать только о чем-то очень личном, что произошло со мной, и о том, как я пережила это.

30
Послесловие

Прошлой ночью я не спала и думала, как завершить свой рассказ. Через тридцать лет не останется ни одного человека, пережившего Холокост, и поэтому эта книга – мое письмо будущим поколениям.

Я мечтаю о том, что спустя много лет после моей смерти кто-нибудь откроет ее и будет поражен, обнаружив, что когда-то мир был таким. Преследовать людей за то, что они евреи, или черные, или цыгане, или мусульмане, или геи покажется такой же смешной, бесчеловечной и возмутительной идеей, какой кажется нам сейчас работорговля.

«Какая призрачная мечта!» – можете подумать вы. Но просто посмотрите на все ужасы, происходящие в мире прямо сейчас. Просто посмотрите на всю нестабильность, с которой мы сталкиваемся, и на конфликты между различными религиями.

Я прагматик, но при этом оптимист. Когда я сажусь в автобус на севере Лондона, то замечаю, что семьи чаще всего состоят из людей разных этнических групп. Мне даже пришлось переосмыслить историю собственной семьи, и я поняла, что раньше все было по-другому. Я бы никогда не вышла замуж за мужчину нееврейского происхождения, и когда одна из моих дочерей вышла замуж не за еврея, мы были разочарованы. Но времена изменились – мы стали больше объединяться, и это хорошо.

Теперь, когда я прихожу в школы, то замечаю, что дети редко обращают внимание на то, откуда их одноклассники. Они могут любить или не любить их как отдельных личностей, но это, похоже, не основано на цвете их кожи или их вероисповедании.

Жизнь в мире, где каждый может быть «своим», не является для меня каким-то возвышенным идеалом – это один из самых серьезных вопросов, сопровождавших мою жизнь.

14 февраля 2012 года я прошла по двору Букингемского дворца и получила Орден Британской империи за свою работу с Фондом Анны Франк и другими благотворительными организациями Холокоста. Моя награда означала, что я теперь «член Британской империи». Даже после шестидесяти лет, прожитых в Лондоне, я все еще задумывалась: откуда я родом и где мой дом?

Моя жизнь началась в Австрии, потом я стала беженцем без гражданства, а потом меня низвели до вытатуированного номера

на предплечье. После войны союзники решили, что евреев не следует рассматривать как отдельную группу, и снова стали называть нас «австрийцами» (странно объединяя нас с теми же нацистами, которые преследовали евреев и считали их «враждебными иноземцами»). Я никогда не получала голландского гражданства, а потом, несколько лет спустя, переехала в Великобританию и никогда бы не подумала, что встречу там своего будущего мужа и у меня будет семья.

Я пережила эпоху, когда всю Европу поглотила битва между фашизмом, коммунизмом и свободой – и все остатки старой имперской эры были уничтожены. И все же здесь я принимала древнюю почесть от Империи, которой больше не существовало.

Улыбка всегда появляется у меня на лице, когда я слышу разговоры о бесконечных конфликтах, бушующих в других частях мира, в сопоставлении с тем «цивилизованным» способом ведения дел в Европе. Могу заявить, что еще совсем недавно Европа была не очень «цивилизованной».

Эта книга поведала вам о некоторых моих воспоминаниях того времени, но только помнить мало – нужно изменять положение вещей к лучшему.

Меня особенно поразила эта мысль, когда пару лет назад я приезжала в Аргентину в связи с первой годовщиной создания Дома-музея Анны Франк в Буэнос-Айресе. Я, конечно, знала из истории, что Аргентина после войны стала прибежищем для нацистов, и о том, что многие простые люди потеряли свои семьи из-за военной диктатуры страны. Я не могла не думать об этом, поскольку меня чествовали в зале парламента, прямо перед столом Эвы Перон. (Гораздо более противоречивой Эвы, нежели я.) Так что я с большим чувством говорила с группой людей, среди которых были матери площади Мая, мужественно боровшиеся за справедливость после потери своих детей за время власти военной хунты. Но большое значение имел и мой разговор со ста старшими офицерами армии, флота и военно-воздушных сил, которые пришли послушать меня. Они подписали соглашение, что все курсанты обязаны посетить Дом-музей Анны Франк при поступлении на службу.

Прежде всего, я возлагаю надежды на молодежь, и именно поэтому последним событием моей поездки в Аргентину стало подписание министром образования обязательства преподавать историю Холокоста в рамках школьной программы. Этим летом два моих внука посетили Африку для работы с благотворительными организациями. Думаю, стремление делать что-то для других людей и для человечества передано нашей семье Отто Франком, хотя я знаю, что многие представители

современного молодого поколения имеют желание внести свой вклад в мир.

Так что всегда нужно сохранять памятники и поминальные дни, но жизнь движется только вперед, и я всегда была активным человеком. Жизнь продолжается.

Написание этой истории в некотором смысле завершилось для меня, когда многие из тех людей, о которых здесь написано, собрались в Лондоне на шестидесятую годовщину нашей свадьбы с Цви. Это был прекрасный солнечный день в начале сентября. Мы с Цви вошли в комнату и услышали, как моя внучка Лиза играет мелодию «What a wonderful world».

Моя жизнь завершила свой круг. Меня переполняли чувства, когда я сидела вместе с дочерьми, внуками, двоюродным братом Томом, который в десять лет, лежа в постели в Дарвене, слушал мои кошмарные рассказы; с Яном Розенбаумом, ребенком, который скрашивал мою безрадостную жизнь в послевоенном Амстердаме; Анитой, моей первой настоящей подругой в Лондоне; Элизабет, которая поначалу работала у меня гувернанткой, а потом стала деловым партнером, и, наконец, заботилась о маме; Дьенке и Яном Эриком, которые впервые привезли выставку об Анне Франк в Великобританию; Дженни Куланк и Ником Каримом, поставившими спектакль «А потом они пришли за мной»; Эриком и Терезин из Дома-музея Анны Франк в Амстердаме; семьей Цви из Израиля – и даже Гарольдом, другом из Америки, который рассказывал истории о том, как возил меня в казино и на гонки свиней, напоминая всем, что я не образец добродетели, который только философствует о жизни!

Я выросла в далеком от идеала мире, но жизнь до сих пор воспринимается мной с большой радостью и любовью, и я горько жалею только о том, что папа и Хайнц не смогли идти по ней со мной рука об руку.

После более двадцати пяти лет рассказов о своем опыте я предвижу большинство вопросов, которые люди зададут мне, но это не значит, что на каждый из них у меня есть ответ.

Несколько месяцев назад я окончила свою речь и посмотрела на собравшихся школьников. Девочка-сомалийка с темными глазами нерешительно подняла руку и спросила: «Как вы думаете, это повторится?»

Я не смогла ответить ей, но, возможно, у вас получится это сделать. Повторится ли? Надеюсь, нет.

Благодарность

Хотя очень многие люди оказывали нам моральную поддержку при написании этой книги, мы особенно хотели бы поблагодарить тех, кто помог нам в изысканиях, в частности, Карен Тессель из Музея голландского Сопротивления, профессора Дьенке Хондиоса из Амстердамского университета и Терезиен-Сильву и Эрика Принса из Дома-музея Анны Франк в Амстердаме.

Мы также особенно благодарны Тому Гринвуду, который нашел много семейных писем и отправил их нам для использования в книге – и поделился с нами своими воспоминаниями.

За искреннюю веру в книгу и неоценимую практическую помощь на этом пути спасибо также Гайе Банкс из агентства «Sheil Land» и Фенелле Бэйтс из издательства «Hodder & Stoughton».

Мы также хотели бы поблагодарить Цви Шлосса за его терпение и помощь, за присутствие на каждом обсуждении этой книги и перечитывание каждой главы – и за всю неизменную поддержку, которую он оказывал во всех других проектах на протяжении многих лет.

Ева Шлосс-Герингер и Карен Бартлетт